Гюго Виктор

Отверженные. Том III



Том III

Часть V
«Жан Вальжан»
Книга первая
Война в четырех стенах
Глава первая.
Харибда предместья Сент-Антуан и Сцилла предместья Тампль

Две наиболее замечательные баррикады, которые может отметить исследователь социальных бурь, не принадлежат к тому времени, когда происходят события этой книги. Обе эти баррикады, бывшие каждая в своем роде символом грозной эпохи, выросли из земли во время рокового июньского восстания 1848 года – величайшей из всех уличных войн, какие только видела история.

Случается иногда, что чернь, великая бунтовщица, восстает даже против высоких принципов, против свободы, равенства и братства, против избирательного права, против верховной власти народа, восстает из бездны своего отчаяния, своих бедствий, разочарований, тревог, лишений, смрада, невежества, темноты; случается, что толпа объявляет войну народу.

Оборванцы нападают на общественное право, охлократия ополчается против демоса.

Это мрачные дни, ибо даже в таком безумии всегда есть известная доля справедливости, такая дуэль похожа на самоубийство, а слова якобы оскорбительные – оборванцы, чернь, охлократия, простонародье – доказывают, увы, скорее вину тех, кто господствует, чем тех, кто страдает: скорее вину привилегированных, чем вину обездоленных.

Что до меня, я произношу эти слова с болью и уважением, ибо если философия углубится в события, которым эти слова соответствуют, она нередко найдет там великое наряду с ничтожным. В Афинах была охлократия, гезы создали Голландию, плебеи много раз спасали Рим, а чернь следовала за Иисусом.

Кто из мыслителей порою не задумывался над величием социального дна!

Именно об этой черни, о всех этих бедняках, бродягах, отверженных, из которых вышли апостолы и мученики, думал, вероятно, блаженный Иероним, когда произнес свое загадочное изречение: Fex urbis, lex orbis[1]

Возмущение толпы, страдающей и обливающейся кровью, ее бессмысленный бунт против жизненно необходимых для нее же принципов, ее беззакония ведут к государственному перевороту и должны быть подавлены. Честный человек идет на это и, именно из любви к толпе, вступает с ней в борьбу. Но как он сочувствует ей, хотя и выступает против! Как уважает ее, хотя и дает ей отпор! Это один из редких случаев, когда, поступая справедливо, мы испытываем смущение и словно не решаемся довести дело до конца; мы упорствуем – это необходимо, но удовлетворенная совесть печальна; мы выполняем свой долг, а сердце щемит в груди.

Поспешим оговориться, – июнь 1848 года был событием исключительным, почти не поддающимся классификации в философии истории. Все слова, сказанные выше, надо взять обратно, когда речь идет об этом неслыханном мятеже, в котором сказалась священная ярость тружеников, взывающих о своих правах. Пришлось подавить мятеж, того требовал долг, так как мятеж угрожал Республике. Но что же в сущности представлял собою июнь 1848 года? Восстание народа против самого себя.

То, что относится к основному сюжету, нельзя считать отступлением; поэтому да будет нам дозволено ненадолго остановить внимание читателя на двух единственных в своем роде баррикадах, только что упомянутых нами и особенно характерных для восстания.

Одна заграждала заставу предместья Сент-Антуан, другая защищала подступы к предместью Тампль; те, кому довелось увидеть эти выросшие под ясным голубым июньским небом грозные творения гражданской войны, никогда их не забудут.

Сент-Антуанская баррикада была чудовищных размеров – высотой с трехэтажный дом и шириной в семьсот футов. Она загораживала от угла до угла широкое устье предместья, то есть сразу три улицы; изрытая, иссеченная, зубчатая, изрубленная, с громадным проломом, как бы образующим бойницу, подпираемая грудами камней, превращенными в бастионы, там и сям выдаваясь вперед неровными выступами, надежно прикрывая свой тыл двумя высокими мысами домов предместья, она вздымалась, как гигантская плотина, в глубине грозной площади, некогда видевшей 14 июля. Девятнадцать баррикад громоздились уступами, уходя в глубь улиц, позади этой баррикады-прародительницы. Достаточно было увидеть ее издали, чтобы почувствовать мучительные страдания городских окраин, достигшие того предела, когда отчаянье превращается в катастрофу. Из чего была построена баррикада? Как говорили одни, из развалин трех шестиэтажных домов, нарочно для этого разрушенных. По словам других, ее сотворило чудо народного гнева. Эти развалины наводили уныние, как все порожденное ненавистью. Можно было спросить: кто это построил? Можно было спросить также: кто это разрушил? То было создано вдохновенным порывом клокочущей ярости. Стой! вот дверь! вот решетка! вот навес! вот рама! сломанная жаровня! треснувший горшок! Давай все, швыряй все! Толкай, тащи, выворачивай, выламывай, сшибай, разрушай все! В одну кучу дружно валили булыжники, щебень, бревна, железные брусья, тряпье, битое стекло, ободранные

стулья, капустные кочерыжки, лохмотья, мусор, проклятья. Это было величественно и ничтожно. Пародия на первозданный хаос, созданная в спешке и суматохе. Громады и атомы вперемешку; кусок стены рядом с дырявой миской – грозное братство всевозможных обломков; Сизиф бросил сюда свою каменную глыбу, а Иов – свою черепицу. Все в целом внушало ужас. Это был Акрополь голытьбы. По всему скату торчали опрокинутые тележки; огромная повозка, перевернутая колесами вверх, казалась шрамом на этом мятежном лике; распряженный омнибус, который со смехом втащили на руках на самую верхушку, как будто строители варварского сооружения хотели соединить трагическое с забавным, вытягивал свое дышло навстречу неведомым небесным коням. Эта гигантская насыпь, намытая волнами мятежа, вызывала в памяти нагромождение Оссы на Пелион во всех революциях: 93-й год на 89-й, 9 термидора на 10 августа, 18 брюмера на 21 января, вандемьер на прериаль, 1848-й год на 1830-й. Площадь того стоила, и баррикада имела право возникнуть на том самом месте, где исчезла Бастилия. Если бы океан строил плотины, он воздвиг бы именно такую. Ярость прилива наложила печать на эту бесформенную запруду. Какого прилива? Толпы. Казалось, вы видите окаменелый вопль. Казалось, вы слышите, как жужжат над баррикадой, словно над ульем, огромные невиданные пчелы бурного прогресса. Не то непроходимая чаща. Не то пьяная оргия. Не то крепость. Чудилось, будто безумие создало это взмахом крыла. Было что-то омерзительное в этом укреплении и нечто олимпийское в этом хаосе. Там и сям в невероятном сумбуре торчали стропила крыш, оклеенные обоями углы мансард, оконные рамы с целыми стеклами, стоящие среди щебня в ожидании пушечного выстрела, сорванные с кровель трубы, шкафы, столы, скамейки, в бессмысленном, вопиющем беспорядке, всевозможный убогий скарб, отвергнутый даже нищим и носящий отпечаток ярости и разрушения. Можно было бы сказать, что это лохмотья народа: лохмотья из дерева, из железа, меди, камня, и что предместье Сент-Антуан вышвырнуло все это за дверь могучим взмахом метлы, создав баррикаду из своей нищеты. Обрубки, напоминавшие плаху, разорванные цепи, брусья с перекладиной в виде виселиц, колеса, валяющиеся среди щебня, населяли это жилище анархии мрачными видениями всех древних пыток, каким некогда подвергался народ. Сент-Антуанская баррикада обращала в оружие все; все, чем гражданская война может запустить в голову обществу, вылетало оттуда; то было не сражение, а припадок бешенства. Карабины, которые защищали этот редут, и несколько мушкетонов палили осколками, костяшками, пуговицами, даже колесиками из-под ночных столиков – весьма опасными снарядами, так как они были из меди. Баррикада бесновалась. Она оглашала небо неистовыми воплями; время от времени, как бы дразня осаждавших, она покрывалась бушующей толпой, морем горячих голов; она вся кишела людьми, щетинилась колючим гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков; огромное красное знамя плескалось по ветру. С баррикады доносились команда, боевые песни, дробь барабанов, женский плач и хриплый смех умиравших с голоду. Она была чудовищна и полна жизни, она вспыхивала искрами, как спина электрического ската. Дух революции клубился облаком над этой вершиной, откуда гремел глас народа, подобный гласу божию; от этой гигантской груды мусора исходило странное величие. То была куча отбросов, и то был Синай.

Как мы говорили выше, баррикада сражалась во имя Революции. С кем? С самой Революцией. Эта баррикада, порождение беспорядка, смятения, случайности, недоразумения, неведения, восстала против Учредительного собрания, верховной власти народа, всеобщего избирательного права, против нации, против Республики Карманьола вызвала на бой Марсельезу.

Вызов безрассудный, но героический, ибо этот старый пригород сам был героем.

Предместье и его редут защищали друг друга. Предместье опиралось на редут, редут прислонялся к предместью. Громадная баррикада высилась, как скала, о которую разбивалась стратегия генералов, прославленных в африканских походах. Все ее впадины, наросты, шишки, горбы казались в клубах дыма ее гримасами, озорной усмешкой. Картечь застревала в ее

бесформенной массе, снаряды вязли, поглощались, исчезали, ядра только дырявили дыры; какой смысл бомбардировать хаос? И войска, привыкшие к самым страшным картинам войны, с тревогой глядели на этот редут-чудовище, щетинистый, как вепрь, и огромный, как гора.

Если бы кто отважился заглянуть в четверти мили оттуда за острый выступ, образуемый витриной магазина Далемань, на углу улицы Тампль, выходившей на бульвар близ Шато-д'О, то увидел бы вдалеке, по ту сторону канала, на верхнем конце улицы, поднимающейся лесенкой по предместью Бельвиль, какую-то странную стену в два этажа высотой. Она соединяла прямой чертой дома правой стороны с левой, как будто улица сама отвела назад свою самую высокую стену, чтобы выставить надежный заслон. Это была стена из тесаного камня. Прямая, гладкая, холодная, крутая, она была выверена наугольником, выложена по шнурку, проверена по отвесу. Разумеется, ее не цементировали, но, как в иных римских стенах, это не нарушало строгой ее архитектуры. По высоте можно было догадаться о ее прочности. Карниз был математически точно параллелен основанию. На серой поверхности, через известные промежутки, виднелись едва заметные отверстия бойниц, подобные черным линиям. Бойницы были расположены на равных расстояниях друг от друга. Улица была пустынна; все окна и двери заперты, а в глубине возвышалась застава – неподвижная и безмолвная стена, превращавшая улицу в тупик. На стене никого не было видно, ничего не было слышно: ни крика, ни шума, ни дыхания. Она казалась гробницей.

Ослепительное июньское солнце заливало светом это грозное сооружение.

То была баррикада предместья Тампль.

Подойдя и увидев ее, даже самые смелые призадумывались, пораженные загадочным видением. Все здесь было строго, прямолинейно, тщательно прилажено, плотно пригнано, симметрично и зловеще. Здесь наука сочеталась с магией. Казалось, создателем такой баррикады мог быть геометр или призрак. Глядя на нее, невольно понижали голос.

Время от времени, лишь только солдат, офицер или представитель власти решался пересечь пустынную улицу, раздавался тонкий свистящий звук, и прохожий падал раненный или убитый. Если же ему удавалось перебежать, пуля вонзалась в закрытую ставню, застревала между кирпичами или в стенной штукатурке. А иногда вылетала и картечь. Бойцы баррикады соорудили из двух обломков чугунных газовых труб, заткнутых с одного конца паклей и глиной, две небольшие пушки. Пороха не тратили зря: почти каждый выстрел попадал в цель. Здесь и там валялись трупы, лужи крови стояли на мостовой. Мне запомнился белый мотылек, порхавший посреди улицы. Лето остается летом.

Все подворотни окрестных домов были забиты ранеными.

Каждый чувствовал себя под прицелом невидимого врага и понимал, что улица пристреляна во всю длину.

Солдаты, построенные для атаки у Тампльской заставы, за горбатым мостом канала, хмуро и сосредоточенно разглядывали этот мрачный редут, неподвижный, бесстрастный, рассылающий смерть. Некоторые добирались ползком до середины выгнутого дугой моста, стараясь не выставлять кивера.

Бравый полковник Монтейнар любовался баррикадой не без внутреннего трепета.

– А как построено! – сказал он, обращаясь к одному из депутатов. – Ни один камень не выдается. Точно из фарфора!

В этот миг пуля пробила орден на его груди, и он упал.

– Трусы! – кричали солдаты. – Да покажитесь же! Дайте на вас посмотреть! Они не смеют! Они прячутся!

Баррикада предместья Тампль, которую защищали восемьдесят человек против десяти тысяч, продержались три дня. На четвертый, как в битве при Зааче и при Константине, атакующие ворвались в дома, прошли по крышам, и баррикада была взята. Ни один из

восьмидесяти «трусов» и не подумал бежать, все были убиты, кроме начальника Бартелеми, о котором мы скажем позже.

Баррикада Сент-Антуан поражала раскатами громов, баррикада Тампль – молчанием. Между двумя редутами была та же разница, как между страшным и зловещим. Одна казалась мордой зверя, другая – маской.

Если в грандиозном и мрачном июньском восстании сочетались гнев и загадка, то за первой баррикадой чудился дракон, за второй – сфинкс.

Две эти крепости были созданы двумя людьми. по имени Курне и Бартелеми. Курне воздвиг баррикаду Сент-Антуан, Бертелеми – баррикаду Тампль. Каждая отражала черты того, кто ее построил.

Курне был человек высокого роста, широкоплечий, полнокровный, с могучими кулаками, смелым сердцем, чистой душой, с открытым и грозным взглядом. Отважный, решительный, вспыльчивый, буйный, он был самым добродушным из людей и самым опасным из бойцов. Война, борьба, схватка были его родной стихией и радовали его. Он служил когда-то офицером флота; по его движениям и голосу можно было угадать, что он сын океана, порождение бури; он врывался в битву, как ураган. У Курне было нечто общее с Дантоном, кроме гениальности, как у Дантона было нечто общее с Геркулесом, кроме божественного происхождения.

Худенький, невзрачный, бледный, молчаливый Бартелеми напоминал гамена, но с трагической судьбой; получив как-то пощечину от полицейского, он его выследил, подстерег, убил и, семнадцати лет от роду, был сослан на каторгу. Выйдя оттуда, он построил баррикаду.

Волею рока, в Лондоне, где позже оба они жили в изгнании, Бартелеми убил Курне. Злосчастная дуэль! Некоторое время спустя, впутанный в одну из тех загадочных историй, где замешана страсть, в одну из тех катастроф, где французское правосудие видит смягчающие обстоятельства, а английское правосудие – только убийство, Бартелеми был повешен. Наш общественный строй так мрачен, что этот несчастный, который несомненно был одарен незаурядным, а может быть, и выдающимся умом, в силу материальных лишений и низкого морального уровня, начал каторгой во Франции и кончил виселицей в Англии. Во всех случаях Бартелеми водружал одно только знамя – черное.

Глава вторая.
Что делать в бездне, если не беседовать?

Шестнадцать лет – немалый срок для тайной подготовки к восстанию, и июнь 1848 года научился многому в сравнении с июнем 1832 года. Поэтому баррикада на улице Шанврери была только наброском, только зародышем по сравнению с двумя гигантскими баррикадами, описанными выше; но для своего времени она была страшна.

Под наблюдением Анжольраса повстанцы работали всю ночь. Мариус ни в чем не принимал участия. Баррикада не только была восстановлена, но и достроена. Ее подняли на два фута выше. Железные брусья, воткнутые в мостовую, напоминали пики, взятые наперевес. Всевозможный хлам, собранный отовсюду и наваленный с внешней стороны баррикады, довершал ее хаотический вид. Искусно построенный редут представлял собой изнутри гладкую стену, а снаружи непроходимую чащу.

Лестницу из булыжников починили, так что на баррикаду можно было всходить, как на крепостную стену.

Всюду навели порядок: очистили от мусора нижнюю залу, обратили кухню в перевязочную, перебинтовали раненых, собрали рассыпанный на полу и по столам порох, отлили пули, набили патроны, нащипали корпии, раздали валявшееся на земле оружие, прибрали редут внутри, вытащили обломки, вынесли трупы.

Убитых сложили грудой на улице Мондетур, которая все еще была в руках повстанцев. Мостовая на этом месте долго оставалась красной от крови. В числе мертвых были четыре национальных гвардейца пригородных войск. Их мундиры Анжольрас велел сохранить.

Анжольрас посоветовал всем заснуть часа на два. Совет Анжольраса был равносилен приказу. Однако ему последовали лишь трое или четверо. Фейи употребил эти два часа, чтобы изобразить на стене против кабачка надпись:

ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАРОДЫ!

Эти три слова, вырезанные на камне гвоздем, еще можно было прочесть в 1848 году.

Три женщины воспользовались ночной передышкой и куда-то исчезли: вероятно, им удалось скрыться где-нибудь в соседнем доме. Повстанцы облегченно вздохнули.

Большинство раненых еще могли и хотели участвовать в бою. В кухне, которая стала перевязочной, на тюфяках и соломенных подстилках лежало пятеро тяжело раненных, в том числе два солдата муниципальной гвардии. Солдат перевязали в первую очередь.

В нижней зале остался только Мабеф, накрытый черным покрывалом, и Жавер, привязанный к столбу.

– Здесь будет мертвецкая, – сказал Анжольрас.

В комнате, едва освещенной свечой, в самой глубине, где за столом, наподобие перекладины, виднелся стол с покойником, смутно вырисовывались очертания громадного креста, образуемого стоящим во весь рост Жавером и лежащим Мабефом.

Дышло омнибуса, хотя и обломанное при обстреле, еще достаточно хорошо держалось, и на нем укрепили знамя.

Анжольрас, отличавшийся свойством настоящего командира – всегда претворять слово в дело – привязал к этому древку пробитую пулями и залитую кровью одежду убитого старика.

Накормить людей было уже нечем. Не осталось ни хлеба, ни мяса. За шестнадцать часов, проведенных на баррикаде, пятьдесят человек уничтожили скудные запасы кабачка. Рано или поздно любая сражающаяся баррикада неизбежно становится плотом «Медузы». Пришлось примириться с голодом. Наступили первые часы того спартански сурового дня 6 июня, когда Жанн, которого обступили повстанцы на баррикаде Сен-Мерри, с криками: «Хлеба! Дайте есть!» – отвечал! «К чему? Теперь три часа. В четыре мы будем убиты».

Так как есть было нечего, Анжольрас не разрешил и пить. Он запретил вино и разделил водку на порции.

В погребе было обнаружено пятнадцать полных, плотно закупоренных бутылок Анжольрас и Комбефер обследовали их. Поднявшись наверх, Комбефер заявил:

– Это из старых запасов дядюшки Гюшлу, он начал с бакалейной торговли.

– Вино, должно быть, отменное, – заметил Боссюэ, – хорошо, что Грантер спит. Будь он на ногах, попробуй-ка уберечь от него бутылки.

Несмотря на ропот, Анжольрас наложил запрет на эти пятнадцать бутылок и, чтобы никто не посягнул на них, велел положить их под стол, на котором покоился старый Мабеф.

Около двух часов ночи сделали перекличку. На баррикаде еще оставалось тридцать семь человек.

Светало. Только что потушили факел, воткнутый на старое место, в щель между булыжниками. Баррикада, походившая внутри на небольшой огороженный дворик посреди улицы, была погружена в темноту, а сверху, в неверных предрассветных сумерках, напоминала палубу разбитого корабля. Бойцы баррикады, бродившие взад и вперед, казались зыбкими тенями. Над этим зловещим гнездом мрака вырастали сизые очертания молчаливых домов, в вышине смутно белели трубы. Небо приняло нежный неопределенный оттенок, не то белый, не то голубой. В вышине с радостным щебетаньем носились птицы. На крыше высокого дома,

обращенного на восток и служившего опорой баррикаде, появился розовый отблеск. В слуховом оконце третьего этажа утренний ветер шевелил седые волосы на голове убитого человека.

– Я рад, что потушили факел, – сказал Курфейрак, обращаясь к Фейи, – меня раздражал этот огонь, трепещущий на ветру, будто от страха. Пламя факела подобно мудрости трусов: оно плохо освещает, потому что дрожит.

Заря пробуждает умы, как пробуждает птиц: все заговорили.

Увидев кошку, пробиравшуюся по желобу на крыше, Жоли нашел повод для философских размышлений.

– Что такое кошка? – воскликнул он. – Это поправка. Господь бог, сотворив мышь, сказал: «Стойка, я сделал глупость». И сотворил кошку. Кошка – это исправленная опечатка мыши. Мышь, потом кошка-это проверенный и исправленный пробный оттиск творения.

Комбефер, окруженный студентами и рабочими, говорил о погибших, о Жане Прувере, о Баореле, о Мабефе, даже о Кабюке и о суровой печали Анжольраса. Он сказал:

– Гармодий и Аристогитон, Брут, Хереас, Стефанус, Кромвель, Шарлотта Корде, Занд – все они, нанеся удар, испытали сердечную муку. Сердце наше столь чувствительно, а жизнь человеческая столь загадочна, что даже при политическом убийстве, при убийстве освободительном, когда оно совершено, раскаянье в убийстве человека сильнее, чем радость служения человечеству.

И минуту спустя – так причудливы повороты мысли в беседе – от стихов Жана Прувера Комбефер уже перешел к сравнению переводчиков «Георгик»: Ро – с Курнаном, Курнана – с Делилем, отмечая отдельные отрывки, переведенные Мальфилатром, в особенности чудесные строки о смерти Цезаря; при упоминании о Цезаре разговор снова вернулся к Бруту.

– Убийство Цезаря справедливо, – сказал Комбефер. – Цицерон был суров к Цезарю, и был прав. Такая суровость – не злостная хула. Когда Зоил оскорбляет Гомера, Мевий оскорбляет Вергилия, Визе – Мольера, Поп – Шекспира, Фрерон – Вольтера, тут действует древний закон зависти и ненависти: гении всегда подвергаются преследованию, великих людей всегда так или иначе травят. Но Зоил одно, а Цицерон другое. Цицерон карает мыслью так же, как Брут карает мечом. Лично я порицаю этот вид правосудия, но в древности его допускали. Цезарь, который переступил Рубикон, раздавал от своего имени высшие должности, на что имел право лишь народ, и не вставал с места при появлении сената, поступал, по словам Евтропия, как царь, даже больше – как тиран: regia ac paene tyrannica[2]. Он был великий человек; тем хуже, или, вернее, лучше: тем убедительнее пример. Его двадцать три раны трогают меня куда меньше, чем плевок на челе Иисуса Христа. Цезаря закололи сенаторы, Христа били по щекам рабы. По степени оскорбления узнают бога.

Боссюэ, стоя на груде камней с карабином в руках и возвышаясь над всеми, восклицал:

– О Кидатеней, о Миррин, о Пробалинф, о прекрасный Эантид! Кто дарует мне счастье произносить стихи Гомера, подобно греку из Лаврия или из Эдаптеона!

Глава третья.

Чем светлее, тем мрачнее

Анжольрас отправился на разведку. Он вышел незаметно через переулок Мондетур, проскользнув вдоль стен.

Повстанцы, надо сказать, были полны надежд. Удачно отразив ночную атаку, они заранее относились с пренебрежением к новой атаке на рассвете. Они ждали ее посмеиваясь. Все так же верили в успех, как и в правоту своего дела. Кроме того, к ним, бесспорно, должны прийти подкрепления. На это они твердо рассчитывали. С тою легкой уверенностью в победе, которая составляет одно из преимуществ французского воина, они разделяли наступающий день на

три фазы: в шесть утра «соответствующим образом подготовленный» полк перейдет на их сторону, в полдень – восстание всего Парижа, на закате – революция.

Они слышали набатный колокол Сен-Мерри, не замолкавший ни на минуту со вчерашнего дня; это доказывало, что вторая баррикада, большая баррикада Жанна, все еще держалась.

Все эти чаянья и слухи передавались от группы к группе веселым и грозным шепотом, напоминавшим воинственное жужжанье пчелиного улья.

Появился Анжольрас. Он возвратился из своей отважной разведки в угрюмой окрестной тьме. С минуту он молча прислушивался к оживленному говору, скрестив руки на груди. Потом, свежий и румяный в лучах разгоравшегося рассвета, он сказал:

– Вся армия Парижа в боевой готовности. Треть этой армии угрожает нашей баррикаде. Кроме того, там национальная гвардия. Я разглядел кивера пятого линейного и значки шестого легиона. Через час нас атакуют. Что касается народа, он бунтовал вчера, а нынче утром не тронется с места. Ждать нам нечего, надеяться не на что. Ни на одно предместье, ни на один полк. Нас покинули все.

Эти слова прервали гул голосов и произвели такое же впечатление, как первые капли дождя на пчелиный рой перед началом грозы. Все онемели. На миг наступила невыразимая тишина; казалось, слышался полет смерти.

Но этот миг был краток.

Из дальней группы, стоявшей в самом темном углу, чей-то голос крикнул Анжольрасу:

– Будь что будет! Подымем баррикаду на двадцать футов выше и останемся здесь все до одного. Граждане, поклянемся клятвой мертвецов! Докажем, что если народ предает республиканцев, то республиканцы не предают народ!

Слова эти рассеяли гнетущий туман личных тревог и страхов и были встречены восторженными криками.

Никто так и не узнал имени человека, произнесшего эти слова. То был безвестный рабочий, никому неведомый, забытый, незаметный герой, тот великий незнакомец, который всегда появляется при исторических кризисах, при зарождении нового общественного строя, чтобы в нужную минуту властным голосом произнести решающее слово и вновь кануть во мрак, воплотив в себе на краткий миг, при блеске молнии, дух народа и божества.

Это непреклонное решение было настолько в духе 6 июня 1832 года, что почти одновременно на баррикаде Сен-Мерри прозвучал возглас, который вошел в историю и упоминался на судебном процессе: «Придут к нам на помощь или не придут, не все ли равно! Погибнем здесь все до последнего!»

Очевидно, обе баррикады, хотя и разобщенные внешне, были объединены духовно.

Глава четвертая. Пятью меньше, одним больше

После того как выступил незнакомец, провозгласивший «клятву мертвецов», и выразил в этой формуле общее душевное состояние, из всех уст вырвался радостный и грозный крик, зловещий по смыслу, но звучавший торжеством.

– Да здравствует смерть! Останемся здесь все до одного!

– Почему же все? – спросил Анжольрас.

– Все! Все!

Анжольрас возразил:

– Позиция у нас выгодная, баррикада превосходная. Вполне достаточно тридцати человек. Зачем же приносить в жертву сорок?

– Потому что никто не захочет уйти, – отвечали ему.

– Граждане! – крикнул Анжольрас, и голос его задрожал от гнева. – Республика не настолько богата людьми, чтобы губить их понапрасну. Такое тщеславие – просто мотовство. Если некоторым из вас долг повелевает уйти, они обязаны исполнить его, как всякий другой долг.

Анжольрас, воплощенный принцип, признанный вождь, пользовался среди своих единомышленников безграничной властью. Но как ни велика была сила его влияния, поднялся ропот.

Командир до мозга костей, Анжольрас, услышав ропот, стал настаивать. Он заявил властным тоном:

– Пусть те, кого пугает, что нас останется только тридцать, скажут об этом.

Ропот усилился.

– Легко сказать: «Уйдите»! – послышался голос из рядов. – Ведь баррикада оцеплена.

– Только не со стороны рынка, – возразил Анжольрас. – Улица Мондетур свободна, и улицей Проповедников можно добраться до рынка Инносан.

– Вот там-то и схватят, – раздался другой голос. – Как раз напорешься на караульный отряд национальных гвардейцев или гвардейцев предместья. Они-то уж заметят человека в блузе и фуражке. «Эй, откуда ты? Уж не с баррикады ли? – и поглядят на руки. – Ага, от тебя пахнет порохом. К расстрелу!»

Вместо ответа Анжольрас тронул за плечо Комбефера, и оба вошли в нижнюю залу.

Минуту спустя они вернулись. Анжольрас держал на вытянутых руках четыре мундира, сохраненных по его приказанию. Комбефер шел за ним, неся амуницию и кивера.

– В таком мундире, – сказал Анжольрас, – легко затеряться в рядах и скрыться. Во всяком случае, на четверых здесь хватит.

Он бросил мундиры на землю.

Это не поколебало стоической решимости его слушателей. Тогда заговорил Комбефер.

– Полноте! – сказал он. – Будьте сострадательны. Знаете, о чем идет речь? О женщинах. Скажите, есть у вас жены? Да или нет? Есть дети? Да или нет? Есть матери, качающие колыбель и окруженные кучей малышей? Кто никогда не видел грудь кормилицы, подымите руку. Ах, вы хотите быть убитыми! Поверьте, я сам хочу того же, но не желаю видеть вокруг себя тени женщин, ломающих руки. Умирайте, если хотите, но не губите других. Самоубийство, которое здесь произойдет, возвышенно, но ведь самоубийство – действие, строго ограниченное, не выходящее за известные пределы. Как только оно коснется ваших ближних, это уже убийство. Вспомните о белокурых детских головках, вспомните о седых стариках. Слушайте: Анжольрас рассказал мне сейчас, что видел на углу Лебяжьей улицы освещенное свечой узкое оконце пятого этажа и на стекле дрожащую тень старушки, которая, верно, всю ночь не смыкала глаз и кого-то ждала. Быть может, это мать одного из вас. Так вот, пусть он уйдет, пусть поспешит сказать матери: «Матушка, вот и я!» Ему нечего беспокоиться, мы завершим дело и без него. Тот, кто содержит близких своим трудом, не имеет права жертвовать собой. Это значит бросить семью на произвол судьбы. А те, у кого остались дочери, у кого остались сестры? О них вы подумали? Вы идете на смерть, вас убьют – прекрасно! А завтра? Ужасно, когда девушке нечего есть! Мужчина просит милостыню, женщина продает себя. Прелестные создания, ласковые и нежные с цветком в волосах! Они поют, болтают, озаряют ваш дом невинностью и свежим благоуханием, они доказывают своей девственной чистотой на земле существование ангелов на небесах! Подумайте о Жанне, о Лизе, о Мими: эти пленительные благородные существа, гордость и благословение вашей семьи, ведь они – о боже! – они будут голодать! Что тут скрывать? Есть рынок, где торгуют человеческим телом; и если они сойдут туда, разве ваши тени, витающие вокруг, удержат их своими бесплотными руками? Вспомните об улице, о тротуарах, заполненных прохожими, о магазинах, перед которыми слоняются по грязи

полураздетые женщины. Эти женщины тоже были когда-то невинными. Вспомните о ваших сестрах, у многих из вас они есть. Нищета, проституция, полиция, больница Сен-Лазар – вот что суждено этим нежным красавицам, хрупким чудесным созданиям, стыдливым, грациозным и прелестным, свежим, как майская сирень. Ах вот как, вы пошли на смерть? Вас уже нет на свете! Отлично, нечего сказать! Вы стремитесь спасти народ от королевской власти, а дочерей своих бросаете в полицейский участок. Полноте, друзья, будьте милосердны. Бедные, бедные женщины, мы так мало о них думаем! Мы полагаемся на то, что женщины не так образованы, как мы, им мешают читать, мешают мыслить, запрещают заниматься политикой; но разве можно запретить им пойти нынче вечером в морг и опознать ваши трупы? Слушайте, вы, у кого осталась семья: не упрямьтесь, пожмите нам руки и уходите, мы и одни здесь справимся. Я прекрасно понимаю: чтобы уйти, нужно мужество; это трудно. Но чем труднее, тем больше заслуга. Вы говорите: у меня ружье, я на баррикаде, будь что будет, я остаюсь. Будь что будет – не слишком ли сгоряча это сказано? Друзья мои, наступит завтрашний день; вы не доживете до завтра, но семьи ваши доживут, и сколько страданий их ожидает! Представьте себе славного здорового ребенка с румяными, как яблоко, щеками; он болтает, щебечет, тараторит, смеется, он так вкусно пахнет, когда его целуешь. Знаете ли вы, что с ним станет, когда его покинут? Я видел одного, совсем крошечного, вот такого роста. Его отец умер. Бедные люди приютили его из милости, но им самим не хватало хлеба. Ребенок всегда был голоден. Стояла зима. Он не плакал. Он все бродил около печки, в которой никогда не было огня, а труба у нее была обмазана желтой глиной. Он отковыривал пальчиками куски глины и ел ее. У него было хриплое дыхание, бледное личико, слабые ножки, вздутый живот. Он ничего не говорил и не отвечал на вопросы. Он умер. А умирать его принесли в больницу Некер, где я его и видел. Я проходил там как интерн врачебную практику. Так вот, если есть среди вас отцы, которые любят гулять по воскресеньям, держа ручку ребенка в своей большой сильной руке, пусть каждый отец представит себе, что это его ребенок. Я помню этого несчастного малыша, я как сейчас вижу его голое тельце на анатомическом столе; ребра выступали под кожей, словно могилки под кладбищенской травой. В желудке у него нашли какую-то грязь, в зубах застряла зола. Давайте же заглянем к себе в сердце, спросим совета у совести. Как установлено статистикой, смертность среди осиротевших детей достигает пятидесяти пяти процентов. Повторяю: речь идет о женщинах, о матерях, о девушках, речь идет о малышах. Кто говорит о вас самих? Мы знаем, кто вы такие, знаем, что все вы храбрецы, черт возьми! Прекрасно знаем, что вы с радостью, с гордостью готовы отдать жизнь за великое дело, что вы чувствуете себя призванными умереть с пользой и славой, что всякий из вас дорожит своей долей в общем торжестве. В добрый час! Но вы же не одни на свете. Есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не будьте эгоистами!

Все насупились.

Какие удивительные противоречия вскрываются в человеческом сердце в такие мгновения! Комбефер, произносивший эти слова, вовсе не был сиротой. Он помнил о чужих матерях и забыл о своей. Он шел на смерть. Он-то и был «эгоистом».

Изнуренный голодом и лихорадкой, Мариус, потеряв одну за другой все свои надежды, пережив самое страшное из крушений – упадок духа, истерзанный бурными волнениями и чувствуя близость конца, все больше впадал в странное оцепенение, которое предшествует роковому часу добровольной смерти.

Физиолог мог бы изучать на нем нарастающие симптомы того болезненного самоуглубления, изученного и классифицированного наукой, которое так же относится к страданию, как страсть – к наслаждению. У отчаянья также есть свои минуты экстаза. Мариус переживал такую минуту. Ему казалось, что он вне всякого происходящего; как мы уже

говорили, он видел все как бы издалека, воспринимал целое, но не различал подробностей. Люди двигались словно за огненной завесой, голоса доносились откуда-то из бездны.

Однако речь Комбефера растрогала всех. Было в этой сцене что-то острое и мучительное, что пронзило его и пробудило из забытья. Им владела одна мысль – умереть, и он не желал ничем отвлекаться, однако в своем зловещем полусне подумал, что, губя себя, не запрещается спасать других.

Он возвысил голос.

– Анжольрас и Комбефер правы, – сказал он, – не нужно бесцельных жертв. Я согласен с ними; но надо спешить. То что сказал Комбефер, неопровержимо. У кого из вас есть семьи, матери, сестры, жены, дети, пусть выйдут вперед.

Никто не тронулся с места.

– Кто женат, кто опора семьи, выходите вперед! – повторил Мариус.

Его влияние было велико. Вождем баррикады, правда, считался Анжольрас, но Мариус был ее спасителем.

– Я приказываю! – крикнул Анжольрас.

– Я вас прошу, – сказал Мариус.

Тогда храбрецы, потрясенные речью Комбефера, поколебленные приказом Анжольраса, тронутые просьбой Мариуса, начали указывать друг на друга.

– Это верно, – говорил молодой пожилому, – ты отец семейства, уходи.

– Уж лучше ты, – отвечал тот, – у тебя две сестры на руках.

Разгорелся неслыханный спор. Каждый противился тому, чтобы его вытащили из могилы.

– Торопитесь, – сказал Комбефер, – через четверть часа будет поздно.

– Граждане! – настаивал Анжольрас. – У нас здесь республика, все решается голосованием. Выбирайте сами, кто должен уйти.

Ему повиновались. Несколько минут спустя пять человек были выбраны единогласно и вышли из рядов.

– Их пятеро! – воскликнул Мариус.

Мундиров было только четыре.

– Ну что же, одному придется остаться, – ответили пятеро.

И снова каждый стремился остаться и убеждал других уйти. Борьба великодушия возобновилась.

– У тебя любящая жена.

– У тебя старая мать.

– А у тебя ни отца, ни матери. Что станется с твоими тремя братишками?

– У тебя пятеро детей.

– Ты должен жить, в семнадцать лет слишком рано умирать.

На великих революционных баррикадах соревновались в героизме. Невероятное здесь становилось обычным. Никто из этих людей не удивлялся друг другу.

– Скорее, скорее! – твердил Курфейрак.

Из толпы закричали Мариусу:

– Назначьте вы, кому остаться!

– Верно, – сказали все пятеро, – выбирайте. Мы подчинимся.

Мариус не думал, что еще способен испытать подобное волнение. Однако при мысли, что он должен выбрать и послать человека на смерть, вся кровь прилила ему к сердцу. Он бы побледнел еще больше, если бы это было возможно.

Он подошел к пятерым; они улыбались ему, глаза их горели тем же священным пламенем, каким светились в глубокой древности глаза защитников Фермопил, и каждый кричал:

– Меня, меня, меня!

Мариус растерянно пересчитал их; по-прежнему их было пятеро. Затем перевел глаза на четыре мундира.

В этот миг на четыре мундира, как будто с неба, упал пятый.

Пятый человек был спасен.

Мариус поднял глаза и узнал Фошлевана.

Жан Вальжан только что появился на баррикаде.

Не то разведав об этом пути, не то по внутреннему чутью, не то просто случайно, но он проник туда со стороны улицы Мондетур. Благодаря форме национальной гвардии он прошел благополучно.

Дозор, выставленный мятежниками на улице Мондетур, не стал поднимать тревогу из-за одного национального гвардейца. Решив, что это, вероятно, кто-нибудь из пополнения или, в худшем случае, пленный, его пропустили. Момент был слишком опасен, караульные не могли отвлечься от своих обязанностей и покинуть наблюдательный пост.

Появления Жана Вальжана на редуте никто не заметил, так как все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Но Жан Вальжан видел и слышал все: он молча снял с себя мундир н бросил его поверх прочих.

Трудно описать всеобщее волнение.

– Кто этот человек? – спросил Боссюэ.

– Тот, кто спасает других, – ответил Комбефер.

– Я знаю его, – многозначительно прибавил Мариус.

Его поручительства было достаточно.

Анжольрас обратился к Жану Вальжану:

– Добро пожаловать, гражданин!

И добавил:

– Вы знаете, что нам придется умереть?

Вместо ответа Жан Вальжан стал помогать спасенному им повстанцу надеть мундир.

Глава пятая.
Какой горизонт открывается с высоты баррикады

Душевное состояние всех в роковой этот час, в этом месте, откуда не было исхода, нашло свое высшее выражение в глубокой печали Анжольраса.

Анжольрас казался воплощением революции, но была в нем некоторая узость, насколько это возможно для абсолютного, он слишком походил на Сен-Жюста и недостаточно на Анахарсиса Клотца. Однако в обществе Друзей азбуки его ум в конце концов воспринял идеи Комбефера, с некоторых пор, высвобождаясь мало-помалу из тесных рамок догматичности и поддаваясь расширяющему кругозор влиянию прогресса, он пришел к мысли, что великолепным завершением эволюции явится преобразование Великой французской республики в огромную всемирную республику. Если же говорить о методах действия, то в данных обстоятельствах он стоял за насилие против насилия. В этом он не изменился и остался верен той грозной эпической школе, которая определяется словами: Девяносто третий год.

Анжольрас стоял на каменных ступенях, опершись на ствол своего карабина. Он был погружен в раздумье, он вздрагивал, словно на него налетали порывы ветра; там, где веет смерть, порою веет и пророческий дух. Глаза его, выражавшие глубокую сосредоточенность, излучали мерцающий свет. Вдруг он поднял голову, и его светлые кудри откинулись назад,

окружая ее сияющим ореолом, словно волосы ангела, летящего на звездной колеснице ночи, словно разметавшаяся львиная грива.

– Граждане, вы представляете себе будущее? – воскликнул Анжольрас – Улицы городов, затопленные светом, зеленые ветви у порога домов, братство народов! Люди справедливы, старики благословляют детей, прошедшее в согласии с настоящим; мыслителям – полная свобода, верующим – полное равенство, вместо религии – небеса. Первосвященник – сам бог, вместо алтаря – совесть человека; нет больше ненависти на свете, в школах и мастерских – братство, наградой и наказанием служит гласность; труд для всех, право для всех, мир надо всеми; нет больше кровопролития, нет больше войн, матери счастливы! Покорить материю – первый шаг; осуществить идеал – шаг второй. Подумайте, сколь многого уже достиг прогресс! Некогда первобытные племена взирали в ужасе на гидру, вздымающую океанские воды, на дракона, изрыгающего огонь, на страшного владыку воздуха грифона с крыльями орла и когтями тигра, – на чудовищных тварей, которые превосходили человека могуществом. Однако человек расставил западни, священные западни мысли, и в конце концов изловил чудовищ. Мы укротили гидру, и она зовется пароходом; мы приручили дракона, и он зовется локомотивом; мы вот-вот укротим грифона, мы уже поймали его, и он называется воздушным шаром. В тот день, когда завершится этот Прометеев подвиг, когда воля человека окончательно обуздает трехликую Химеру древности – гидру, дракона и грифона, человек станет властелином воды, огня и воздуха, он будет тем же для остальных одушевленных существ, чем древние боги были некогда для него. Итак, смелее вперед! Граждане, куда мы идем? К государству, которым руководит наука, к силе реальности, которая станет единственной общественной силой, к естественному закону, содержащему в себе самом право признания и осуждения и утверждающему себя своей очевидностью, к восходу истины, подобному восходу зари. Мы идем к единению народов, мы идем к единению человечества. Не будет ложных истин, не останется паразитов. Реальность, управляемая истиной, – вот наша цель. Цивилизация будет заседать в сердце Европы, а позднее – в центре материка, в великом парламенте разума. Нечто подобное бывало и прежде. Собрания амфиктионов происходили дважды в год: первый раз в Дельфах, обиталище богов, другой раз в Фермопилах, усыпальнице героев. Будут амфиктионы Европы, будут амфиктионы земного шара. Франция носит в своем чреве это величественное будущее. Вот чем беременно девятнадцатое столетие; Франция достойна завершить то, что зачато Грецией. Слушай меня, Фейи, честный рабочий, сын народа, сын народов. Я уважаю тебя! Ты прозреваешь грядущее, ты прав. У тебя нет ни отца, ни матери, Фейи, и ты избрал вместо матери человечество, вместо отца – право. Тебе суждено здесь умереть, то есть восторжествовать. Граждане, что бы с нами ни случилось, ждет ли нас поражение или победа, – все равно, мы творим революцию. Подобно тому как пожары озаряют весь город, революции озаряют все человечество. Во имя чего мы творим революцию, спросите вы? Я только что сказал: во имя Истины. С точки зрения политической, существует один лишь принцип: верховная власть человека над самим собой. Моя власть над моим «я» называется Свободой. Там, где объединяются две такие верховные власти или более, возникает государство. Однако в этом союзе нет самоотречения Тут верховная» власть, добровольно уступает известную долю самой себя, чтобы образовать общественное право. Доля эта одинакова для всех. Равноценность уступок, которые каждый делает обществу, называется Равенством. Общественное право – не что иное, как защита всеми прав каждого в отдельности. Такая защита всеми прав каждого называется Братством. Точка пересечения всех этих видов верховной власти, собранных вместе, называется Обществом. Так как пересечение есть соединение, то такая точка есть узел. Отсюда возникает то, что называют социальными связями. Иные именуют это общественным договором, что, собственно, то же самое: этимологически слово «договор». Контракт, восходит к понятию contrato – связывать. Условимся, как понимать равенство. Если свобода – вершина, то равенство-основание. Но равенство, граждане, вовсе не стрижка под одну гребенку всего, что способно расти и

развиваться, не сборище высоких трав и низкорослых дубов, не соседство зависти и недоброжелательства, которые взаимно обеспложивают друг друга; в социальном отношении – это открытая дорога для всех способностей, в политическом – равноправие всех голосов при голосовании, в религиозном – свобода совести для каждого. У равенства есть могучее орудие – бесплатное обязательное обучение. Право на грамоту – вот с чего надо начать. Начальная школа обязательна для всех, средняя школа доступна всем – вот основной закон. Следствием одинакового образования будет общественное равенство. Да, просвещение! Свет! Свет! Все исходит из света и к нему возвращается. Граждане! Девятнадцатый век велик, но двадцатый будет счастливым веком. Не будет ничего общего с прошлым. Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, захватов, вторжений, соперничества вооруженных наций, перерыва в развитии цивилизации, зависящего от брака в королевской семье, от рождения наследника в династии тиранов; не будет раздела народов конгрессом, расчленения, вызванного крушением династии, борьбы двух религий, столкнувшихся лбами, будто два адских козла на мостике бесконечности. Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы, ни эшафота, ни кинжала, ни войн, ни случайного разбоя в чаще происшествий. Я мог бы сказать, пожалуй: не будет и самих происшествий. Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое; между душой и небесными светилами установится гармония; дух будет тяготеть к истине, как планеты, вращаясь, тяготеют к солнцу. Друзья! Мы живем в мрачную годину, и я говорю с вами в мрачный час, но этой страшной ценой мы платим за будущее. Революция-это наш выкуп. Человечество будет освобождено, возвеличено и утешено! Мы заверяем его в том с нашей баррикады. Откуда может раздаться голос любви, если не с высот самопожертвования? Братья! Вот здесь, на этом месте, объединяются те, кто мыслит, с теми, кто страдает. Не из камней, не из балок, не из железного лома построена наша баррикада; она воздвигнута из великих иней и великих страданий. Здесь несчастье соединяется с идеалом. День сливается с ночью и говорит ей: «Я умру с тобой, а ты возродишься со мною». Из слияния всех скорбей рождается вера. Страдания несут сюда свои предсмертные муки, а идеи – свое бессмертие. Эта агония и это бессмертие, соединившись, станут нашей смертью. Братья! Кто умрет здесь, умрет в сиянии будущего, и мы сойдем в могилу, всю пронизанную лучами зари.

Анжольрас закончил свою речь – вернее, прервал ее; его губы беззвучно шевелились, как будто он продолжал говорить сам с собой. Все смотрели на него, затаив дыхание, словно стараясь расслышать его слова. Рукоплесканий не было, но долго еще переговаривались шепотом. Слово подобно дуновению ветра; вызываемое им волнение умов похоже на волнение листвы под ветром.

Глава шестая.
Мариус угрюм, Жавер лаконичен

Поговорим о том, что происходило в душе Мариуса.

Припомним его состояние. Как мы недавно отметили, все представлялось ему неясным видением. Он смутно воспринимал окружающее. Над Мариусом словно нависла тень громадных зловещих крыльев, распростертых над умирающими. Ему чудилось, будто он сошел в могилу, он чувствовал себя как бы по ту сторону бытия и видел лица живых глазами мертвеца.

Как очутился здесь Фошлеван? Зачем он пришел? Что ему здесь делать? Мариус не задавался такими вопросами. К тому же отчаянию свойственно вселять в нас уверенность, что другие также им охвачены, поэтому Мариусу казалось естественным, что все идут на смерть.

Сердце его сжималось только при мысли о Козетте.

Впрочем, Фошлеван не говорил с ним, не смотрел па него и даже как будто не слышал слов Мариуса: «Я знаю его».

Такое поведение Фошлевана успокаивало Мариуса, мы сказали бы даже – радовало, если бы это слово подходило к его состоянию. Ему всегда представлялось немыслимым заговорить

с этим загадочным человеком, подозрительным и вместе с тем внушающим уважение. Кроме того, он очень давно не встречался с ним, что еще больше осложняло дело для такой робкой и скрытной натуры, как Мариус.

Пятеро избранных ушли с баррикады и направились по переулку Мондетур; с виду они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них плакал, уходя. На прощание они обнялись с теми, кто оставался.

Когда ушли пятеро возвращенных к жизни, Анжольрас вспомнил о приговоренном к смерти. Он вошел в нижнюю залу. Жавер, привязанный к столбу, стоял задумавшись.

– Тебе ничего не нужно? – спросил Анжольрас.

– Когда вы убьете меня? – спросил Жавер.

– Подождешь. Теперь у нас все патроны на счету.

– Тогда дайте мне пить, – сказал Жавер.

Анжольрас подал ему стакан и, так как Жавер был связан, помог напиться.

– Это все? – снова спросил Анжольрас.

– Я устал стоять у столба, – отвечал Жавер. – Не очень-то вежливо с вашей стороны оставить меня так на всю ночь. Связывайте меня как угодно, но почему не положить меня на стол, как вот этого?

Кивком головы он указал на труп Мабефа.

Припомним, что в глубине залы стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и готовили патроны. Теперь, когда патроны были набиты и весь порох истрачен, стол освободился.

По приказу Анжольраса четыре повстанца отвязали Жавера от столба. Пока его развязывали, пятый держал штык у его груди. Руки его оставили скрученными за спиной, а ноги спутали тонким, но прочным ремнем, позволившим делать шаги в пятнадцать дюймов, – так поступают с теми, кого отправляют на эшафот; затем Жавера подвели к столу в глубине залы и уложили на нем, крепко перехватив веревкой поперек тела.

Хотя такая система пут исключала всякую возможность бегства, но для пущей безопасности его связали еще способом, называемым в тюрьмах «мартингалом», то есть укрепили на шее веревку, которая, спускаясь от затылка, раздваивается у пояса и, пройдя между ног, скручивает кисти рук.

Пока Жавера связывали, какой-то человек, стоя в дверях, смотрел на него с необыкновенным вниманием. Тень, падавшая от него, заставила Жавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Он даже не вздрогнул, – он закрыл глаза с высокомерным видом и промолвил:

– Этого следовало ожидать.

Глава седьмая.
Положение осложняется

Становилось все светлее. Но ни одно окно не отворялось, ни одна дверь не приоткрывалась, это была заря, но не пробуждение. Солдат, занимавших конец улицы Шанврери, против баррикады, отвели назад; мостовая казалась безлюдной – она простиралась перед прохожими в зловещем покое. Улица Сен-Дени была безмолвна, словно аллея сфинксов в Фивах. На перекрестках, белевших в лучах зари, не было ни души. Нет ничего мрачнее пустынных улиц при утреннем свете.

Ничего не было видно, но что-то доносилось до слуха. Где-то неподалеку происходило таинственное движение. Все говорило о том, что близилась решительная минута. Как и накануне вечером, дозорных отозвали, на этот раз всех до одного.

Баррикада была укреплена сильнее, чем при первой атаке. После ухода пяти повстанцев ее надстроили еще выше.

Опасаясь неожиданного нападения с тыла, Анжольрас, по совету дозорных, обследовавших район рынка, принял важное решение он велел загородить узкий проход переулка Мондетур, который до сих пор оставался свободным. Для этого разобрали мостовую еще вдоль нескольких домов. Таким образом, баррикада, перегородившая три улицы каменной стеной – спереди улицу Шанврери, слева Лебяжью и Малую Бродяжную, справа улицу Мондетур, – стала почти неприступной; правда, защитники ее оказались наглухо запертыми. У нее было три фронта, но не осталось ни одного выхода.

– Не то крепость, не то мышеловка, – сказал, смеясь, Курфейрак.

У входа в кабачок Анжольрас велел сложить в кучу штук тридцать оставшихся булыжников, «вывороченных зря», как выразился Боссюэ.

В той стороне, откуда ждали нападения, стояла такая глубокая тишина, что Анжольрас приказал всем занять боевые посты.

Каждому выдали порцию водки.

Нет ничего необычайнее баррикады, которая готовится выдержать атаку. Каждый устраивается поудобнее, точно на спектакле. Кто прислонится к стене, кто облокотится, кто обопрется плечом. Некоторые сооружают себе скамью из булыжников. Здесь мешает угол стены – от него отходят подальше; там выступ – надо укрыться под его защиту. Левши в большой цене: они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются так, чтобы вести бой сидя. Всем хочется найти положение, в котором удобно убивать и покойно умирать. Во время роковой июньской битвы 1848 года один повстанец, одаренный необычайной меткостью и стрелявший с площадки на крыше, велел принести себе туда вольтеровское кресло; там его и поразил залп картечи.

Как только командир приказал готовиться к бою, беспорядочная суета на баррикаде тотчас прекратилась: перестали перекидываться словами, собираться в кружки, перешептываться по углам, разбиваться на группы. Все, что бродило в мыслях, сосредоточилось на одном и превратилось в ожидание атаки. Баррикада перед нападением – воплощенный хаос; в грозный час – воплощенная дисциплина. Опасность порождает порядок.

Лишь только Анжольрас взял свой двуствольный карабин и занял выбранный им пост перед отверстием в виде бойницы, все замолчали. Вдоль стены, сложенной из булыжников, раздалось легкое сухое потрескивание. Это заряжали ружья.

Несмотря ни на что, все держались более гордо и более уверенно, чем когда-либо: предельное самоотвержение есть самоутверждение; надежды ни у кого не оставалось, но оставалось отчаяние. Отчаяние – последнее оружие, иногда приводящее к победе, как сказал Вергилий. Крайняя решимость идет на крайние средства. Порою броситься в пучину смерти – это способ избежать гибели, и крышка гроба становится тогда якорем спасения.

Как и накануне вечером, внимание всех было обращено, вернее – приковано, к перекрестку улицы, уже освещенной зарей и ясно различимой.

Ждать пришлось недолго. Со стороны Сен-Ле явственно послышалось какое-то движение, непохожее на шум вчерашней атаки. Лязг цепей, беспокойная тряска движущейся громады, звяканье меди, какой-то торжественный грохот – все возвещало приближение грозной железной машины. Сотрясалось самое нутро старых тихих улиц, проложенных и застроенных для мирного плодотворного общения людских интересов и идей, – улиц, не приспособленных для чудовищных перекатов военной колесницы.

Бойцы напряженно вглядывались вдаль.

И вот показалась пушка.

Артиллеристы катили орудие, приготовленное для стрельбы и снятое с передка; двое поддерживали лафет, четверо толкали колеса, другие везли позади зарядный ящик. Видно было, как дымится зажженный фитиль.

– Огонь! – скомандовал Анжольрас.

С баррикады дали залп, раздался ужасающий грохот; туча дыма скрыла и заволокла людей и орудие; через несколько секунд облако рассеялось, и пушка с людьми показалась снова. Канониры устанавливали орудие против баррикады, медленно, аккуратно, не торопясь. Ни один из них не был ранен. Затем наводчик налег на казенную часть, чтобы поднять прицел, и начал наводить пушку с серьезностью астронома, направляющего подзорную трубу.

– Браво, артиллеристы! – вскричал Боссюэ.

Баррикада разразилась рукоплесканиями.

Минуту спустя, прочно утвердившись на самой середине улицы, оседлав канаву, орудие приготовилось к бою. Оно разевало на баррикаду свою страшную пасть.

– А ну, валяй! – проговорил Курфейрак. – Вот так зверюга! Сперва в щелчки, а потом в кулаки. Армия протягивает к нам свою лапищу. Баррикаду здорово тряхнет. Ружьем нащупывают, пушкой бьют.

– Это восьмидюймовое орудие нового образца, из бронзы, – добавил Комбефер. – Такие орудия при малейшем нарушении пропорции – на сто частей меди десять частей олова – могут взорваться. Излишек олова делает их ломкими. В стволе могут образоваться пустоты и раковины. Чтобы избежать этой опасности и увеличить заряд, пожалуй, следовало бы вернуться к набивке обручей, как в четырнадцатом веке, и насадить на дуло, от казенной части до цапфы, ряд стальных колец. А до тех пор стараются чем могут помочь горю: с помощью трещотки удается определить, где появились трещины и раковины в стволе орудия. Но есть лучший способ: это движущаяся искра Грибоваля.

– В шестнадцатом веке пушки были нарезные, – заметил Боссюэ.

– Да, – подтвердил Комбефер, – это увеличивает силу удара, но уменьшает его точность. Кроме того, при стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет нужного угла, парабола ее чрезмерно увеличивается, снаряд летит недостаточно прямо и не в состоянии поразить то, что встретит на своем пути. А в сражении это тем важнее, чем ближе неприятель и чем чаще должна стрелять пушка. Этот недостаток натяжения кривой снаряда в нарезных пушках шестнадцатого века зависел от слабости заряда, а слабые заряды в подобных орудиях отвечали требованиям баллистики и способствовали сохранности лафетов. В общем такой деспот, как пушка, не волен делать все, что захочет; ее сила, в сущности, большая слабость. Скорость пушечного ядра только шестьсот миль в час, тогда как скорость света – семьдесят тысяч миль в секунду. Таково превосходство Иисуса Христа над Наполеоном.

– Зарядите ружья, – приказал Анжольрас.

Способна ли баррикада выдержать пушечное ядро? Пробьет ли ее залпом? Вот в чем вопрос. Пока повстанцы перезаряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку.

– Защитники редута застыли в тревожном ожидании.

Грянул выстрел, раздался грохот.

– Есть! – крикнул веселый голос.

И в ту же секунду как ядро попало в баррикаду, внутрь ее скатился Гаврош.

Он пробрался с Лебяжьей улицы и легко перелез через добавочную баррикаду, отгородившую запутанные переулки Малой Бродяжной.

Гаврош произвел куда большее впечатление на баррикаде, чем ядро.

Оно застряло в груде хлама, разбив всего-навсего одно из колес омнибуса и доконав старые сломанные роспуски Ансо. Увидев это, вся баррикада разразилась хохотом.

– Валяйте дальше! – крикнул артиллеристам Боссюэ.

Глава восьмая.

Артиллеристы дают понять, что с ними шутки плохи

Гавроша обступили.

Но он не успел ничего рассказать. Мариус, весь дрожа, отвел его в сторону.

– Зачем ты сюда пришел?

– Вот те на! – воскликнул мальчик. – А вы-то сами?

И он смерил Мариуса спокойным, дерзким взглядом. Его глаза сияли гордостью.

Мариус продолжал строгим тоном:

– Кто тебе велел возвращаться? Передал ты по крайней мере письмо по адресу?

По правде сказать, Гавроша немного мучила совесть. Торопясь вернуться на баррикаду, он скорее отделался от письма, чем передал его. Он принужден был сознаться самому себе, что несколько легкомысленно доверился незнакомцу, даже не разглядев его лица в темноте. Что верно, то верно, человек был без шляпы, но это не меняет дела. Словом, в душе он поругивал себя и боялся упреков Мариуса. Чтобы выйти из положения, он избрал самый простой способ – начал бессовестно врать.

– Гражданин! Я передал письмо привратнику. Барышня спала. Она получит письмо, как только проснется.

Отправляя письмо, Мариус преследовал двойную цель – проститься с Козеттой и спасти Гавроша. Ему пришлось удовольствоваться половиной задуманного.

Он вдруг усмотрел какую-то связь между посылкой письма и присутствием Фошлевана на баррикаде. Указав Гаврошу на Фошлевана, он спросил:

– Ты знаешь этого человека?

– Нет, – ответил Гаврош.

Как мы уже говорили, Гаврош и в самом деле видел Жана Вальжана только ночью.

Смутные болезненные подозрения, зародившиеся было в мозгу Мариуса, рассеялись. Разве он знал убеждения Фошлевана? Может быть, Фошлеван республиканец. Тогда его участие в этом бою вполне понятно.

Между тем Гаврош, удрав на другой конец баррикады, кричал:

– Где мое ружье?

Курфейрак приказал отдать ему оружие.

Гаврош предупредил «товарищей», как он называл повстанцев, что баррикада оцеплена. Ему удалось добраться сюда с большим трудом. Со стороны Лебяжьей дорогу держал под наблюдением линейный батальон, составив ружья в козлы на Малой Бродяжной; с противоположной стороны улицу Проповедников занимала муниципальная гвардия. Прямо против баррикады были сосредоточены основные силы.

Сообщив эти сведения, Гаврош прибавил:

– А теперь всыпьте им как следует.

Между тем Анжольрас, стоя у бойницы, с напряженным вниманием следил за противником.

Осаждавшие, видимо, не очень довольные результатом выстрела, стрельбы не возобновляли.

Подошел пехотный отряд и занял конец улицы, позади орудия. Солдаты разобрали мостовую и соорудили из булыжников, прямо против баррикады, небольшую низкую стену, нечто вроде защитного вала, дюймов восемнадцати высотой. За левым углом вала виднелась головная колонна пригородного батальона, сосредоточенного на улице Сен-Дени.

Анжольрасу в его засаде послышался тот особенный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью, и он увидел, как наводчик перевел прицел и слегка наклонил влево дуло пушки. Затем канониры принялись заряжать орудие. Наводчик сам схватил фитиль и поднес к запалу.

– Нагните головы, прижмитесь к стене! – крикнул Анжольрас. – Станьте на колени вдоль баррикады!

Повстанцы, толпившиеся у кабачка или покинувшие боевой пост при появлении Гавроша, стремглав бросились к баррикаде, но прежде чем они успели исполнить приказ Анжольраса, раздался выстрел и страшное шипение картечи. Это был оглушительный залп.

Снаряд был направлен в отсек баррикады. Отскочив от стены, осколки рикошетом убили двоих и ранили троих.

Было ясно, что если так будет продолжаться, баррикада не устоит: пули пробивали ее.

Послышались тревожные возгласы.

– Попробуем помешать второму выстрелу! – сказал Анжольрас.

Опустив ниже ствол карабина, он прицелился в наводчика, который в эту минуту, нагнувшись над орудием, проверял и окончательно устанавливал прицел.

Наводчик был красивый сержант артиллерии, молодой, белокурый, с тонким лицом и умным выражением, характерным для войск этого грозного рода оружия, которое призвано, совершенствуясь в ужасном истреблении, убить в конце концов самую войну.

Комбефер, стоя рядом с Анжольрасом, глядел на юношу.

– Как жаль! – сказал он. – До чего отвратительна эта бойня! Право, когда не будет королей, не будет и войн. Ты целишься в сержанта, Анжольрас, и даже не глядишь на него. Подумай: быть может, это прекрасный юноша, отважный, умный, ведь молодые артиллеристы – народ образованный; у него отец, мать, семья, он, вероятно, влюблен, ему самое большее двадцать пять лет, он мог бы быть твоим братом.

– Он и есть мой брат, – произнес Анжольрас.

– Ну да, и мой тоже, – продолжал Комбефер. – Послушай, давай пощадим его!

– Оставь. Так надо.

По бледной, как мрамор, щеке Анжольраса медленно скатилась слеза.

В ту же минуту он спустил курок. Блеснул огонь. Вытянув руки вперед и закинув голову, словно стараясь вдохнуть воздух, артиллерист два раза перевернулся на месте, затем повалился боком на пушку и остался недвижим. Видно было, что по спине его. между лопатками, течет струя крови. Пуля пробила ему грудь навылет. Он был мертв.

Пришлось унести его и заменить другим. На этом баррикада выгадала несколько минут.

Глава девятая.
На что могут пригодиться старый талант браконьера и меткость в стрельбе, повлиявшие на приговор 1796 года

На баррикаде стали совещаться. Скоро снова начнут палить из пушки. Под картечью им не протянуть и четверти часа. Необходимо было ослабить силу удара.

Анжольрас отдал приказание:

– Вон туда надо положить тюфяк.

– У нас нет лишних, – возразил Комбефер, – на них лежат раненые.

Жан Вальжан, сидевший на тумбе поодаль, на углу кабачка, поставив ружье между колен, до этой минуты не принимал никакого участия в происходящем. Казалось, он не слышал, как бойцы ворчали вокруг него:

– Экая досада! Ружье пропадает зря.

Услыхав приказ Анжольраса, он поднялся.

Припомним, что, как только на улице Шанврери появились повстанцы, какая-то старуха, предвидя стрельбу, загородила свое окно тюфяком. Это было чердачное окошко на крыше шестиэтажного дома, стоявшего немного в стороне от баррикады. Тюфяк, растянутый поперек окна, снизу подпирали два шеста для сушки белья, а вверху его удерживали две веревки, привязанные к гвоздям, вбитым в оконные наличники. Эти веревки, тонкие, как волоски, ясно выделялись на фоне неба.

– Дайте мне кто-нибудь двуствольный карабин! – сказал Жан Вальжан.

Анжольрас, только что перезарядивший ружье, протянул ему свое.

Жан Вальжан прицелился в мансарду и выстрелил.

Одна из веревок, поддерживавших тюфяк, оборвалась.

Тюфяк держался теперь только на одной.

Жан Вальжан выпустил второй заряд. Вторая веревка хлестнула по окошку мансарды. Тюфяк скользнул меж шестами и упал на мостовую.

Баррикада зааплодировала.

Все кричали в один голос:

– Вот и тюфяк!

– Так-то так, – заметил Комбефер, – но кто пойдет за ним?

В самом деле, тюфяк упал впереди баррикады, между нападавшими и осажденными. Мало того, несколько минут назад солдаты, взбешенные гибелью сержанта-наводчика, залегли за устроенным ими валом из булыжников и открыли огонь по баррикаде, чтобы заменить пушку, поневоле молчавшую в ожидании пополнения орудийного расчета. Повстанцы не отвечали на пальбу, чтобы не тратить боевых припасов. Для баррикады ружья были не страшны, но улица, засыпаемая пулями, грозила гибелью.

Жан Вальжан пролез через оставленную в баррикаде брешь, вышел на улицу, под градом пуль добрался до тюфяка, поднял его, взвалил на спину и вернулся на баррикаду.

Он загородил тюфяком опасный пролом и так приладил его к стене, что артиллеристы не могли его видеть.

Покончив с этим, стали ждать залпа.

И вот он раздался.

Пушка с ревом изрыгнула картечь. Но рикошета не получилось. Картечь застряла в тюфяке. Задуманный эффект удался. Баррикада была надежно защищена.

– Гражданин! – обратился Анжольрас к Жану Вальжану. – Республика благодарит вас.

Боссюэ хохотал от восторга. Он восклицал:

– Просто неприлично, что тюфяк обладает таким могуществом. Жалкая подстилка торжествует над громовержцем! Все равно, слава тюфяку, победившему пушку!

Глава десятая.
Заря

В эту самую минуту Козетта проснулась.

У нее была узкая, чистенькая, скромная комнатка с высоким окном, выходившим на задний двор, на восток.

Козетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Накануне она нигде не была и уже ушла в свою спальню, когда Тусен сказала:

– В городе что-то неладно.

Козетта спала недолго, но крепко. Ей снились приятные сны, может быть, потому, что се постелька была совсем белая. Ей пригрезился кто-то похожий на Мариуса, весь сияющий.

Солнце светило ей прямо в глаза, когда она проснулась, и ей почудилось сначала, будто сон продолжается.

Сон навеял ей радостные мысли. Козетта совершенно успокоилась. Как незадолго перед тем Жан Вальжан, она отогнала все тревоги; ей не хотелось верить в несчастье. Она надеялась всем сердцем, сама не зная почему. Затем у нее вдруг сжалось сердце. Она не видела Мариуса уже целых три дня. Но она убедила себя, что он наверное получил ее письмо и знает теперь, где она; он ведь так умен, он придумает способ с ней повидаться. И непременно придет сегодня, может быть, даже утром. Было уже совсем светло, но лучи солнца падали отвесно; еще рано, однако пора вставать, чтобы успеть встретить Мариуса.

Она чувствовала, что не может жить без Мариуса и что одного этого довольно, чтобы Мариус пришел. Никаких возражений не допускалось. Ведь это было бесспорно. И то уже нестерпимо, что ей пришлось страдать целых три дня. Три дня не видеть Мариуса – как только господь бог допустил это! Теперь все жестокие шутки судьбы, все испытания позади. Мариус придет и принесет добрые вести. Такова юность: она быстро осушает слезы, она считает страдание ненужным и не приемлет его. Юность-улыбка будущего, обращенная к неведомому, то есть к самому себе. Быть счастливой – естественно для юности, самое дыхание ее как будто напоено надеждой.

К тому же Козетта никак не могла припомнить, что говорил ей Мариус о возможном своем отсутствии – самое большее на один день – и чем он объяснял его. Все мы замечали, как ловко прячется монета, если ее уронишь на землю, с каким искусством превращается она в невидимку. Бывает, что и мысли проделывают с нами такую же штуку: они забиваются куда-то в уголок мозга – и кончено, они потеряны, припомнить их невозможно. Козетта подосадовала на бесплодные усилия своей памяти. Она сказала себе, что очень совестно и нехорошо с ее стороны позабыть, что ей сказал Мариус.

Она встала с постели и совершила двойное омовение – души и тела, молитву и умывание.

Можно лишь в крайнем случае ввести читателя в спальню новобрачных, но никак не в девичью спальню. Даже стихи редко на это осмеливаются, а прозе вход туда запрещен.

Это чашечка нераспустившегося цветка, белизна во мраке, бутон нераскрывшейся лилии, куда не должен заглядывать человек, пока в нее не заглянуло солнце. Женщина, еще не расцветшая, священна. Полураскрытая девичья постель, прелестная нагота, боящаяся самой себя, белая ножка, прячущаяся в туфле, грудь, которую прикрывают перед зеркалом, словно у зеркала есть глаза, сорочка, которую поспешно натягивают на обнаженное плечо, если скрипнет стул или проедет мимо коляска, завязанные ленты, застегнутые крючки, затянутые шнурки, смущение, легкая дрожь от холода и стыдливости, изящная робость движений, трепет испуга там, где нечего бояться, последовательные смены одежд, очаровательных, как предрассветные облака, – рассказывать об этом не подобает, упоминать об этом – и то уже дерзость.

Человек должен взирать на пробуждение девушки с еще большим благоговением, чем на восход звезды. Беззащитность должна внушать особое уважение. Пушок персика, пепельный налет сливы, звездочки снежинок, бархатистые крылья бабочки – все это грубо в сравнении с целомудрием, которое даже не ведает, что оно целомудренно. Молодая девушка – это неясная греза, но еще не воплощение любви. Ее альков скрыт в темной глубине идеала. Нескромный взор – грубое оскорбление для этого смутного полумрака. Здесь даже созерцать – значит осквернять.

Поэтому мы не будем описывать милой утренней суетни Козетты.

В одной восточной сказке говорится, что бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее, когда она распустилась, и она застыдилась и заалела. Мы из тех, кто смущается перед молодыми девушками и цветами, мы преклоняемся перед ними.

Козетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что было очень просто в те времена, когда женщины не взбивали еще кудрей, подсовывая снизу подушечки и валики, и не носили накладных буклей. Потом она растворила окно и осмотрелась, в надежде разглядеть хоть часть улицы, угол дома, кусочек мостовой, чтобы не пропустить появления Мариуса. Но из окна ничего нельзя было увидеть. Внутренний дворик окружали довольно высокие стены, а в просветах меж ними виднелись какие-то сады. Козетта нашла, что сады отвратительны: первый раз в жизни цветы показались ей безобразными. Любой кусочек канавы на перекрестке понравился бы ей гораздо больше. Она стала смотреть в небо, словно думая, что Мариус может явиться и оттуда.

Вдруг она расплакалась. Это было вызвано не переменчивостью ее настроений, но упадком духа от несбывшихся надежд. Она смутно почувствовала что-то страшное. Вести и впрямь иногда доносятся по воздуху. Она говорила себе, что не уверена ни в чем, что потерять друг друга из виду – значит погибнуть, и мысль, что Мариус мог бы явиться ей с неба, показалась ей уже не радостной, а зловещей.

Потом набежавшие тучки рассеялись, вернулись покой и надежда, и невольная улыбка, полная веры в бога, вновь появилась на ее устах.

В доме все еще спали. Здесь царила безмятежная тишина. Ни одна ставня не отворялась. Каморка привратника была заперта, Тусен еще не вставала, и Козетта решила, что и отец ее, конечно, спит. Видно много пришлось ей выстрадать и страдать еще до сих пор, если она пришла к мысли, что отец ее жесток; но она полагалась на Мариуса. Затмение такого светила казалось ей совершенно невозможным. Время от времени она слышала вдалеке какие-то глухие удары и говорила себе: «Как странно, что в такой ранний час хлопают воротами!» То были пушечные залпы, громившие баррикаду.

Под окном Козетты, на несколько футов ниже, на старом почерневшем карнизе прилепилось гнездо стрижа; край гнезда слегка выдавался за карниз, и сверху можно было заглянуть в этот маленький рай. Мать сидела в гнезде, распустив крылья веером над птенцами, отец порхал вокруг, принося в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце золотило это счастливое семейство, здесь царил в веселье и торжестве великий закон размножения, в сиянии утра расцветала нежная тайна. С солнцем в волосах, с мечтами в душе, освещенная зарей и светившаяся любовью, Козетта невольно наклонилась и, едва осмеливаясь признаться, что думает о Мариусе, залюбовалась птичьим семейством, самцом и самочкой, матерью и птенцами, охваченная тем глубоким волнением, какое вызывает в чистой девушке вид гнезда.

Глава одиннадцатая.

Ружье, которое бьет без промаха, но никого не убивает

Осаждавшие продолжали вести огонь. Ружейные выстрелы чередовались с картечью, правда, не производя особых повреждений. Пострадала только верхняя часть фасада «Коринфа»; окна второго этажа и мансарды под крышей, пробитые пулями и картечью, постепенно разрушались. Бойцам, занимавшим этот пост, пришлось его покинуть. Впрочем, в том и состоит тактика штурма баррикад: стрелять как можно дольше, чтобы истощить боевые запасы повстанцев, если те по неосторожности вздумают отвечать. Как только по более слабому ответному огню станет заметно, что патроны и порох на исходе, дают приказ идти на приступ. Анжольрас не попался в эту ловушку: баррикада не отвечала.

При каждом залпе Гаврош оттопыривал щеку языком в знак глубочайшего презрения.

– Ладно, – говорил он, – рвите тряпье, нам как раз нужна корпия.

Курфейрак громко требовал объяснений, почему картечь не попадает в цель, и кричал пушке:

– Эй, тетушка, ты что-то заболталась!

В бою стараются интриговать друг друга, как на балу. Вероятно, молчание редута начало беспокоить осаждавших и заставило их опасаться какой-нибудь неожиданности; необходимо было заглянуть через груду булыжников и разведать, что творится за этой бесстрастной стеной, которая стояла под огнем, не отвечая на него. Вдруг повстанцы увидели на крыше соседнего дома блиставшую на солнце каску. Прислонясь к высокой печной трубе, там стоял пожарный, неподвижно, словно на часах. Взгляд его был устремлен вниз, внутрь баррикады.

– Этот соглядатай нам вовсе ни к чему, – сказал Анжольрас.

Жан Вальжан вернул карабин Анжольрасу, но у него оставалось ружье.

Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и в ту же секунду сбитая пулей каска со звоном полетела на мостовую. Испуганный солдат скрылся.

На его посту появился другой наблюдатель. Это уже был офицер. Жан Вальжан, перезарядив ружье, прицелился во вновь пришедшего и отправил каску офицера вдогонку за солдатской каской. Офицер не стал упорствовать и мгновенно ретировался. На этот раз намек был принят к сведению. Больше никто не появлялся на крыше; слежка за баррикадой прекратилась.

– Почему вы не убили его? – спросил Боссюэ у Жана Вальжана.

Жан Вальжан не ответил.

Глава двенадцатая. Беспорядок на службе порядка

– Он не ответил на мой вопрос, – шепнул Боссюэ на ухо Комбеферу.

– Этот человек расточает благодеяния при помощи ружейных выстрелов, – ответил Комбефер.

Те, кто хоть немного помнит эти давно прошедшие события, знают, что национальная гвардия предместий храбро боролась с восстаниями. Особенно яростной и упорной она показала себя в июньские дни 1832 года. Какой-нибудь безобидный кабатчик из «Плясуна», «Добродетели» или «Канавки», чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался, как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир. В ту эпоху, буржуазную и вместе с тем героическую, рыцари идеи стояли лицом к лицу с паладинами наживы. Прозаичность побуждений нисколько не умаляла храбрости поступков. Убыль золотых запасов заставляла банкиров распевать «Марсельезу». Буржуа мужественно проливали кровь ради прилавка и со спартанским энтузиазмом защищали свою лавчонку – этот микрокосм родины.

В сущности это было очень серьезно. В борьбу вступали новые социальные силы в ожидании того дня, когда наступит равновесие.

Другим характерным признаком того времени было сочетание анархии с «правительственностью» (варварское наименование партии благонамеренных). Стояли за порядок, но без дисциплины. То барабан внезапно бил сбор по прихоти полковника национальной гвардии; то капитан шел в огонь по вдохновению, а национальный гвардеец дрался «за идею» на свой страх и риск. В опасные минуты, в решительные дни действовали не столько по приказам командиров, сколько по внушению инстинкта. В армии, которая защищала правопорядок, встречались настоящие смельчаки, разившие мечом, вроде Фаннико, или пером, как Анри Фонфред.

Цивилизация, к несчастью, представленная в ту эпоху скорее объединением интересов, чем союзом принципов, была, или считала себя, в опасности; она взывала о помощи, и каждый, воображая себя ее оплотом, охранял ее, защищал и выручал, как умел; первый встречный брал на себя задачу спасения общества.

Усердие становилось иногда гибельным. Какой-нибудь взвод национальных гвардейцев своей властью учреждал военный совет и в пять минут выносил и приводил в исполнение

приговор над пленным повстанцем. Жан Прувер пал жертвой именно такого суда. Это был свирепый закон Линча, который ни одна партия не имеет права ставить в упрек другой, так как он одинаково применяется и в республиканской Америке и в монархической Европе. Но суду Линча легко было впасть в ошибку. Как-то в дни восстания, на Королевской площади, национальные гвардейцы погнались было со штыками наперевес за молодым поэтом Поль-Эме Гранье, и он спасся только потому, что спрятался в подворотне дома э 6. Ему кричали: «Вот еще один сен-симонист!», его чуть не убили. На самом же деле он нес под мышкой томик мемуаров герцога Сен-Симона. Какой-то национальный гвардеец прочел на обложке слово «Сен-Симон» и завопил: «Смерть ему!»

6 июня 1832 года отряд национальных гвардейцев предместья под командой вышеупомянутого капитана Фаннико по собственной прихоти и капризу обрек себя на уничтожение на улице Шанврери. Этот факт, как он ни странен, был установлен судебным следствием, назначенным после восстания 1832 года. Капитан Фаннико, нечто вроде кондотьера порядка, нетерпеливый и дерзкий буржуа, из тех, кого мы только что охарактеризовали, фанатичный и своенравный приверженец «правительственности», не мог устоять перед искушением открыть огонь до назначенного срока – он домогался чести овладеть баррикадой в одиночку, то есть силами одного своего отряда. Взбешенный появлением на баррикаде красного флага, а вслед за ним старого сюртука, принятого им за черный флаг, он начал громко ругать генералов и корпусных командиров, которые изволят где-то там совещаться, не видя, что настал час решительной атаки, и, как выразился один из них, «предоставляют восстанию вариться в собственном соку». Сам же он находил, что баррикада вполне созрела для атаки и, как всякий зрелый плод, должна пасть; поэтому он отважился на штурм.

Его люди были такие же смельчаки, как он сам, – «бесноватые», как сказал один свидетель. Рота его, та самая, что расстреляла поэта Жана Прувера, была головным отрядом батальона, построенного на углу улицы. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, капитан повел своих солдат в атаку на баррикаду. Это нападение, в котором было больше пыла, чем военного искусства, дорого обошлось отряду Фаннико. Не успели они пробежать и половины расстояния до баррикады, как их встретили дружным залпом. Четверо смельчаков, бежавших впереди, были убиты выстрелами в упор у самого подножия редута, и отважная кучка национальных гвардейцев, людей храбрых, но без всякой военной выдержки, после некоторого колебания принуждена была отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута замешательства дала повстанцам время перезарядить ружья, и нападавших настиг новый смертоносный залп прежде, чем они успели отойти за угол улицы, служивший им прикрытием. На миг отряд оказался между двух огней и попал под картечь своего же артиллерийского орудия, которое, не получив приказа, продолжало стрельбу. Бесстрашный и безрассудный Фаннико стал одной из жертв этой картечи. Он был убит пушкой, то есть самим правопорядком.

Эта атака, скорее отчаянная, чем опасная, возмутила Анжольраса.

– Глупцы! – воскликнул он. – Они губят своих людей, и мы только попусту тратим снаряды.

Анжольрас говорил, как истый командир восстания, да он и был таковым. Отряды повстанцев и карательные отряды сражаются неравным оружием. Повстанцы, быстро истощая свои запасы, не могут тратить лишние снаряды и жертвовать лишними людьми. Им нечем заменить ни пустой патронной сумки, ни убитого человека. Каратели, напротив, располагая армией, не дорожат людьми и, располагая Венсенским арсеналом, не жалеют патронов. У карателей столько же полков, сколько бойцов на баррикаде, и столько же арсеналов, сколько на баррикаде патронташей. Вот почему эта неравная борьба одного против ста всегда кончается разгромом баррикад, если только внезапно не вспыхнет революция и не бросит на чашу весов свой пылающий меч архангела. Бывает и так. Тогда все приходит в движение,

улицы бурлят, народные баррикады растут, как грибы. Париж содрогается до самых глубин, ощущается присутствие guid divinum[3], веет духом 10 августа, веет духом 29 июля, вспыхивает дивное зарево, грубая сила пятится, как зверь с разинутой пастью, – и перед войском, разъяренным львом, спокойно, с величием пророка, встает Франция.

Глава тринадцатая.
Проблески надежды гаснут

В хаосе чувств и страстей, волновавших защитников баррикады, было всего понемногу: смелость, молодость, гордость, энтузиазм, идеалы, убежденность, горячность, азарт, – а главное, лучи надежды.

Один из таких проблесков, одна из таких вспышек смутной надежды внезапно озарила, в самый неожиданный миг, баррикаду Шанврери.

– Слушайте! – крикнул вдруг Анжольрас, не покидавший своего наблюдательного поста. – Кажется, Париж просыпается.

И действительно: утром 6 июня, в течение часа или двух, могло казаться, что мятеж разрастается. Упорный звон набата Сен-Мерри раздул кое-где тлеющий огонь. На улице Пуарье, на улице Гравилье выросли баррикады. У Сен-Мартенских ворот какой-то юноша с карабином напал в одиночку на целый эскадрон кавалерии. Открыто, прямо посреди бульвара, он встал на одно колено, вскинул ружье, выстрелом убил эскадронного командира и, обернувшись к толпе, воскликнул:

– Вот и еще одним врагом меньше!

Его зарубили саблями. На улице Сен-Дени какая-то женщина стреляла в муниципальных гвардейцев из окна. Видно было, как при каждом выстреле вздрагивают планки жалюзи. На улице Виноградных лоз задержали подростка лет четырнадцати с полными карманами патронов. На многие посты произвели нападения. На углу улицы Бертен-Пуаре полк кирасир, во главе с генералом Кавеньяком де Барань, неожиданно подвергся ожесточенному обстрелу. На улице Планш-Мибре в войска швыряли с крыш битой посудой и кухонной утварью, – это был дурной знак. Когда маршалу Сульту доложили об этом, старый наполеоновский воин призадумался, вспомнив слова Сюше при Сарагосе: «Когда старухи начнут выливать нам на головы ночные горшки, мы пропали».

Эти грозные симптомы, появившиеся в то время, когда считалось, что бунт уже подавлен, нараставший гнев толпы, искры, вспыхивавшие в глубоких залежах горючего, которые называют предместьями Парижа, – все это сильно встревожило военачальников. Они спешили потушить очаги пожара. До тех пор, пока не были подавлены отдельные вспышки, отложили штурм баррикад Мобюэ, Шанврери и Сен-Мерри, чтобы потом бросить против них все силы и покончить с ними одним ударом. На улицы, охваченные восстанием, были направлены колонны войск; они разгоняли толпу на широких проспектах и обыскивали переулки, направо, налево, то осторожно и медленно, то стремительным маршем. Отряды вышибали двери в домах, откуда стреляли; в то же время кавалерийские разъезды рассеивали сборища на бульварах. Эти меры вызвали громкий ропот и беспорядочный гул, обычный при столкновениях народа с войсками. Именно этот шум и слышал Анжольрас в промежутках между канонадой и ружейной перестрелкой. Кроме того, он видел, как на конце улицы проносили раненых на носилках, и говорил Курфейраку:

– Эти раненые не с нашей стороны.

Однако надежда длилась недолго, луч ее быстро померк. Меньше чем в полчаса все, что витало в воздухе, рассеялось; сверкнула молния, но грозы не последовало, и повстанцы вновь почувствовали, как опускается над ними свинцовый свод, которым придавило их равнодушие народа, покинувшего смельчаков на произвол судьбы.

Всеобщее восстание, как будто намечавшееся, заглохло; отныне внимание военного министра и стратегия генералов могли сосредоточиться на трех или четырех баррикадах, которые еще держались.

Солнце поднималось все выше.

Один из повстанцев обратился к Анжольрасу:

– Мы голодны. Неужто мы так и умрем, не поевши?

Анжольрас, все еще стоя у своей бойницы и не спуская глаз с конца улицы, утвердительно кивнул головой.

Глава четырнадцатая,
из которой читатель узнает имя возлюбленной Анжольраса

Сидя на камне рядом с Анжольрасом, Курфейрак продолжал издеваться над пушкой, и всякий раз, как проносилось с отвратительным шипением темное облако пуль, именуемое картечью, он встречал его взрывом насмешек.

– Ты совсем осипла, бедная старушенция, мне тебя жалко. Зря ты надсаживаешься. Разве это гром? Это просто кашель.

Все вокруг хохотали.

Курфейрак и Боссюэ, отвага и жизнерадостность которых росли вместе с опасностью, заменяли, по примеру г-жи Скаррон, пищу шутками, а вместо вина угощали всех весельем.

– Я восторгаюсь Анжольрасом, – говорил Боссюэ. – Его невозмутимая отвага восхищает меня. Он живет одиноко и потому, вероятно, всегда немного печален; его величие обрекает его на вдовство. У нас, грешных, почти у всех есть любовницы; они сводят нас с ума и превращают в храбрецов. Когда ты влюблен, как тигр, нетрудно драться, как лев. Это лучший способ отомстить нашим милым гризеткам за все их проделки. Роланд погиб, чтобы насолить Анжелике. Всеми героическими подвигами мы обязаны женщинам. Мужчина без женщины – что пистолет без курка; только женщина приводит его в действие. А вот у Анжольраса нет возлюбленной. Он ни в кого не влюблен и тем не менее бесстрашен. Быть холодным, как лед, и пылким, как огонь, – это просто неслыханно.

Анжольрас, казалось, не слушал Боссюэ, но если бы кто стоял рядом с ним, тот уловил бы, как он прошептал:

– Patria.[4]

Боссюэ продолжал шутить, как вдруг Курфейрак воскликнул:

– А вот еще одна!

И с важностью дворецкого, докладывающего о прибытии гостя, прибавил:

– Ее превосходительство Восьмидюймовка.

В самом деле, на сцене появилось новое действующее лицо – второе пушечное жерло.

Артиллеристы, поспешно сняв с передков второе орудие, установили его рядом с первым.

Это приближало развязку.

Несколько минут спустя оба орудия, быстро заряженные, открыли стрельбу по редуту прямой наводкой; взводы пехоты и гвардейцев предместья поддерживали огонь артиллерии ружейными выстрелами.

Где-то неподалеку также слышалась орудийная пальба. Пока обе пушки с остервенением били по редуту улицы Шанврери, два других огненных жерла, нацеленных с улицы Сен-Дени и с улицы Обри-ле-Буше, решетили баррикаду Сен-Мерри. Четыре орудия перекликались, словно зловещее эхо.

Лай этих злобных псов войны звучал согласно.

Одна из пушек, стрелявших по баррикаде улицы Шанврери, палила картечью, другая ядрами.

Пушка, стрелявшая ядрами, была приподнята, и ее прицел наведен с тем расчетом, чтобы ядро било по самому краю острого гребня баррикады, разрушало его и засыпало повстанцев осколками камней, точно картечью.

Такой способ стрельбы преследовал цель согнать бойцов со стены и принудить их укрыться внутри; словом, это предвещало штурм.

Как только удастся ядрами прогнать бойцов баррикады с гребня стены и картечью – от окон кабачка, колонны осаждающих немедленно хлынут на улицу, уже не боясь, что их увидят и обстреляют, с ходу пойдут на приступ, как вчера вечером, и – кто знает? – быть может, захватив повстанцев врасплох, овладеют редутом.

– Нужно во что бы то ни стало обезвредить эти пушки, – сказал Анжольрас и громко скомандовал: – Огонь по артиллеристам!

Все были наготове. Баррикада, так долго молчавшая, разразилась бешеным огнем, один за другим раздались шесть или семь залпов, звучащих яростью и торжеством; улицу заволокло густым дымом, и вскоре сквозь этот туман, пронизанный огнем, можно было разглядеть, что две трети артиллеристов полегли под колесами пушек. Те, кто выстоял, продолжали заряжать орудия с тем же суровым спокойствием, однако выстрелы стали реже.

– Здорово! – сказал Боссюэ Анжольрасу. – Это успех.

Анжольрас ответил, покачав головой:

– Еще четверть часа такого успеха, и на баррикаде не останется даже десяти патронов.

Должно быть, Гаврош слышал эти слова.

Глава пятнадцатая.
Вылазка Гавроша

Вдруг Курфейрак заметил внизу баррикады, на улице, под самыми пулями, какую-то тень.

Захватив в кабачке корзинку из-под бутылок, Гаврош вылез через отсек и как ни в чем не бывало принялся опустошать патронташи национальных гвардейцев, убитых у подножия редута.

– Что ты там делаешь? – крикнул Курфейрак.

Гаврош задрал нос кверху.

– Наполняю свою корзинку, гражданин.

– Да ты не видишь картечи, что ли?

– Эка невидаль! – отвечал Гаврош. – Дождик идет. Ну и что ж?

– Назад! – крикнул Курфейрак.

– Сию минуту, – ответил Гаврош и одним прыжком очутился посреди улицы.

Как мы помним, отряд Фаннико, отступая, оставил множество трупов.

Не менее двадцати убитых лежало на мостовой вдоль всей улицы. Это означало двадцать патронташей для Гавроша и немалый запас патронов – для баррикады.

Дым застилал улицу, как туман. Кто видел облако в ущелье меж двух отвесных гор, тот может представить себе эту густую пелену дыма, как бы уплотненную двумя темными рядами высоких домов. Она медленно вздымалась, все постепенно заволакивалось мутью, и даже дневной свет меркнул. Сражавшиеся с трудом различали друг друга с противоположных концов улицы, правда, довольно короткой.

Мгла, выгодная для осаждавших и, вероятно, предусмотренная командирами, которые руководили штурмом баррикады, оказалась на руку и Гаврошу.

Под покровом дымовой завесы и благодаря своему маленькому росту он пробрался довольно далеко, оставаясь незамеченным. Без особого риска он опустошил уже семь или восемь патронных сумок.

Он полз на животе, бегал на четвереньках, держа корзинку в зубах, вертелся, скользил, извивался, переползал от одного мертвеца к другому и опорожнял патронташи с проворством мартышки, щелкающей орехи.

С баррикады, от которой он отошел не так уж далеко, его не решались громко окликнуть, боясь привлечь к нему внимание врагов.

На одном из убитых, в мундире капрала, Гаврош нашел пороховницу.

– Пригодится вина напиться, – сказал он, пряча ее в карман.

Продвигаясь вперед, он достиг места, где пороховой дым стал реже, и тут стрелки линейного полка, залегшие в засаде за бруствером из булыжников, и стрелки национальной гвардии, выстроившиеся на углу улицы, сразу указали друг другу на существо, которое копошилось в тумане.

В ту минуту, как Гаврош освобождал от патронов труп сержанта, лежащего у тумбы, в мертвеца ударила пуля.

– Какого черта! – фыркнул Гаврош – Они убивают моих покойников.

Вторая пуля высекла искру на мостовой, рядом с ним. Третья опрокинула его корзинку.

Гаврош оглянулся и увидел, что стреляет гвардия предместья.

Тогда он встал во весь рост и, подбоченясь, с развевающимися на ветру волосами, глядя в упор на стрелявших в него национальных гвардейцев, запел:

Все обитатели Нантера

Уроды по вине Вольтера.

Все старожилы Палессо

Болваны по вине Руссо.

Затем подобрал корзинку, уложил в нее рассыпанные патроны, не потеряв ни одного, и, двигаясь навстречу пулям, пошел опустошать следующую патронную сумку. Мимо пролетела четвертая пуля. Гаврош распевал:

Не удалась моя карьера,

И это по вине Вольтера

Судьбы сломалось колесо,

И в этом виноват Руссо.

Пятой пуле удалось только вдохновить его на третий куплет:

Я не беру с ханжей примера,

И это по вине Вольтера.

А бедность мною, как в серсо,

Играет по вине Руссо.

Так продолжалось довольно долго.

Это было страшное и трогательное зрелище. Гаврош под обстрелом как бы поддразнивал врагов. Казалось, он веселился от души. Воробей задирал охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и всякий раз давали промах. Беря его на мушку, солдаты и национальные гвардейцы смеялись. Он то ложился, то вставал, прятался за дверным косяком, выскакивал опять, исчезал, появлялся снова, убегал, возвращался, дразнил картечь, показывал ей нос и в то же время не переставал искать патроны, опустошать сумки и наполнять корзинку. Повстанцы следили за ним с замиранием сердца. На баррикаде трепетали за него, а он – он распевал песенки. Казалось, это не ребенок, не человек, а гном.

Сказочный карлик, неуязвимый в бою. Пули гонялись за ним, но он был проворнее их. Он как бы затеял страшную игру в прятки со смертью; всякий раз, как курносый призрак приближался к нему, мальчишка встречал его щелчком по носу.

Но одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие, в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош вдруг пошатнулся и упал наземь. На баррикаде все вскрикнули в один голос; но в этом пигмее таился Антей; коснуться мостовой для гамена значит то же, что для великана коснуться земли; не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле, струйка крови стекала по его лицу; протянув обе руки кверху, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и запел:

Я пташка малого размера,

И это по вине Вольтера.

Но могут на меня лассо

Накинуть по вине…

Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала ее навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Маленький мальчик с великой душой умер.

Глава шестнадцатая.
Как брат может стать отцом

В это самое время по Люксембургскому саду – ведь мы ничего не должны упускать из виду в этой драме – шли двое детей, держась за руки. Одному можно было дать лет семь, другому лет пять. Промокнув под дождем, они брели по солнечной стороне аллеи, старший вел младшего; бледные, одетые в лохмотья, они напоминали серых птичек.

– Мне ужасно хочется есть, – говорил младший.

Старший с покровительственным видом вел брата левой рукой, а в правой держал прутик.

Они были совсем одни в саду. Здесь было пусто, так как полиция по случаю восстания распорядилась запереть садовые ворота. Отряды войск, стоявшие здесь бивуаком, ушли сражаться.

Как попали сюда эти ребята? Быть может, они убежали из незапертой караульной будки, быть может, удрали из какого-нибудь уличного балагана, который находился поблизости – у Адской заставы, или на площади перед Обсерваторией, или на соседнем перекрестке, где возвышается фронтон с надписью – Invenerunt parvulum pannis involutum[5], а может быть, накануне вечером, при закрытии парка, они обманули бдительность сторожей и спрятались на ночь в одном из павильонов для чтения газет. Как бы то ни было, они бродили, где вздумается, и, казалось, пользовались полной свободой. Если ребенок бродит, где вздумается, и пользуется полной свободой, – значит, он заблудился. Бедные малыши и в самом деле заблудились.

Это были те самые дети, о которых, как припомнит читатель, так заботился Гаврош: сыновья Тенардье, подброшенные Жильнорману и проживавшие у Маньон, которые теперь, словно опавшие листья, оторвались от всех этих сломанных веток и катились по земле, гонимые ветром.

Их одежда, такая опрятная при заботливой Маньон, старавшейся угодить Жильнорману, обратилась в рубище.

Отныне эти существа переходили в рубрику «покинутых детей», которых статистика учитывает, а полиция подбирает, теряет и вновь находит на парижской мостовой.

Лишь в такой тревожный день бедняжки и могли забраться в сад – если бы сторожа их заметили, они прогнали бы этих оборвышей. Маленьких нищих не пускают в общественные парки; между тем следовало бы подумать, что они, как и прочие дети, имеют право любоваться цветами.

Эти двое проникли сюда через запертые решетки. Они нарушили правила. Они прокрались в сад и остались там. Запертые ворота не дают сторожам права отлучиться, надзор якобы продолжается, но ослаблен; сторожа, захваченные общим волнением и больше заинтересованные тем, что происходило на улице, чем в саду, уже не наблюдали за ним и проглядели двух маленьких преступников.

Накануне шел дождь, да и утром слегка накрапывало. Но июньские ливни не идут в счет. Спустя час после грозы едва можно заметить, что этот ясный чудесный день был залит слезами. Летом земля высыхает от слез так же быстро, как щечка ребенка.

Во время летнего солнцестояния яркий полуденный свет словно пронзает вас насквозь. Он завладевает всем. Он приникает и льнет к земле, как будто сосет ее. Можно подумать, что солнце мучит жажда. Оно осушает ливень, как стакан воды, и выпивает дождь одним глотком. Еще утром везде струились ручьи, после полудня все покрыто пылью.

Нет ничего пленительнее зелени, омытой дождем и осушенной лучами солнца; это свежесть, пронизанная теплом. Сады и луга, где корни утопают в воде, а цветы – в солнечных лучах, курятся, словно сосуды с благовониями, и источают все ароматы земли. Все смеется, поет и тянется вам навстречу. Вы испытываете сладостное опьянение. Весна – преддверие рая; солнце помогает человеку терпеть и ждать.

Некоторые люди и не требуют большего; есть смертные, которые говорят, любуясь небесной лазурью: «Вот все, что нам нужно!» Есть мечтатели, погруженные в мир чудес, в обожание природы, безразличные к добру и злу, созерцатели вселенной, равнодушные к человеку, которые не понимают, зачем беспокоиться о каких-то там голодных, о жаждущих, о наготе бедняка в зимнюю стужу, об искривленном болезнью детском позвоночнике, об одре больного, о чердаке, о тюремной камере, о лохмотьях девушки, дрожащей от холода, – зачем расстраивать себя, когда можно мечтать, лежа под деревьями? Эти уравновешенные бесстрастные души не знают жалости и всем довольны. Как ни странно, им достаточно бесконечности. Великое стремление человека к конечному, которым можно овладеть, неведомо им. Конечное, предполагающее прогресс, благородный труд, не занимает их мыслей. Все, что возникает из сочетания человеческого и божественного, бесконечного и конечного, ускользает от них. Лишь бы им стоять лицом к лицу с беспредельностью – и они блаженствуют. Они не знают радости, им ведом лишь восторг. Созерцание – вот их жизнь. История человечества для них всего лишь одна из страниц книги мироздания. Она не вмещает Целого; великое Целое остается вовне, – стоит ли заниматься такой мелочью, как человек? Человек страдает, что ж из этого? А вы поглядите, как восходит Альдебаран! У матери нет больше молока, новорожденный умирает, какое мне дело? Полюбуйтесь лучше, какую изумительную розетку образует под микроскопом кружок сосновой заболони! Разве может сравниться с этим самое тонкое кружево? Такие мыслители забывают о любви. Зодиак настолько поглощает их внимание, что мешает им видеть плачущего ребенка. Божество помрачает в них душу. Это племя отвлеченных умов, и великих и ничтожных. Таким был Гораций, таким был Гете, может быть, даже Лафонтен; это великолепные эгоисты, равнодушные зрители людских страданий. Они не замечают Нерона, если погода хороша; солнце затмевает для них костер, даже в зрелище смертной казни они ищут световых эффектов; они не слышат ни криков, ни рыданий, ни предсмертного хрипа, ни набата, они все находят прекрасным, если на дворе май, всем довольны, если над их головой плывут пурпурные и золотистые облака, они твердо решили быть счастливыми, пока не погаснет сияние звезд и не умолкнут птицы.

Это злополучные счастливцы. Они не подозревают, что достойны сострадания, а между тем это так. Кто не плачет, тот ничего не видит. Они вызывают удивление и жалость, как вызвало бы жалость и удивление некое существо, сочетающее в себе ночь и день, безглазое, но со звездою посреди лба.

По мнению некоторых мыслителей, в бесстрастии и заключается высшая философия. Пусть так, но в их превосходстве таится тяжкий недуг. Можно быть бессмертным и вместе с

тем хромым; тому примеру Вулкан. Можно подняться выше человека и опуститься ниже его. Природе свойственно безграничное несовершенство. Кто знает, не слепо ли само солнце?

Но как же быть тогда, кому верить? Solem quis dicere falsum audeat?[6]. Неужели гении, богочеловеки, люди – светила, могут заблуждаться? Значит, и то, что вверху, надо всем, на предельной высоте, в зените, то, что посылает земле столько света, может видеть плохо, видеть мало, не видеть вовсе? Разве это не должно привести в отчаяние? Нет, не должно. Но что же выше солнца? Божество.

6 июня 1832 года, в одиннадцать часов утра, опустевший и уединенный Люксембургский сад был восхитителен. Залитые ярким светом, рассаженные в шахматном порядке деревья обменивались с цветами упоительным благоуханием и ослепительными красками. Опьянев от полуденного солнца, тянулись друг к другу ветки, словно искали объятий. В кленовой листве слышалось щебетанье пеночек, ликовали воробьи, дятлы лазали по стволам каштанов, постукивая клювами по трещинам коры. На длинных цветочных грядках царили горделивые лилии; нет аромата божественнее, чем аромат белизны. Разносился пряный запах гвоздики. Старые вороны времен Марии Медичи любезничали на верхушках густых деревьев. Солнце золотило и зажигало пурпуром тюльпаны – языки пламени, обращенные в цветы. Вокруг куртин с тюльпанами, словно искры от огненных цветов, кружились пчелы. Все было полно отрады и веселья, даже нависшие тучки; в этой угрозе нового дождя, столь желанного для ландышей и жимолости, не было ничего страшного; низко летающие ласточки были милыми его предвестницами. Всякому, кто находился в саду, дышалось привольно; жизнь благоухала; вся природа источала кротость, участие, готовность помочь, отеческую заботу, ласку, свежесть зари. Мысли, внушенные небом, были нежны, как детская ручка, когда ее целуешь.

Белые нагие статуи под деревьями были одеты тенью, пронизанной светом; солнце словно истерзало в клочья одеяния этих богинь; с их торсов свисали лохмотья лучей. Земля вокруг большого бассейна уже высохла настолько, что казалась выжженной. Слабый ветерок вздымал кое-где легкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, уцелевших с прошлой осени, весело гонялись друг за другом, как бы играя.

В изобилии света таилось что-то успокоительное. Все было полно жизни, благоухания, тепла, испарений; под покровом природы вы угадывали бездонный животворный родник; в дуновениях, напоенных любовью, в игре отблесков и отсветов, в неслыханной щедрости лучей, в нескончаемом потоке струящегося золота вы чувствовали расточительность неистощимого и прозревали за этим великолепием, словно за огненной завесой, небесного миллионера, бога.

Песок впитал всю грязь до последнего пятнышка, дождь не оставил ни одной пылинки. Цветы только что умылись; все оттенки бархата, шелка, лазури, золота, выходящие из земли под видом цветов, были безупречны. Эта роскошь сияла чистотой. В саду царила великая тишина умиротворенной природы. Небесная тишина, созвучная тысячам мелодий, воркованию птиц, жужжанию пчелиных роев, дуновениям ветерка. Все гармонии весенней поры сливались в пленительном хоре; голоса весны и лета стройно вступали и умолкали; когда отцветала сирень, распускался жасмин; иные цветы запоздали, иные насекомые появились слишком рано; авангарды красных июньских бабочек братались с арьергардами белых бабочек мая. Платаны обновляли кору. От легкого ветра шелестели роскошные кроны каштанов. Это было великолепное зрелище. Ветеран из соседней казармы, любовавшийся садом через решетку, говорил: «Вот и весна встала под ружье, да еще в полной парадной форме».

Вся природа пировала, все живое было приглашено к столу; в установленный час на небе была разостлана огромная голубая скатерть, а на земле громадная зеленая скатерть; солнце светило а giorno[7]. Бог угощал всю вселенную. Всякое создание получало свой корм, свою пищу. Дикие голуби – конопляное семя, зяблики – просо, щеглы – курослеп, малиновки – червей, пчелы – цветы, мухи – инфузорий, дубоносы – мух. Правда, они пожирали друг друга, в чем и заключается великая тайна добра и зла, но ни одна тварь не оставалась голодной.

Двое покинутых малышей очутились возле большого бассейна н, немного оробев от всего этого блеска, поспешили спрятаться, повинуясь инстинкту слабого и бедного перед всяким великолепием, даже неодушевленным; они укрылись за дощатым домиком для лебедей.

Время от времени, когда поднимался ветер, откуда-то смутно доносились крики, гул голосов, треск ружейной пальбы, тяжкое уханье пушечных выстрелов. Над крышами со стороны рынка тянулся дым. Вдалеке, как будто призывая на помощь, звонил колокол.

Дети, казалось, не замечали этого шума. Младший то и дело тихонько повторял: «Есть хочется».

Почти в ту же минуту, что и дети, к бассейну приблизилась другая пара. Какой-то толстяк лет пятидесяти вел за руку толстячка лет шести. Вероятно, отец с сыном. Шестилетний карапуз держал в руке большую сдобную булку.

В те годы многие домовладельцы со смежных улиц – Принцессы и Адской – имели ключи от Люксембургского сада, и в часы, когда ворота были заперты, пользовались этой льготой, впоследствии отмененной. Отец с сыном, по всей вероятности, жили в одном из таких домов.

Двое маленьких оборвышей заметили приближение «важного господина» и постарались получше спрятаться.

Это был какой-то буржуа. Быть может, тот самый, который здесь, у большого бассейна, как слышал однажды Мариус в своем любовном бреду, советовал сыну «избегать крайностей». У него был благовоспитанный чваный вид и большой рот, вечно раздвинутый в улыбку, потому что не мог закрыться. Такая застывшая улыбка, вызванная слишком развитой челюстью, на которую словно не хватило кожи, обнажает только зубы, а не душу. Ребенок, зажавший в руке надкусанную плюшку, был пухлый, откормленный. Он был наряжен национальным гвардейцем – по случаю мятежа, а папаша оставался в гражданском платье – из осторожности.

Оба остановились у бассейна, где плескались двое лебедей. Буржуа, казалось, питал к лебедям особое пристрастие. Он был похож на них – он тоже ходил вперевалку.

Лебеди плавали, – в этом и проявляется их высокое искусство; они были восхитительны.

Если бы двое маленьких нищих прислушались и если бы доросли до понимания подобных истин, они могли бы запомнить поучения рассудительного буржуа. Отец говорил сыну:

– Мудрец довольствуется малым. Бери пример с меня, сынок. Я не люблю роскоши. Я никогда не украшал своего платья ни золотом, ни дорогими побрякушками: я предоставляю этот фальшивый блеск людям низкого умственного уровня.

Неясные крики, доносившиеся со стороны рынка, вдруг усилились; им вторили удары колокола и гул толпы.

– Что это такое? – спросил мальчик.

– Это сатурналии, – отвечал отец.

Тут он заметил двух маленьких оборванцев, укрывшихся за зеленым домиком для лебедей.

– Ну вот, начинается! – проворчал он и, помолчав, добавил:

– Анархия проникла даже в сад.

Сын между тем откусил кусочек плюшки, выплюнул и заревел.

– О чем ты плачешь? – спросил отец.

– Мне больше не хочется есть, – ответил ребенок.

Отец еще шире оскалил зубы:

– Вовсе не надо быть голодным, чтобы скушать булочку.

– Мне надоела булка. Она черствая.

– Ты больше не хочешь?

– Не хочу.

Отец показал ему на лебедей.

– Брось ее этим перепончатолапым.

Ребенок заколебался. Если не хочется булочки, это еще не резон отдавать ее другим.

– Будь же гуманным. Надо жалеть животных.

Взяв у сына плюшку, он бросил ее в бассейн.

Плюшка упала довольно близко от берега.

Лебеди плавали далеко, на середине бассейна, и искали в воде добычу. Поглощенные этим, они не замечали ни буржуа, ни сдобной булки.

Видя, что плюшка вот-вот потонет, и беспокоясь, что даром пропадает добро, буржуа принялся отчаянно жестикулировать, чем привлек в конце концов внимание лебедей.

Они заметили, что на поверхности воды что-то плавает, повернулись другим бортом, точно корабли, и медленно направились к плюшке с безмятежным и величавым видом, который так подходит к белоснежному оперению этих птиц.

– Увидали морские сигналы и поплыли на всех парусах, – сказал буржуа, очень довольный собой.

В эту минуту отдаленный городской шум внезапно усилился. На этот раз он стал угрожающим. Случается, что порыв ветра доносит звуки особенно явственно. Ветер донес дробь барабана, вопли, ружейные залпы, которым угрюмо вторили набатный колокол и пушки. Тут же появилась темная туча, неожиданно закрывшая солнце.

Лебеди еще не успели доплыть до плюшки.

– Пойдем домой, – сказал отец, – там атакуют Тюильри.

Он схватил сына за руку.

– От Тюильри до Люксембурга, – продолжал он, – расстояние не больше, чем от короля до пэра; это недалеко. Скоро выстрелы посыплются градом.

Он взглянул на небо.

– А может, и туча разразится градом; само небо вмешалось в борьбу, младшая ветвь Бурбонов обречена на гибель. Идем скорей.

– Мне хочется посмотреть, как лебеди будут есть булочку, – захныкал ребенок.

– Нет, – возразил отец – это было бы неблагоразумно.

И он увел маленького буржуа.

Неохотно покидая лебедей, сын оглядывался на бассейн до тех пор, пока не скрылся за поворотом аллеи, обсаженной деревьями.

Между тем двое маленьких бродяг одновременно с лебедями приблизились к плюшке, которая колыхалась на воде. Младший смотрел на булочку, старший следил за удаляющимся буржуа.

Отец с сыном вступили в лабиринт аллей, ведущих к большой лестнице в роще, возле улицы Принцессы.

Как только они скрылись из виду, старший быстро лег животом на закругленный край бассейна, уцепившись за него левой рукой, свесился над водой и, рискуя упасть, потянулся правой рукой с прутиком за булкой. Увидев неприятеля, лебеди поплыли быстрее, разрезая грудью воду, что оказалось на руку маленькому ловцу; вода под лебедями всколыхнулась, и одна из мягких концентрических волн подтолкнула плюшку прямо к прутику. Не успели птицы подплыть, как прут дотянулся до булки. Мальчик хлестнул прутиком, распугал лебедей, зацепил плюшку, схватил ее и встал. Плюшка размокла, но дети были голодны и хотели пить.

Старший разделил булку на две части. побольше и поменьше, сам взял меньшую, протянул большую братишке и сказал:

– На, залепи себе в дуло.

Глава семнадцатая.

Mortuus pater filium moriturum expectat[8]

Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу Комбефер бросился за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбефер принес на баррикаду корзинку с патронами. Мариус принес ребенка.

«Увы! – думал он. – Я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца: я возвращаю ему долг. Но Тенардье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принес его мальчика мертвым».

Когда Мариус взошел в редут с Гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребенка.

Пуля оцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша, но он даже не заметил этого.

Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб.

Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа черной шалью. Ее хватило и на старика и на ребенка.

Комбефер разделил между всеми патроны из принесенной им корзинки.

На каждого пришлось по пятнадцати зарядов.

Жан Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему пятнадцать патронов, он покачал головой.

– Вот чудак! – шепнул Комбефер Анжольрасу. – Быть на баррикаде и не сражаться!

– Это не мешает ему защищать баррикаду, – возразил Анжольрас.

– Среди героев тоже попадаются оригиналы, – заметил Комбефер.

– Этот совсем в другом роде, чем старик Мабеф, – прибавил Курфейрак, услышав их разговор.

Надо заметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди ее защитников. Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, тот не может себе представить, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперед, беседуют, шутят. Один мой знакомый слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов: «Мы здесь точно на холостой пирушке». Повторяем: редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытания были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их положения стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадежным. По мере того как горизонт омрачался, ореол героизма все ярче озарял баррикаду. Суровый Анжольрас возвышался над ней, стоя в позе юного спартанца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота.

Комбефер, надев фартук, перевязывал раненых; Боссюэ и Фейи набивали патроны из пороховницы, снятой Гаврошем с убитого капрала, и Боссюэ говорил Фейи: «Скоро нам придется нанять дилижанс для переезда на другую планету». Курфейрак, с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок свои безделушки, раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжольраса, весь свой арсенал – трость со шпагой, ружье, два седельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнурка большую соломенную шляпу тетушки Гюшлу. «Чтобы не хватил солнечный удар», – пояснял он. Юноши из Кугурд-Экса весело болтали, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своем родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркало вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько

повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые корки. А Мариус был озадачен тем, что скажет ему отец, встретясь с ним в ином мире.

Глава восемнадцатая.
Хищник становится жертвой

Остановимся на одном психологическом явлении, возникающем на баррикадах. Не следует упускать ничего, что характерно для этой необычайной уличной войны.

Несмотря на удивительное спокойствие повстанцев, которое мы только что отметили, баррикада кажется призрачным видением тем, кто находится внутри.

В гражданской войне есть нечто апокалиптическое; густой туман неведомого заволакивает яростные вспышки пламени; народные восстания загадочны, как сфинкс; тому, кто сражался на баррикаде, она вспоминается, точно сон.

Мы показали на примере Мариуса, что переживают люди в такие часы, и мы увидим последствия подобного состояния, – это ярче и вместе с тем бледнее, чем действительность. Уйдя с баррикады, человек не помнит того, что он там видел. Он был страшен, сам того не сознавая. Вокруг него сражались идеи в человеческом облике, его голову озаряло сияние будущего. Там недвижно лежали трупы и стояли во весь рост призраки. Часы тянулись нескончаемо долго и казались часами вечности. Он как будто пережил смерть. Мимо него скользили тени. Что это было? Там он видел руки, обагренные кровью, там стоял оглушительный грохот и вместе с тем жуткая тишина; там были раскрытые рты, что-то кричавшие, и раскрытые рты, умолкшие навсегда; его окружало облако дыма или, быть может, ночная тьма. Ему мерещилось, что он коснулся зловещей влаги, просочившейся из неведомых глубин; он разглядывал какие-то красные пятна на пальцах. Больше он ничего не помнил.

Вернемся на улицу Шанврери.

В промежутке между двумя залпами послышался отдаленный бой часов.

– Полдень! – сказал Комбефер.

Часы не успели пробить двенадцать ударов, как Анжольрас выпрямился во весь рост наверху баррикады и крикнул громовым голосом:

– Тащите булыжники в дом! Завалите подоконники внизу и на чердаке! Половине людей – готовиться к бою, остальным – носить камни! Нельзя терять ни минуты.

В конце улицы показался взвод саперов-пожарников, в боевом порядке, с топорами на плечах.

Это мог быть только головной отряд колонны. Какой колонны? Наверное, штурмовой, так как за саперами, посланными разрушить баррикаду, обычно следуют солдаты, которые должны взять ее приступом.

Очевидно, приближалось мгновение, когда им «затянут петлю на шее», как выразился в 1822 году Клермон-Тоннер.

Приказ Анжольраса был выполнен с точностью и быстротой, свойственной бойцам на кораблях и баррикадах – двух позициях, откуда отступление невозможно. Меньше чем в минуту две трети камней, сложенных грудой по распоряжению Анжольраса перед входом в «Коринф», были перенесены во второй этаж и на чердак, и не истекла еще вторая минута, как этими камнями, искусно прилаженными один к другому, были заделаны до половины высоты окна второго этажа и слуховые оконца. По указанию главного строителя Фейи между камнями были оставлены промежутки для ружейных стволов. Укрепить окна удалось тем легче, что картечь стихла. Оба орудия стреляли теперь ядрами по самому центру баррикады, чтобы сделать в ней пробоину или, если удастся, пролом для атаки.

Когда было готово заграждение из булыжников для обороны последнего оплота, Анжольрас велел перенести во второй этаж бутылки из-под стола, на котором лежал Мабеф.

– Кто же их выпьет? – спросил Боссюэ.

– Враги, – ответил Анжольрас.

Повстанцы забаррикадировали нижнее окно, держа наготове железные брусья, которыми закладывали на ночь дверь кабачка изнутри.

Теперь это была настоящая крепость. Баррикада служила ей валом, кабачок-бастионом.

Оставшимися булыжниками завалили единственную брешь в баррикаде.

Защитники баррикады всегда принуждены беречь боевые припасы, и противнику это известно, поэтому осаждающие проводят все приготовления с раздражающей медлительностью, выступают раньше времени за линию огня осажденных, впрочем, больше для виду, чем на самом деле, и устраиваются поудобнее. Подготовка к атаке производится всегда неторопливо и методично, после чего вдруг разражается гроза.

Эта медлительность позволила Анжольрасу все проверить и, где возможно, улучшить. Он решил, что, уж если таким людям суждено умереть, их смерть должна стать непревзойденным примером мужества.

Он сказал Мариусу:

– Мы оба здесь командиры. Я пойду в дом отдать последние распоряжения. А ты оставайся снаружи и наблюдай.

Мариус занял наблюдательный пост на гребне баррикады.

Анжольрас велел заколотить дверь кухни, как мы помним, обращенной в лазарет.

– Чтобы в раненых не попали осколки, – пояснил он.

Он отдавал распоряжения в нижней зале отрывисто, но совершенно спокойно; Фейи выслушивал и отвечал ему от имени всех.

– Держите наготове топоры во втором этаже, чтобы обрубить лестницу. Топоры есть?

– Есть, – отвечал Фейи.

– Сколько штук?

– Два топора и колун.

– Хорошо. У нас в строю двадцать шесть бойцов. Сколько ружей?

– Тридцать четыре.

– Значит, восемь лишних. Держите их под рукой и зарядите, как и прочие. Пристегните сабли и заложите за пояс пистолеты. Двадцать человек на баррикаду. Шестеро – на чердак и к окнам второго этажа; стрелять в нападающих сквозь бойницы между камней. Никому без дела не сидеть. Как только барабаны начнут бить атаку, вы, все двадцать, бегите на баррикаду. Те, что прибегут первыми, займут лучшие места.

Расставив всех на посты, он повернулся к Жаверу и сказал:

– Я о тебе не забыл.

И, положив на стол пистолет, добавил:

– Кто выйдет отсюда последним, размозжит голову шпиону.

– Здесь? – спросил чей-то голос.

– Нет, его труп недостоин лежать рядом с нашими. Можно перебраться на улицу Мондетур через малую баррикаду. В ней только четыре фута высоты. Шпион крепко связан. Отведите его туда и пристрелите.

Один человек в эту минуту казался еще более бесстрастным, чем Анжольрас: то был Жавер.

В эту минуту появился Жан Вальжан.

Он стоял в группе повстанцев. Тут он выступил вперед и обратился к Анжольрасу:

– Вы командир?

– Да.

– Вы благодарили меня недавно.

– Да, от имени Республики. Баррикаду спасли два человека: Мариус Понмерси и вы.

– Считаете ли вы, что я заслужил награду?

– Разумеется.

– Так вот, я прошу награды.

– Какой?

– Я хочу сам пустить пулю в лоб этому человеку.

Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана и произнес, едва заметно пожав плечами:

– Это справедливо.

Анжольрас, перезарядив свой карабин, обвел всех взглядом:

– Возражений нет?

И повернулся к Жану Вальжану:

– Забирайте шпиона.

Жан Вальжан присел на край стола, где лежал Жавер, тем самым как бы заявив на него свои права. Он схватил пистолет и, судя по слабому треску, зарядил его.

Почти в ту же секунду раздался рожок горниста.

– К оружию! – крикнул Мариус с вершины баррикады.

Жавер засмеялся свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на повстанцев, сказал:

– А ведь вам придется не лучше моего.

– Все на баррикаду! – скомандовал Анжольрас.

Повстанцы в беспорядке бросились к выходу и, выбегая, получили прямо в спину злобное напутствие Жавера:

– До скорого свиданья!

Глава девятнадцатая.
Жан Вальжан мстит

Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан развязал стягивавшую пленника поперек туловища веревку, узел который находился под столом. После этого он знаком велел ему встать.

Жавер повиновался с той особенной презрительной усмешкой, в которой выражается все превосходство власти, даже если она в оковах.

Жан Вальжан взял Жавера за мартингал, точно вьючное животное за повод, и, медленно ведя его за собой, так как Жавер, спутанный порогам, мог делать только маленькие шаги, вывел из кабачка.

Жан Вальжан шел, зажав в руке пистолет.

Так они прошли площадку внутри баррикады, имевшую форму трапеции. Повстанцы, поглощенные ожиданием неминуемой атаки, стояли к ним спиной.

Один лишь Мариус, стоявший в стороне, в левом углу укрепления, заметил, как они проходили. Эти две фигуры – палача и осужденного – он увидел в озарении того же мертвенного света, который заливал его душу.

Жан Вальжан, хотя это было и нелегко, заставил связанного Жавера, ни на минуту не выпуская его из рук, перелезть через низенький вал в Мондетур.

Перебравшись через заграждение, они очутились одни на пустынной улице. Никто не мог их видеть. От повстанцев их скрывал угловой дом. В нескольких шагах лежала страшная груда трупов, вынесенных с баррикады.

Среди мертвых тел выделялось синеватое лицо, обрамленное распущенными волосами, простреленная рука и полуобнаженная женская грудь. Это была Эпонина.

Жавер, искоса взглянув на мертвую женщину, заметил вполголоса, с полнейшим спокойствием:

– Мне кажется, я знаю эту девку.

Затем он повернулся к Жану Вальжану.

Жан Вальжан переложил пистолет под мышку и устремил на Жавера пристальный взгляд, говоривший без слов: «Это я, Жавер».

– Твоя взяла, – ответил Жавер.

Жан Вальжан вытащил из жилетного кармана складной нож и раскрыл его.

– Ага, перо! – воскликнул Жавер. – Правильно. Тебе это больше подходит.

Жан Вальжан разрезал мартингал на шее Жавера, разрезал веревки на кистях рук, затем, нагнувшись, перерезал ему путы на ногах и, выпрямившись, сказал:

– Вы свободны.

Жавера трудно было удивить. Однако, при всем его самообладании, он был потрясен. Он застыл на месте от удивления.

Жан Вальжан продолжал:

– Я не думаю, что выйду отсюда живым, но, если случайно мне удалось бы спастись, запомните: я живу под именем Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь.

Жавер оскалился, как тигр, и, скривив рот, процедил сквозь зубы:

– Берегись.

– Уходите, – сказал Жан Вальжан.

Жавер переспросил:

– Ты сказал: Фошлеван, улица Вооруженного человека?

– Номер семь.

– Номер семь, – вполголоса повторил Жавер.

Он снова застегнул сюртук, распрямил плечи по-военному, сделал пол-оборота, скрестил руки и, подперев одной из них подбородок, зашагал в сторону рынка. Жан Вальжан провожал его взглядом. Пройдя несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану Вальжану:

– Надоели вы мне до смерти! Лучше убейте меня!

Сам того не замечая, Жавер перестал говорить Жану Вальжану «ты».

– Уходите! – крикнул тот.

Жавер удалялся медленным шагом. Минуту спустя он завернул за угол улицы Проповедников.

Как только Жавер скрылся из виду, Жан Вальжан выстрелил в воздух.

Затем он возвратился на баррикаду и сказал:

– Дело сделано.

А в его отсутствие произошло следующее.

Мариус, занятый больше тем, что делалось на улице, чем в доме, не удосужился до тех пор поглядеть на шпиона, лежавшего связанным в темном углу нижней залы.

Увидев его при дневном свете, когда он перелезал через баррикаду, идя на расстрел, Мариус узнал его. Внезапно в его мозгу мелькнуло воспоминание. Он припомнил, как

встретился с полицейским надзирателем на улице Понтуаз и как тот дал ему два пистолета, те самые, что пригодились ему здесь, на баррикаде: он припомнил не только лицо, но и имя.

Однако это воспоминание было туманное и смутное, как и все его мысли. То была не уверенность, а скорее вопрос, который он задавал себе: «Не тот ли это полицейский надзиратель, который называл себя Жавером?»

Быть может, он еще успеет вступиться за этого человека? Но надо сначала удостовериться, действительно ли это тот самый Жавер.

Мариус окликнул Анжольраса, занявшего пост на противоположном конце баррикады:

– Анжольрас!

– Что?

– Как зовут того человека?

– Какого?

– Полицейского агента Ты знаешь его имя?

– Конечно. Он нам сказал.

– Как же его зовут?

– Жавер.

Мариус вздрогнул.

В этот миг послышался выстрел.

Появился Жан Вальжан и крикнул:

– Дело сделано.

Смертный холод сковал сердце Мариуса.

Глава двадцатая.
Мертвые правы, и живые не виноваты

На баррикаде наступала агония.

Все объединилось, чтобы оттенить трагическое величие этих последних минут. Множество таинственных звуков, носившихся в воздухе, дыхание невидимых вооруженных толп, двигавшихся по городу, прерывистый галоп конницы, тяжелый грохот артиллерии, перекрестная ружейная и орудийная пальба в лабиринте парижских улиц, пороховой дым, поднимавшийся над крышами золотыми клубами, неясные и гневные крики, доносившиеся откуда-то издалека, грозные зарницы со всех сторон, звон набата Сен-Мерри, заунывный, как рыдание, мягкая летняя пора, великолепие неба, пронизанного солнечным сиянием и полного облаков, чудная погода и устрашающее безмолвие домов.

Со вчерашнего дня два ряда домов по улице Шанврери обратились в две стены – в две неприступные стены: двери были заперты, окна захлопнуты, ставни затворены.

В те времена, столь отличные от наших, в час, когда народ решал покончить с отжившим старым порядком, с дарованной хартией или с устаревшими законами, когда воздух был насыщен гневом, когда город сам разрушал свои мостовые, когда восстанию сочувствовала буржуазия, – тогда горожане, охваченные мятежным духом, становились как бы союзниками повстанцев, дом братался с выросшей словно из-под земли крепостью и служил ей опорой. Но если время еще не назревало, если восстание не получало одобрения народа, если он отрекался от него, то бунтовщики обречены были на гибель. Город вокруг них обращался в пустыню, все души ожесточались, все убежища запирались, и улицы открывали путь войскам, помогая овладеть баррикадой.

Нельзя насильно заставить народ шагать быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто пытается понукать его! Народ не терпит принуждения. Тогда он бросает восставших на произвол судьбы. Мятежники попадают в положение зачумленных. Дом становился неприступной кручей, дверь – преградой, фасад – глухой стеной. Стена эта все видит, все слышит, но не хочет прийти на

помощь. Она могла бы приотвориться и спасти вас. Но нет! Эта стена – судьба. Она глядит на вас и выносит вам приговор. Какой угрюмый вид у запертых домов! Они кажутся нежилыми, хотя на самом деле продолжают жить. Жизнь как будто замерла, но течет там своим чередом. Никто не выходил оттуда целые сутки, хотя все налицо. Внутри такой скалы ходят, разговаривают, ложатся спать, встают, сидят в кругу семьи, едят и пьют, дрожат от страха – это ужасно! Только страх может извинить неумолимую жестокость; смятение, растерянность – смягчающие обстоятельства. Порою – даже и такие случаи бывают – страх становится одержимостью; испуг может обратиться в ярость, осторожность – в бешенство; вот откуда взялось полное глубокого смысла выражение: «Бешеные из умеренных». Случается, что вспышки панического ужаса порождают злобу, подобную темному облаку дыма. «Чего еще надо этим смутьянам? Вечно они бунтуют. Только сбивают с пути мирных горожан. Довольно с нас этих революций! Зачем их принесло сюда? Пусть проваливают! Поделом им. Сами виноваты. Пускай получат по заслугам. Нам-то какое дело! Всю нашу бедную улицу изрешетили пулями. Это шайка негодяев. Главное, не отворяйте дверей!» И дом преображается в гробницу. Повстанец мучается в агонии перед запертой дверью; вот его настигает картечь, вот над ним заносят обнаженные сабли. Он знает, что, сколько ни кричи, – помощь не придет, хотя его и слышат. Там есть стены, которые могли бы укрыть его, там есть люди, которые могли бы спасти его, – и у этих стен есть уши, но у людей сердца из камня.

Кто тут виноват?

Никто, и каждый из нас.

Виновно то злосчастное время, в какое мы живем.

Утопия всегда действует на свой страх и риск, выливаясь в восстание, обращаясь из борьбы идей в борьбу вооруженную, из Минервы – в Палладу. Если утопия, потеряв терпение, становится мятежом, она знает, что ее ждет; почти всегда она приходит преждевременно. Тогда она смиряется и взамен триумфа стоически приемлет катастрофу. Она служит тем, кто отвергает ее, не жалуясь и даже оправдывая их; благородство ее в том, что она согласна быть всеми покинутой. Она непреклонна перед лицом опасности и снисходительна к неблагодарным.

Впрочем, неблагодарность ли это?

С точки зрения человечества – да.

С точки зрения отдельной личности – нет.

Прогресс – это форма человеческого существования. Прогрессом зовется жизнь человечества в целом; прогрессом зовется поступательное движение человечества. Прогресс шагает вперед; это великое земное странствие человека к небесному и божественному. У него бывают остановки в пути, где он собирает отставших; бывают привалы, где он размышляет, созерцая некую чудесную землю Ханаанскую, вдруг открывшую перед ним свои просторы; бывают ночи, когда он спит; и нет для мыслителя более мучительной тревоги, чем видеть душу человечества, окутанную мраком, чем ощупью искать во тьме уснувший прогресс и не иметь силы разбудить его.

«Уж не умер ли бог?» – сказал однажды пишущему эти строки Жерар де Нерваль, путая прогресс с богом и принимая перерыв в движении за смерть высшего существа.

Те, что отчаиваются, неправы. Прогресс неизменно пробуждается; в сущности, он и во сне продолжал свой путь, так как вырос за это время. Увидев его снова, вы убедитесь, что он стал выше ростом. Пребывать в покое так же невозможно для прогресса, как для потока; не ставьте ему преград, не бросайте каменных глыб в его русло; препятствия заставляют воду пениться, а человечество бурлить. Вот причина волнений и смут. Но после каждого восстания оказывается, что вы продвинулись вперед. Пока не будет установлен порядок, – а порядок не что иное, как всеобщий мир, – пока не воцарятся на земле гармония и единение, до тех пор этапами прогресса будут служить революции.

Что же такое прогресс? Мы уже сказали. Непрерывно развивающаяся жизнь народов.

Однако случается иногда, что преходящая жизнь отдельных личностей сопротивляется вечной жизни человеческого рода.

Признаемся откровенно – у каждого есть свои личные интересы, и вовсе не преступно отстаивать и защищать их; настоящему отпущена вполне законная доля эгоизма; преходящая жизнь имеет свои права и не обязана непрестанно жертвовать собою ради будущего. Нынешнее поколение, свершающее свой земной путь, не обязано сокращать его ради будущих, в сущности подобных ему самому поколений, чей черед придет позже. «Я существую, – шепчет некто, именуемый Все. – Я молод и влюблен, я стар и хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, я преуспеваю, мои дела идут прекрасно, мои дома сдаются внаем, у меня есть сбережения, я счастлив, у меня жена и дети, я люблю их, я хочу жить, оставьте меня в покое». Вот почему благородные передовые отряды человечества встречают в известные периоды такое глубокое равнодушие.

К тому же надо признать, что, начиная войну, утопия сходит со своих лучезарных высот. Истина грядущего дня, вступая в борьбу, заимствует методы у вчерашней лжи. Она, наше будущее, поступает не лучше прошедшего. Чистая идея становится насилием. Она омрачает героизм этим насилием, за которое, по справедливости, должна отвечать; насилием грубым и неразборчивым в средствах, противоречащим нравственным правилам, за что она неизбежно несет кару. Утопия-восстание сражается, пользуясь древним военным кодексом; она расстреливает шпионов, казнит предателей, уничтожает живых людей и бросает их в неведомую тьму. Она прибегает к помощи смерти – это тяжкий проступок. Можно подумать, будто утопия не верит больше в сияние истины, в ее несокрушимую и нетленную силу. Она разит мечом. Но меч опасен. Всякий клинок – оружие обоюдоострое. Кто ранит другого, будет ранен и сам.

Сделав эту оговорку со всей необходимой суровостью, мы не можем, однако, не восхищаться славными борцами за будущее, жрецами утопии, все равно – достигнут они своей цели или нет. Они достойны преклонения, даже когда их дело срывается, и, может быть, именно в неудачах особенно сказывается их величие. Победа, если она содействует прогрессу, заслуживает всенародных рукоплесканий, но героическое поражение должно растрогать сердца. Победа блистательна, поражение величественно. Мы предпочитаем мученичество успеху, для нас Джон Браун выше Вашингтона, а Пизакане выше Гарибальди.

Надо же, чтобы хоть кто-нибудь держал сторону побежденных.

Люди несправедливы к великим разведчикам будущего, когда они терпят крушение.

Революционеров обвиняют в том, что они сеют ужас. Всякая баррикада кажется покушением на общество. Революционерам вменяют в вину их теории, не доверяют их целям, опасаются каких-то задних мыслей, подвергают сомнению их честность. Их обвиняют в том, что против существующего социального строя они поднимают, нагромождают и воздвигают горы нужды, скорби, несправедливости, жалоб, отчаянья, извлекаются с самого дна человеческого общества черные глыбы мрака, чтобы взобраться на их вершину и вступить в бой. Им кричат: «Вы разворотили мостовую ада!» Они могли бы ответить: «Вот почему наша баррикада вымощена благими намерениями».

Бесспорно, самое лучшее – мирно разрешать проблемы. Что ни говори, когда смотришь на булыжник, вспоминаешь медведя из басни, а такая добрая воля больше всего тревожит общество. Но ведь спасение общества в его собственных руках; так пусть же оно само и проявит добрую волю. Тогда отпадет необходимость в крутых мерах. Изучить зло беспристрастно, определить его, а затем исцелиться. Вот к чему мы призываем общество.

Как бы там ни было, все, кто, устремив взгляд на Францию, сражаются во всех концах вселенной за великое дело, опираясь на непреклонную логику идеала, полны величия, даже поверженные, в особенности поверженные; они бескорыстно жертвуют жизнью за прогресс,

они выполняют волю провидения, они делают священное дело. В назначенный срок, по ходу действия божественной драмы, они сходят в могилу с бесстрастием актера, подавшего очередную реплику. Они обрекают себя на безнадежную борьбу, на стоическую гибель ради блистательного расцвета и неудержимого распространения во всем мире великого народного движения, которое началось 14 июля 1789 года. Эти солдаты – священнослужители. Французская революция-деяние божества.

Впрочем, существует одно важное различие, и его необходимо добавить к другим, уже отмеченным в прежних главах: бывают вооруженные восстания, одобренные и поддержанные народом, – их зовут революцией, и восстания отвергнутые – их зовут мятежом.

Вспыхнувшее восстание-это идея, которая держит ответ перед народом. Если народ кладет черный шар, значит, идея бесплодна, восстание обречено на неудачу.

Народы не вступают в борьбу по первому зову, всякий раз, как того желает утопия. Нации не могут вечно и непрестанно проявлять душевную силу героев и мучеников.

Народ рассудителен. Восстание ему неугодно о priori; во-первых, потому, что часто приводит к катастрофе, во-вторых, потому, что всегда исходит из отвлеченной теории.

То и прекрасно, что именно ради идеала, ради одного лишь идеала жертвуют собой те, кто идет на жертву. Восстание порождается энтузиазмом. Энтузиазм может прийти в ярость – тогда он берется за оружие. Но всякое восстание, взяв на прицел правительство или государственный строй, метит выше. Так, например, вожди восстания 1832 года, и, в частности юные энтузиасты с улицы Шанврери, сражались – мы на этом настаиваем – не против Луи-Филиппа как такового. В откровенной беседе большинство из них признавало достоинства этого умеренного короля, представлявшего не то монархию, не то революцию. Никто не питал к нему ненависти. Но они восставали против младшей ветви помазанников божьих в лице Луи-Филиппа, как прежде восставали против старшей ветви в лице Карла X, свергая монархию во Франции, они стремились ниспровергнуть во всем мире противозаконную власть человека над человеком и привилегий над правом. Сегодня Париж без короля – завтра мир без деспотов. Примерно так они рассуждали. Цель их была, конечно, отдаленной, неясной, может быть, и недостижимой для них, но великой.

Таков порядок вещей. Люди жертвуют собой во имя призрачной мечты, которая оказывается почти всегда иллюзией, но иллюзией, подкрепленной самой твердой уверенностью, какая только доступна человеку. Повстанец видит мятеж в поэтическом озарении. Он идет навстречу своей трагической участи, опьяненный грезами о будущем. Кто знает? Быть может, они добьются своего. Правда, их слишком мало, против них целая армия Но они защищают право, естественный закон, верховную власть каждого над самим собой, от которой невозможно отречься добровольно, справедливость, истину и готовы умереть за это, если понадобится, как триста древних спартанцев. Они помнят не о Дон Кихоте, но о Леониде. И они идут вперед и, раз вступив на этот путь, не отступают, а стремятся все дальше, очертя голову, видя впереди неслыханную победу, завершение революции, прогресс, увенчанный свободой, возвеличение человечества, всеобщее освобождение или, в худшем случае, Фермопилы.

Такие схватки за дело прогресса часто терпят неудачу, и мы уже объяснили почему. Паладину трудно увлечь за собой неподатливую толпу. Тяжеловесная, несметная, ненадежная именно в силу своей неповоротливости, она боится риска, а достижение идеала всегда сопряжено с риском.

Не надо еще забывать, что здесь замешаны личные интересы, которые плохо вяжутся с идеалами и чувствами. Желудок подчас парализует сердце.

Величие и красота Франции именно в том, что она меньше зависит от брюха, чем другие народы; она охотно стягивает пояс потуже. Она первая пробуждается и последняя засыпает. Она стремится вперед. Она ищет новых путей.

Это объясняется ее художественной натурой.

Идеал не что иное, как кульминационный пункт логики, подобно тому, как красота-вершина истины. Народы-художники всегда вместе с тем и народы-преемники. Любить красоту значит стремиться к свету. Именно поэтому светоч Европы, то есть цивилизацию, несла вначале Греция, Греция передала его Италии, а та вручила его Франции. Великие народы-просветители! Vitai lampada tradunt.[9]

Удивительное дело: поэзия народа – необходимое звено его развития. Степень цивилизации измеряется силой воображения. Однако народ-просветитель непременно должен оставаться мужественным народом. Коринф, но не Сибарис. Кто поддается изнеженности, тот вырождается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом: надо быть художником. Не нужно стремиться к изысканности, нужно стремиться к совершенству. При этом условии вы даруете человечеству образец идеала.

У современного идеала свой тип в искусстве и свой метод в науке. Только с помощью науки можно воплотить возвышенную мечту поэтов: красоту общественного строя. Эдем будет восстановлен при помощи A+B. На той ступени, какой достигла цивилизация, точность – необходимый элемент прекрасного; научная мысль не только помогает художественному чутью, но и дополняет его; мечта должна уметь вычислять. Искусству-завоевателю должна служить опорой наука, как боевой конь. Очень важно, чтобы эта опора была надежной. Современный разум-это гений Греции, колесницей которому служит гений Индии; Александр, восседающий на слоне.

Нации, застывшие в мертвых догмах или развращенные корыстью, непригодны к тому, чтобы двигать вперед цивилизацию. Преклонение перед золотым или иным кумиром ведет к атрофии живых мускулов и действенной воли. Увлечение религией или торговлей омрачает славу народа, понижает духовный уровень, ограничивая его горизонт, и лишает присущей народам-миссионерам способности, божественной и человеческой одновременно, прозревать великую цель. У Вавилона нет идеала, у Карфагена нет идеала. Афины и Рим сохранили и пронесли сквозь кромешную тьму веков светоч цивилизации.

Народ Франции обладает теми же свойствами, что народы Греции и Италии. Франция-афинянка по красоте и римлянка по величию. Кроме того, у нее доброе сердце. Она все готова отдать. Она чаще, чем другие народы, способна на преданность и самопожертвование. Правда, она изменчива и непостоянна – в этом и состоит основная опасность для тех, кто мчится бегом, когда она хочет идти, или идет, когда ей вздумалось остановиться. У Франции бывают приступы грубого материализма, ее высокий разум по временам засоряют идеи, которые недостойны французского величия и годятся разве для какого-нибудь штата Миссури или Южной Каролины. Что поделаешь? Великанше угодно притворяться карлицей; у огромной Франции бывают мелочные капризы. Вот и все.

Тут нечего возразить. Народы, как и светила, имеют право на затмение. Это еще не беда, лишь бы свет вернулся, лишь бы затмение не превратилось в вечную ночь. Заря и возрождение – синонимы. Новый восход светила соответствует неизменному обновлению человеческого «я».

Установим факты беспристрастно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании являются для самопожертвования приемлемым и предвиденным концом. Настоящее имя самопожертвования – бескорыстие. Пусть всеми покинутые остаются покинутыми, пусть изгнанники идут в изгнание, ограничимся тем, что обратимся с мольбой к великим народам – не слишком далеко отступать, когда они отступают. Под предлогом возврата к здравому смыслу не следует опускаться слишком низко.

Существуют, бесспорно, и материя, и насущные нужды, и личные интересы, и желудок, но нельзя допустить, чтобы требования желудка становились единственным законом. У преходящей жизни есть права, мы их признаем, но есть свои права и у жизни вечной. Можно

подняться на большую высоту, а затем вдруг упасть. В истории такие случаи бывают, к сожалению, часто. Великая, прославленная нация, приблизившаяся к идеалу, вдруг начинает копаться в грязи и находит в этом вкус; если ее спросят, по какой причине она покидает Сократа ради Фальстафа, она отвечает: «Потому что я люблю государственных мужей».

Еще одно слово, прежде чем вернуться к сражению на баррикаде.

Битвы, вроде той, о которой мы здесь повествуем, не что иное, как исступленный порыв к идеалу. Прогресс в оковах подвержен болезням и страдает трагическими припадками эпилепсии. Мы не могли миновать на своем пути исконную болезнь прогресса – междоусобную воину. Здесь один из роковых этапов, и акт и антракт нашей драмы, главным действующим лицом которой является человек, проклятый обществом, и истинное название которой: «Прогресс».

Прогресс! В этом возгласе, который часто вырывается у нас, воплощены все наши чаяния. И так как заключенной в них идее в дальнейшем развитии этой драмы предстоит пережить еще немало испытаний, да будет нам позволено здесь, если не приподнять над ней покрывало, то хотя бы показать сквозь завесу яркое ее сияние.

Книга, лежащая перед глазами читателя, представляет собою от начала до конца, в целом и в частностях, – каковы бы ни были отклонения, исключения и отдельные срывы, – путь от зла к добру, от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню, от вожделений к совести, от тлена к жизни, от зверских инстинктов к понятию долга, от ада к небесам, от небытия к богу. Исходная точка – материя, конечный пункт – душа. В начале чудовище, в конце – ангел.

Глава двадцать первая.
Герои

Вдруг барабан забил атаку.

Штурм разразился, как ураган. Накануне, во мраке ночи, противник подползал к баррикаде бесшумно, как удав. Теперь же, среди бела дня, нападение врасплох на открытом пространстве было невозможно, потому что живые силы атакующих оказались на виду; раздался рев пушки, и войско ринулось на приступ. В яростном стремительном порыве мощная колонна регулярной пехоты, подкрепленная через равные промежутки национальной и муниципальной гвардией в пешем строю, опираясь на шумные, хотя невидимые толпы, выступила на улицу беглым шагом с барабанным боем, при звуках трубы, с саперами во главе, и, держа штыки наперевес, не сгибаясь под градом пуль, пошла прямо на баррикаду, с силой медного тарана, бьющего в стену.

Стена выдержала.

Повстанцы открыли бешеный огонь. Весь гребень осажденной баррикады засверкал вспышками выстрелов. Штурм был настолько яростным, что на минуту вся баррикада оказалась наводненной атакующими. Но, стряхнув с себя солдат, как лев стряхивает собак, и лишь на миг покрывшись нападающими, словно скала морской пеной, она восстала вновь, такая же крутая, черная и грозная.

Колонна, вынужденная отступить, осталась на улице в сомкнутом строю, страшная даже на открытой позиции, и ответила на огонь редута ожесточенной ружейной стрельбой. Те, кому приходилось видеть фейерверк, припомнят огненные снопы скрещенных молний, называемые букетом. Пусть они представят себе такой букет не в вертикальном, а в горизонтальном положении, мечущий пули, дробь и картечь с концов своих огненных стрел и сеющий смерть гроздьями громовержущих молний. Баррикада попала под этот град.

Обе стороны горели одинаковой решимостью. Храбрецы доходили до дикого безрассудства, до какого-то свирепого героизма, готовые пожертвовать жизнью. В ту эпоху солдаты национальной гвардии дрались, как зуавы. Войска стремились кончить битву,

повстанцы – продолжать ее. Затягивать агонию в расцвете юности и здоровья – это уже не бесстрашие, а безумство. Для каждого участника схватки смертный час длился бесконечно. Вся улица покрылась трупами.

На одном конце баррикады находился Анжольрас, на другом – Мариус. Анжольрас, державший в голове весь план обороны, берег себя и стоял в укрытии; три солдата, один за другим, упали мертвыми под его бойницей, – они так и не заметили его. Мариус сражался без прикрытия. Он стоял, как живая мишень, возвышаясь над стеной редута больше чем по пояс. Нет более буйного расточителя, чем скряга, если ему вздумается кутнуть, и никто так не страшен в сражении, как мечтатель. Мариус был грозен и задумчив. Все представлялось ему словно во сне. Он казался призраком с ружьем в руках.

Патроны у осажденных подходили к концу, но их шутки были неистощимы. В смертном вихре, закружившем их, они продолжали смеяться.

Курфейрак стоял с непокрытой головой.

– Куда же ты девал свою шляпу? – спросил Боссюэ.

– В конце концов они ухитрились сбить ее пушечными ядрами, – отвечал Курфейрак. Насмешки чередовались с презрением.

– Кто может понять этих людей? – с горечью восклицал Фейи, перечисляя имена известных и даже знаменитых лиц, в том числе кое-кого из старой армии. – Они обещали примкнуть к нам, обязались нам помочь, поклялись в этом честью, они наши командиры – и они же нас предали!

Комбефер ответил с горькой усмешкой:

– Некоторые люди соблюдают правила чести, как астрономы наблюдают звезды: только издалека.

Баррикада была так густо засыпана разорванными гильзами от патронов, что казалось, будто выпал снег.

У осаждавших было численное превосходство, у повстанцев – позиционное преимущество. Они расположились на вершине стены и в упор расстреливали солдат – те, спотыкаясь среди раненых и убитых, застревали на крутом ее откосе. Баррикада, построенная подобным образом и отлично укрепленная подпорами изнутри, действительно представляла одну из тех позиций, откуда горстка людей может держать под угрозой целое войско. Тем не менее атакующая колонна, непрерывно пополняясь и увеличиваясь под градом пуль, неотвратимо приближалась; мало-помалу, шаг за шагом, медленно, но неуклонно, армия зажимала баррикаду в тиски.

Атаки следовали одна за другой. Опасность возрастала. И вот на этой груде камней, на улице Шанврери, разразилась битва, достойная стен Трои. Изможденные, оборванные, изнуренные люди, которые больше суток ничего не ели и не смыкали глаз, которые могли выпустить всего лишь несколько зарядов и напрасно ощупывали пустые карманы, ища патронов, почти все раненные, кто в голову, кто в руку, забинтованные порыжелыми и почерневшими тряпками, в изодранной, залитой кровью одежде, вооруженные негодными ружьями и старыми зазубренными саблями, преобразились в Титанов. Баррикаду атаковали раз десять, одолевали ее высоту, проникали внутрь, но так и не могли взять.

Чтобы составить представление об этой борьбе, вообразите пылающий костер из этих охваченных яростью сердец и посмотрите на разбушевавшийся пожар. То было не сражение, а жерло раскаленной печи, уста извергали пламя, лица искажались гневом. Казалось, то были уже не люди; бойцы пламенели яростью, страшно было смотреть на этих саламандр войны, метавшихся взад и вперед в багровом дыму. Мы отказываемся от описания всех сцен этой грандиозной битвы и в целом и в их последовательности. Одной лишь эпопее дозволено заполнить двенадцать тысяч стихов изображением битвы.

Это напоминало ад брахманизма, самую ужасную из семнадцати бездн преисподней, именуемую в Ведах «Лесом мечей».

Дрались врукопашную, грудь с грудью, пистолетами, саблями, кулаками, стреляли издали и в упор, сверху, снизу, со всех сторон, с крыш домов, из окон кабачка, из отдушин подвала, куда забрались некоторые из повстанцев. Они сражались один против шестидесяти. Полуразрушенный фасад «Коринфа» был страшен. Татуированное картечью окно, с выбитыми стеклами и рамами, превратилось в бесформенную дыру, кое-как заваленную булыжниками. Боссюэ был убит, Фейи убит; Курфейрак убит; Жоли убит; Комбефер, пораженный в грудь тремя штыковыми ударами в тот миг, когда он наклонился, чтобы поднять раненого солдата, успел только взглянуть на небо и испустил дух.

Мариус все еще сражался, но был несколько раз ранен, большей частью – в голову, и все лицо его было залито кровью, словно завешено красным платком.

Один лишь Анжольрас оставался невредимым. Когда ему не хватало оружия, он, не глядя, протягивал руку вправо или влево, и кто-нибудь из повстанцев подавал ему первый попавшийся клинок. Теперь у него остались обломки от четырех шпаг; у Франциска I в битве при Мариньяне было шпагой меньше.

Гомер говорит: «Диомед убил Аксила, сына Тевфрания, обитавшего в счастливой Аризбе; Эвриал, сын Мекистея, лишил жизни Дреса, Офелтия, Эсепа и Педаса, зачатого наядой Абарбареей от беспорочного Буколиона; Уллис поразил Пидита Перкосийского; Антилох – Аблера, Полипет – Астиала, Полидамант – Ота Килленейского, Тевкр – Аретаона; Мегантий гибнет от копья Эврипила. Царь героев Агамемнон повергает во прах Элата, уроженца высоко стоящего города, омываемого звонкоструйной рекой Сатиноном». В наших старинных эпических поэмах вооруженный огненной секирой Эспландиан нападает на великана маркиза Свантибора, и тот, защищаясь, швыряет в рыцаря башни, вырванные им из земли. На наших древних фресках изображены два герцога, Бретонский и Бурбонский, на конях, в боевых доспехах, в шлемах и с гербами на щитах; они мчатся друг на друга с бердышами в руке, опустив железные забрала, в железных сапогах, в железных перчатках, один в горностаевой мантии, другой в лазурном плаще; Бретонский герцог – с изображением льва между двух зубцов короны, герцог Бурбонский – с огромной лилией перед забралом. Но чтобы блистать великолепием, вовсе не надо носить герцогский шишак, как Ивон, или держать в руке живое пламя, как Эспландиан, или, подобно Филесу, отцу Полидаманта, привезти из Эпира прекрасные боевые доспехи, дар Япета, владыки мужей; достаточно отдать жизнь за свои убеждения или за верность присяге. Вот простоватый солдатик, вчерашний крестьянин из Боса или из Лимузена, с тесаком на боку, который оплачивается возле нянек с детьми в Люксембургском саду, вот бледный молодой студент, склонившийся над анатомическим препаратом или над книгой, белокурый юнец, бреющий бородку ножницами, – возьмите их обоих, вдохните в них чувство долга, поставьте друг против друга на перекрестке Бушра или в тупике Планш-Мибре, заставьте одного сражаться за свое знамя, а другого за свой идеал, и пусть оба воображают, что они сражаются за родину. Начнется грандиозная битва, и тени, отброшенные пехотинцем и студентиком-медиком во время поединка на великую эпическую арену, где борется человечество, сравняются с тенью Мегариона, царя Ликии, родины тигров, сдавившего в железном объятии могучего Аякса богоравного.

Глава двадцать вторая.
Шаг за шагом

Когда не осталось в живых никого из вожаков, кроме Анжольраса и Мариуса на противоположных концах баррикады, центр ее, так долго державшийся благодаря Курфейраку, Жоли, Боссюэ, Фейи и Комбеферу, наконец дрогнул. Пушка, не проломив бреши, годной для прохода, выбила в середине редута широкий полукруглый выем; разрушенный ядрами гребень стены в этом месте обвалился, и из обломков, грудой сыпавшихся внутрь и

наружу, образовалось как бы два откоса по обе стороны заграждения, внутренней и внешней. Внешний откос представлял собою наклонную плоскость, удобную для нападения.

Тут осаждавшие предприняли решительную атаку, и эта атака удалась. Сомкнутым строем, ощетинясь штыками, пехота беглым шагом неудержимо бросилась вперед, и на вершине укрепления в пороховом дыму показался мощный авангард штурмовой колонны. На этот раз все было кончено. Защищавшая центр группа повстанцев отступила в беспорядке.

И тогда в них внезапно проснулась смутная жажда жизни. Очутившись под прицелом этого леса ружей, они не захотели умирать. Пришла та минута, когда начинает глухо рычать инстинкт самосохранения, когда в человеке пробуждается зверь. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому, служившему опорой баррикаде. В этом доме они могли бы найти спасение. Но дом был заперт наглухо и как бы замурован сверху донизу. Прежде чем отряд пехоты проник внутрь редута, дверь дома успела бы отвориться и мгновенно затвориться; эта вдруг приоткрывшаяся и тотчас захлопнутая дверь для отчаявшихся людей означала бы жизнь. За домом был выход на улицу, возможность бегства, простор. Они стучали в дверь ружейными прикладами и ногами, взывали о помощи, кричали, умоляли, простирали руки. Никто им не отпер. Голова мертвеца смотрела на них из слухового оконца третьего этажа.

Но Анжольрас и Мариус с кучкой человек в восемь бросились к ним на помощь. «Ни шагу дальше!» – крикнул Анжольрас солдатам; когда какой-то офицер ослушался его, он убил офицера. Он стоял во внутреннем дворике редута, у стены «Коринфа», со шпагой в одной руке, с карабином в другой, отворив дверь кабачка и загораживая ее от атакующих. Тем, кто пал духом, он крикнул: «Осталась только одна дверь на волю, вот эта!» И, заслоняя товарищей своим телом, один против целого батальона, он прикрывал их отход. Все бросились в дверь. Орудуя своим карабином, как палкой, применяя прием, называемый на языке фехтовальщиков «мельницей», Анжольрас отбился от штыков, направленных в него со всех сторон, и вошел в дверь последним; тут наступила страшная минута, когда солдаты пытались ворваться, а повстанцы старались запереть дверь. Дверь захлопнулась с такой силой, входя в дверную раму, что к ней прилипли отрезанные и раздавленные пальцы какого-то солдата, вцепившегося в наличник.

Мариус остался снаружи. Выстрелом ему раздробило ключицу; он почувствовал, что теряет сознание и падает. В этот миг, уже закрыв глаза, он ощутил, как его схватила чья-то могучая рука, и в его угасающем сознании, сливаясь с последним воспоминанием о Козетте, промелькнула мысль: «Я в плену. Меня расстреляют».

Не видя Мариуса среди бойцов, укрывшихся в кабачке, Анжольрас предположил то же самое. Но в такое мгновение каждый успевает подумать только о собственной судьбе. Анжольрас наложил засов, опустил задвижку, защелкнул замок и, дважды повернув ключ, запер дверь, в то время как снаружи в нее неистово колотили прикладами и топорами солдаты и саперы. Атакующие столпились теперь перед этой дверью. Начинался штурм кабачка.

Солдаты остервенели.

Их привела в ярость гибель сержанта артиллерии, а кроме того, – еще более роковое обстоятельство, – за несколько часов до атаки среди них пустили слух, что повстанцы истязают пленных и что в кабачке находится обезглавленный труп солдата. Подобные опасные измышления обычно сопутствуют междоусобным войнам, и позднее такого рода клевета вызвала катастрофу на улице Транснонен.

Когда дверь была забаррикадирована, Анжольрас сказал товарищам:

– Мы должны дорого продать свою жизнь!

Затем подошел к столу, на котором покоились Мабеф и Гаврош. Под черным покрывалом угадывались два неподвижных окоченелых тела, большое и маленькое, два лица смутно обрисовывались под холодными складками савана. Со стола свешивалась рука, высунувшаяся из-под покрывала. То была рука старика.

Анжольрас нагнулся и поцеловал его благородную руку с тем почтением, с каким накануне целовал его в лоб.

Эти два поцелуя были единственными в жизни Анжольраса.

Сократим наш рассказ. Баррикада защищалась, словно ворота древних Фив; кабачок боролся, точно дом в Сарагосе. Оборонялись с угрюмым упорством. Никакой пощады. Никаких переговоров. Люди согласны умереть, только бы убивать. Когда Сюше говорит: «Сдавайтесь!» – Палафокс отвечает: «Нет! Палили из пушек, перейдем на ножи». При штурме кабачка Гюшлу можно было увидеть все: булыжники, которые градом сыпались на осаждавших из окон и с крыши и доводили солдат до неистовства, нанося им страшные увечья; выстрелы из подвалов и чердаков, ярость атаки, отчаянье сопротивления, и наконец, – когда удалось вышибить дверь, – бешеную, исступленную резню. Ворвавшись в кабачок, спотыкаясь о разбросанные по полу филенки выломанной двери, атакующие не нашли там ни одного бойца. Посреди нижней залы валялась винтовая лестница, обрубленная топором, да несколько раненых при последнем издыхании, все, кто не был убит, поднялись на второй этаж и открыли ожесточенный огонь из люка в потолке, откуда прежде спускалась лестница. На это ушли их последние патроны. Когда все было израсходовано, когда у этих обреченных, но все еще опасных противников не осталось ни пуль, ни пороха, каждый из них вооружился двумя бутылками из запаса, сохраненного, как мы помним, Анжольрасом, и принялся отбиваться от осаждавших этими грозными и хрупкими булавами. В бутылках была азотная кислота. Мы рассказываем мрачные подробности этой бойни, нигде ничего не утаивая. Увы, осажденные сражаются всем, что есть под рукой! Греческий огонь не обесчестил Архимеда, кипящая смола не обесчестила Баярда. На войне все страшно, тут не из чего выбирать. Выстрелы атакующих, при всем неудобстве целиться снизу вверх, были убийственны. Края люка вскоре покрылись мертвыми головами, из которых сочились длинные струйки красной дымящейся крови. В воздухе стоял невообразимый грохот; густой, обжигающий дым заволакивал мглой кровавую битву. Не хватает слов, чтобы описать весь ужас этой минуты. Участники адской схватки потеряли человеческий образ. То уже не гиганты бились с великанами: картина напоминала скорее Мильтона и Данте, чем Гомера. Нападали дьяволы, защищались призраки.

Это был героизм, принявший чудовищный облик.

Глава двадцать третья.
Голодный Орест и пьяный Пилад

Наконец при помощи остатков лестницы, влезая друг другу на плечи, карабкаясь по стенам, цепляясь за перекрытия, рубя саблями у самого края люка последних, кто еще сопротивлялся, десятка два атакующих – солдаты, вперемешку с национальными и муниципальными гвардейцами, почти все изуродованные при этом опасном штурме ранами в лицо, ослепленные кровью, разъяренные, озверелые, – пробились в залу второго этажа. Лишь один человек еще стоял на ногах – Анжольрас. У него уже не было ни патронов, ни сабли, в руках он держал только ствол от карабина, – приклад он разбил о головы солдат. Загородясь от нападающих бильярдным столом, он отступил в угол залы. И даже теперь гордый его взгляд, высоко поднятая голова и рука, сжимавшая обломок оружия, внушали такой страх, что вокруг него образовалась пустота. Послышались крики:

– Вот их вожак! Он-то и убил артиллериста! Он сам забрался туда, тем лучше для нас! Пусть там и остается. Расстреляем его на месте.

– Стреляйте, – сказал Анжольрас.

Отбросив обломок карабина, скрестив руки, он подставил грудь пулям.

Отвага перед лицом смерти всегда покоряет людей. Как только Анжольрас скрестил руки на груди, готовый принять смерть, в зале стих оглушительный гул схватки, и хаос внезапно сменился торжественной мертвой тишиной. Казалось, грозное величие безоружного и неподвижного Анжольраса укротило шум, казалось, этот юноша, единственный, кто не был ни

разу ранен, надменный, прекрасный, залитый кровью, невозмутимый, словно он был уверен в своей неуязвимости, одним лишь властным, спокойным взглядом внушал уважение этой свирепой толпе, готовой убить его. Гордая осанка придавала его красоте в эту минуту особый, ослепительный блеск; по истечении страшных суток он оставался все таким же румяным и свежим, как будто его не брала ни пуля, ни усталость. Вероятно, именно про него говорил впоследствии кто-то из свидетелей, выступая перед военным судом: «Там был один бунтовщик, которого, я слыхал, называли Аполлоном». Один из национальных гвардейцев, целившихся в Анжольраса, опустил ружье и сказал:

– Мне кажется, будто я стреляю в цветок.

Двенадцать солдат построились взводом в другом углу залы против Анжольраса, и молча вскинули ружья.

Послышалась команда сержанта:

– На прицел!

Вдруг вмешался офицер:

– Погодите.

И обратился к Анжольрасу:

– Завязать вам глаза?

– Нет.

– Это вы убили сержанта артиллерии?

– Да.

В это время проснулся Грантер.

Мы помним, что Грантер со вчерашнего вечера спал, сидя в верхней зале кабачка и уронив голову на стол.

Он в полном смысле олицетворял собой старинное выражение: мертвецки пьяный. Чудовищная смесь полынной настойки, портера и спирта погрузила его в летаргический сон. Его стол был так мал, что не годился для баррикады, и его не трогали. Он сидел все в той же позе, навалившись на стол, положив голову на руки, среди стаканов, кружек и бутылок. Он спал беспробудным сном, точно медведь в спячке или насосавшаяся пиявка. Ничто на него не действовало – ни стрельба, ни ядра, ни картечь, залетавшая в окна залы, ни оглушительный грохот штурма. Лишь время от времени его храп вторил пушечной пальбе. Казалось, он ждал, что шальная пуля избавит его от необходимости просыпаться. Вокруг него лежало много трупов, и он ничем не отличался на первый взгляд от тех, кто уснул навеки.

Шум не пробуждает пьяницу; его будит тишина. На эту странность не раз обращали внимание. Все рушилось кругом, а он еще глубже погружался в оцепенение; грохот убаюкивал его. Но неожиданное безмолвие, воцарившееся вокруг Анжольраса, послужило толчком, который пробудил Грантера от тяжелого сна. Так бывает, когда кони вдруг остановятся на всем скаку. Уснувшие в коляске тотчас же просыпаются. Грантер вскочил, как встрепанный, потянулся, протер глаза, зевнул, огляделся и все понял.

Внезапное отрезвление напоминает разорвавшуюся завесу. Вы видите сразу, с первого взгляда, все, что за нею скрывалось. Все тут же воскресает в памяти, и пьяница, не знавший, что произошло за минувшие сутки, не успеет очнуться, как уже во всем разобрался. Мысли его приобретают необычайную ясность, пьяное забытье рассеивается, как туман, затемнявший рассудок, и уступает место ясному и четкому восприятию действительности.

Солдаты, устремив все внимание на Анжольраса, даже не заметили Грантера, забравшегося в угол за бильярд, и сержант уже готовился повторить приказ: «На прицел», как вдруг рядом чей-то могучий голос воскликнул:

– Да здравствует Республика! Я с ними заодно!

Грантер встал.

Яркое зарево битвы, которую он пропустил и в которой не участвовал, горело в сверкающем взгляде пьяницы; он как будто преобразился.

– Да здравствует Республика! – крикнул он снова, прошел по зале уверенным шагом и стал рядом с Анжольрасом, прямо против ружейных стволов.

– Прикончите нас обоих разом, – сказал он и, обернувшись к Анжольрасу, тихо спросил:

– Ты позволишь?

Анжольрас с улыбкой пожал ему руку.

Улыбка еще не сбежала с его губ, как грянул залп.

Пронзенный навылет восемью пулями, Анжольрас продолжал стоять, прислонясь к стене, словно пригвожденный к ней пулями. Только голова его поникла на грудь.

Грантер, убитый наповал, рухнул к его ногам.

Несколько минут спустя солдаты уже выбивали из верхнего этажа последних укрывшихся там повстанцев. Они перестреливались сквозь деревянные решетчатые двери чердака. Бой шел под самой крышей. Из окон выкидывали тела прямо на мостовую, в некоторых еще теплилась жизнь. Двух пехотинцев, которые пытались поднять сломанный омнибус, подстрелили с чердака из карабина. А оттуда сбросили какого-то блузника, проколотого штыком в живот, и он хрипел, корчась на мостовой. Солдат и повстанец, вцепившись один в другого, вместе скользили по скату черепичной крыши, упрямо не выпуская друг друга, и вместе катились вниз, не размыкая свирепого объятия. Такая же борьба велась в подвалах. Выстрелы, топот, дикие вопли. Потом наступила тишина. Баррикада была взята.

Солдаты принялись обыскивать окрестные дома и вылавливать беглецов.

Глава двадцать четвертая.
Пленник

Мариус действительно был пленником. Пленником Жана Вальжана.

Сильная рука, которая подхватила его сзади, когда он падал, теряя сознание, была рука Жана Вальжана.

Жан Вальжан не принимал участия в битве, но и не уклонялся от опасности. Не будь его, некому было бы позаботиться о раненых в эти последние предсмертные часы. Благодаря ему, вездесущему среди побоища, как провидение, все, кто падал, были подняты, перенесены в нижнюю залу и перевязаны. В промежутках он заделывал бреши в стене баррикады. Но его рука не поднималась для удара, нападения или даже самозащиты. Он молча спасал других. При этом он отделался всего несколькими царапинами. Пули как будто избегали его. Если предположить, что его привела в этот склеп жажда самоубийства, то цели он не достиг. Однако маловероятно, чтобы он задумал самоубийство, противное законам религии.

Жан Вальжан. казалось, не замечал Мариуса в густом дыму сражения; на самом же деле он не спускал с него глаз. Когда выстрел сбил Мариуса с ног, Жан Вальжан бросился к нему с быстротой молнии, схватил его, как тигр хватает добычу, и унес.

В этот миг, в вихре атаки, всеобщее внимание было настолько приковано к Анжольрасу и к двери кабачка, что никто не заметил, как Жан Вальжан, неся на руках бесчувственного Мариуса, прошел по развороченной мостовой дворик баррикады и скрылся за углом дома, где помещался «Коринф».

Читатель помнит этот угол, образующий как бы выступ на повороте улицы; он защищал от пуль, от картечи, а также от любопытных взглядов площадку в несколько квадратных метров. Так иногда среди пожара одна какая-нибудь комната остается невредимой, и даже в самых бурных морях, за высоким мысом или в бухте между рифами можно найти тихую заводь. В этом-то закоулке дворика баррикады, в форме трапеции, и умерла Эпонина.

Здесь Жан Вальжан остановился, опустил Мариуса на землю и, прислонясь к стене, огляделся кругом.

Положение было отчаянное.

На время, минуты на две, на три, стена могла послужить прикрытием, но как вырваться из этого побоища? Ему припомнился тревожный момент, пережитый им восемь лет назад на улице Полонсо, и способ, каким ему удалось скрыться оттуда; тогда это было трудно, теперь – невозможно. Перед ним возвышался угрюмый, наглухо запертый шестиэтажный дом, где, казалось, не было других обитателей, кроме мертвеца, склонившегося головой на подоконник. Справа от него находилась низенькая баррикада, замыкавшая Малую Бродяжную улицу; преодолеть это препятствие ничего не стоило, но над гребнем ее щетинились ряды штыков. Там укрылась линейная пехота, стоявшая в засаде по ту сторону редута. Перелезая через баррикаду, он непременно попал бы под обстрел целого взвода и, высунув голову из-за стены, стал бы мишенью для залпа шестидесяти ружей. Налево от него шел бой. За углом подстерегала смерть.

Что делать?

Одной только птице удалось бы спастись.

Надо было немедленно принять решение. Изыскать способ, найти выход. В нескольких шагах от него шло сражение; по счастью, вся ярость атакующих сосредоточилась на одной цели: двери кабачка; но если какому-нибудь солдату, одному-единственному, вздумалось бы завернуть за угол или напасть с фланга, все было бы кончено.

Жан Вальжан взглянул на высокий дом перед собой, на баррикаду направо, затем с отчаяньем, как человек в последней крайности, впился глазами в землю, точно хотел просверлить ее взглядом.

Чем пристальнее он смотрел, тем яснее у его ног начало вырисовываться и принимать очертания нечто едва уловимое сквозь туман смертной муки, словно взгляду дана власть воплощать желаемое. В нескольких шагах, у подножия невысокой баррикады, которую осаждали и стерегли снаружи неумолимые враги, он заметил плоскую железную решетку вровень с землей, наполовину скрытую под грудой булыжников. Эта решетка из толстых поперечных брусьев занимала пространство около двух квадратных футов. Укреплявшая ее рамка булыжников была разворочена, и решетка словно отделилась от мостовой. Сквозь прутья виднелось темное отверстие, что то вроде каминного дымохода или круглого водоема. Жан Вальжан бросился к решетке. Воспоминание о его прежнем искусстве устраивать побеги вдруг молнией озарило его мозг. Он расшвырял камни, откинул решетку, взвалил на плечи неподвижного, как труп, Мариуса, спустился с ношей на спине, упираясь локтями и коленями, в этот, к счастью, неглубокий колодец, захлопнул над головой тяжелую железную заслонку, которую снова засыпали сдвинутые им камни, и, наконец, стал ногами на вымощенное плитами дно на глубине трех метров под землей, – все это было проделано им как в бреду, с силой титана и быстротой орла, и на все хватило нескольких минут.

Жан Вальжан с бездыханным Мариусом на руках очутился в каком-то длинном подземном коридоре.

Здесь был глубокий покой, мертвая тишина, тьма.

Им вновь овладело чувство, испытанное в тот далекий час, когда он прямо с улицы попал за ограду монастыря. Только на этот раз он нес на руках не Козетту, он нес Мариуса.

До него едва доносился теперь смутным гулом, где-то над головой, грозный грохот штурма кабачка.

Книга вторая
Утроба Левиафана
Глава первая.

Земля, истощенная морем

Париж ежегодно швыряет в воду двадцать пять миллионов. И это отнюдь не метафора. Когда, каким образом? Днем и ночью. С какой целью? Вез всякой цели. По какой причине? Без всякой причины. Для чего? Просто так. Каким путем? Через кишечный тракт.

Что же такое кишечник Парижа? Это его сточные трубы.

Двадцать пять миллионов – еще самая умеренная из цифр, полученных специалистами в результате вычислений.

Наука, долго бродившая ощупью, установила теперь, что наиболее действенным и полезным удобрением являются человеческие фекалии. К стыду нашему, китайцы знали об этом задолго до нас. По словам Экеберга, ни один китайский крестьянин не возвращается из города без бамбукового коромысла с двумя полными ведрами так называемых нечистот. Благодаря удобрению фекалиями земля в Китае так же тучна, как и во времена Авраама. Китайский маис приносит урожай сам сто двадцать. Никакое гуано не сравнится по плодородию своему с отбросами столицы. Большой город – превосходная навозная куча. Отходы города для удобрения полей принесли бы несомненную пользу. Пусть наше золото – навоз, зато наш навоз – чистое золото.

Что же делают с этим навозом? Его сметают в пропасть.

С одной стороны, затрачивая большие средства, снаряжают целые караваны судов на южный полюс за пометом пингвинов и буревестников, с другой топят в море несметные богатства, находящиеся тут же под рукой. Если вернуть земле, вместо того чтобы бросать в воду, запас удобрений, производимый человеком и животными, можно было бы прокормить весь мир.

Кучи нечистот в углах за тумбами, повозки с отбросами, трясущиеся ночью по улицам, омерзительные бочки золотарей, подземные стоки зловонной жижи, скрытые от ваших глаз камнями мостовой, – знаете, что это такое? Это цветущий луг, это зеленая мурава, богородицына травка, тимьян и шалфей, это дичь, домашний скот, сытое мычанье тучных коров по вечерам, это душистое сено, золотистая нива, это хлеб на столе, горячая кровь в жилах, здоровье, радость, жизнь. Таков таинственный творческий процесс – превращение на земле, преображение на небесах.

Верните это обратно в великое горнило: оно отплатит вам вашим благоденствием. От питания полей зависит пища человека.

В вашей воле бросить на ветер богатство да еще счесть меня чудаком в придачу. Но это будет верхом невежества с вашей стороны.

Статистика установила, что одна только Франция выбрасывает ежегодно в Атлантический океан через устья своих рек не менее полумиллиарда франков. Заметьте, что при помощи этих пятисот миллионов можно было бы покрыть четвертую часть государственных расходов. Но человек настолько туп, что предпочитает избавиться от этих пятисот миллионов и швыряет их в канаву. Ведь это уплывает народное достояние, то сочась капля за каплей, то вырываясь потоками, то слабой струей водостоков – в реки, то мощным извержением рек – в океан. Каждая отрыжка наших клоак стоит нам тысячу франков. Отсюда два следствия: истощенная земля и зараженная вода. Нивы угрожают голодом, река – болезнями.

Установлено, например, что Темза с давних пор отравляет Лондон.

А в Париже пришлось в последние годы перенести большую часть выводных отверстий клоаки вниз по реке, за самый последний мост.

Между тем, чтобы провести в наши города чистые воды полей и оросить наши поля городской водой, богатой удобрениями, было бы вполне достаточно установки двойных труб, установки, снабженной клапанами и водоотводными шлюзами, всасывающими и нагнетающими воду, – этой элементарной системы дренажа, простой, как человеческие

легкие, и уже широко распространенной во многих округах Англии; таким легким способом обмена, самым удобным на свете, мы сохранили бы пятьсот миллионов, брошенных на ветер. Но мы об этом и не думаем.

Нынешним способом, стремясь сделать добро, приносят вред. Намерение благое, но результат плачевный. Хотят очистить город, а жители чахнут. Устройство водостоков основано на недоразумении. Когда дренаж, имеющий двойное назначение – возвращать то, что он берет, заменит, наконец, повсюду сточные трубы, только промывающие и истощающие почву, – тогда на основе новой социальной экономики урожай увеличится вдесятеро и с нищетой будет значительно легче бороться. Добавьте к этому уничтожение сорняков, и проблема окажется разрешенной.

А пока что народные богатства уходят в реку. Происходит непрерывная утечка. Утечка – вот самое подходящее слово. Европа разоряется путем истощения.

Что касается Франции, то мы только что привели цифры. А так как в Париже сосредоточена двадцать пятая часть всего населения Франции, и к тому же парижское гуано – самое ценное, то мы даже преуменьшим цифру, исчисляя в двадцать пять миллионов долю потерь Парижа в том полумиллиарде, от которого ежегодно отрекается Франция. Истраченные на помощь бедноте и на благоустройство города, эти двадцать пять миллионов удвоили бы блеск и великолепие Парижа. Однако город спускает их в сточные канавы. Можно сказать поэтому, что баснословная расточительность Парижа, его блестящие празднества, его кумир Божон, разгульные оргии, струящееся потоками золото, его пышность, роскошь, великолепие – это и есть его клоака.

Таким образом, по вине недальновидной экономической политики народное достояние просто бросают в воду, где, подхваченное течением, оно поглощается пучиной. В интересах общественного блага здесь пригодились бы сетки Сен-Клу.

С точки зрения экономики, можно сделать вывод, что Париж – дырявое решето. Париж – образцовый город, глава благоустроенных столиц, пример для. подражания всем народам, метрополия идей, священная родина дерзаний, стремлений и опытов, центр и обиталище великих умов, город-нация, улей будущего, чудесное сочетание Вавилона и Коринфа; однако Париж в том отношении, в каком мы только что его показали, заставил бы пожать плечами любого крестьянина из Фо-Кьяна.

Попробуйте подражать Парижу – и вы разоритесь.

Но в этом безрассудном, длящемся с незапамятных времен мотовстве Париж сам оказывается подражателем.

Такая поразительная глупость не нова, это вовсе не ошибка юности. Древние народы поступали так же, как и мы. «Клоака Рима, – по словам Либиха, – поглотила все благосостояния римских крестьян». После того как римские водостоки разорили окрестные деревни, Рим обесплодил Италию, а бросив Италию в свои клоаки, он отправил туда Сицилию, затем Сардинию, потом Африку. Сточные трубы Рима пожрали мир. Клоака разинула ненасытную пасть на город и на вселенную. Urbi et orbi. Вечный город, бездонная клоака.

В этом отношении, как и в остальных, Рим подал пример.

Париж следует этому примеру с нелепым упорством, свойственным великим городам, средоточиям духовной жизни.

Для осуществления упомянутого процесса под Парижем существует второй Париж-Париж водостоков, со своими улицами, перекрестками, площадями, тупиками, магистралями и даже своим уличным движением – потоками грязи вместо людского потока.

Никому не следует льстить, даже великому народу; там, где есть все, наряду с величием имеется и позор; Париж заключает в себе Афины – город просвещения; Тир-город могущества,

Спарту-город доблести, Ниневию – город чудес, но он впитал в себя также и Лютецию – город грязи.

Впрочем, на этом также лежит отпечаток его могущества; в грандиозных подземных трущобах Парижа, как и в других его памятниках, воплощается тот странный идеал, какой в истории человечества воплощают собою люди, подобные Макиавелли, Бэкону и Мирабо, – величие гнусности.

Подземелье Парижа, если бы взгляд мог проникнуть сквозь толщу его поверхности, представились бы нам в виде колоссального звездчатого коралла. В морской губке гораздо меньше отверстий и разветвлений, чем в той земляной глыбе шести миль в окружности, на которой покоится великий древний город. Не говоря уже о катакомбах, образующих особое подземелье, не говоря о запутанных тенетах газопроводов, не считая широко развитой системы труб, подводящих питьевую воду к фонтанам, – водостоки сами по себе образуют под обоими берегами Сены причудливую, скрытую во мраке сеть; путеводной нитью в этом лабиринте служит уклон почвы.

Здесь, во мгле и сырости, водятся крысы, которые кажутся как бы порождением этого второго Парижа.

Глава вторая.
Древняя история клоаки

Если вообразить, что Париж снимается, как крышка, то подземная сеть сточных труб по обеим сторонам реки покажется нам с высоты птичьего полета чем-то вроде толстого сука, как бы привитого к реке. Окружной канал на правом берегу будет стволом этого сука, боковые отводы – ветвями, а тупики – побегами.

Это сравнение передает лишь общий вид и далеко не точно, так как прямой угол, обычный для подобных подземных разветвлений, редко встречается в растительном мире.

Вы получите более правильное представление об этом необычном геометральном плане, если вообразите себе перепутанные и густо разбросанные на темном фоне затейливые письмена некоего восточного алфавита, связанные одно с другим в кажущемся беспорядке, то углами, то концами, словно наугад.

Подземелья и сточные ямы играли важную роль в средние века в Византии и на древнем Востоке. Там зарождалась чума, там умирали деспоты. Народы смотрели с каким-то священным ужасом на это скопище гнили, на эту чудовищную обитель смерти. Кишащая червями сточная яма Бенареса вызывает такое же головокружение, как львиный ров Вавилона. Теглат-Фаласар, как повествуют книги раввинов, клялся свалками Ниневии. Из клоаки Мюнстера вызывал Иоганн Лейденский свою ложную луну, а его восточный двойник, загадочный хоросанский пророк Моканна, вызывал ложное солнце из сточного колодца в Кекшебе.

В истории клоак рождается история человечества. Гемонии раскрыли тайны Рима. Водостоки Парижа были страшны в старину. Они служили могилой, и они служили убежищем. Преступление, вольнодумство, бунт, свобода совести, мысль, грабеж, все, что преследуют или преследовали некогда человеческие законы, пряталось в этой дыре: шайки майотенов в XIV веке, уличные грабители в XV, гугеноты в XVI, иллюминаты Морена в XVII, банды поджаривателей в XIX. Сто лет назад оттуда выходил ночной убийца, туда прятался от погони вор; в лесу были пещеры, в Париже – водостоки. Нищая братия, галльское подобие picareria[10], свирепая и хитрая, считала водостоки филиалом Двора чудес и по вечерам спускалась в отверстие сточного колодца на улице Мобюэ, как в собственную спальню.

Вполне естественно, что те, кто обычно промышлял в глухом тупике Карманников или на улице Головорезов, искали ночного убежища под мостиком Зеленой дороги или в закоулке Гюрпуа. Там вас окружает целый рой воспоминаний. В этих бесконечных коридорах появляются всевозможные призраки, повсюду слякоть и зловоние; там и сям встречаются

отдушины, сквозь которые некогда Вийон из недр водостока беседовал с Рабле, стоявшим наверху.

Клоака старого Парижа была местом встреч всех неудач и всех дерзаний. Политическая экономия видит в ней свалку отбросов, социология видит в ней осадочный пласт.

Клоака – это совесть города. Все стекается сюда, всему дается здесь очная ставка. В этом призрачном месте много мрака, но тайн больше нет. Всякая вещь принимает свой настоящий облик или по крайней мере свой окончательный вид. Куча отбросов имеет то достоинство, что не лжет. Здесь нашла пристанище полная откровенность. Здесь валяется маска Базилио, но вы видите ее картон и тесемки, ее лицо и изнанку, откровенно вымазанные в грязи. К ней присоединился фальшивый нос Скапена. Весь мерзкий хлам цивилизации, выброшенный за ненадобностью, падает в эту бездну правды, куда обрушивается огромный социальный оползень. Все поглощается ею и раскладывается напоказ. Эта беспорядочная свалка становится исповедальней. Тут невозможна обманчивая личина, тут смываются все прикрасы, тут гнусность сбрасывает свой покров, тут полная нагота, разоблачение всех иллюзий, тут нет ничего, кроме подлинных вещей, являющих зловещий вид разрушения и конца. Бытие и смерть. Здесь донышко бутылки изобличает пьяницу, ручка корзины судачит о прислуге, там набалдашник от сломанной трости, некогда кичившийся литературными вкусами, снова становится простым набалдашником, королевский лик на монете в одно су откровенно покрывается медной ржавчиной, плевок Кайафы сливается с блевотиной Фальстафа, золотая монета из игорного дома натыкается на гвоздь с обрывком веревки самоубийцы, посинелый недоносок валяется, обернутый в юбку с блестками, в которой потаскуха плясала на балу в Опере на прошлой масленице, судейский берет вязнет в грязи рядом с полуистлевшим подолом шлюхи. Это больше чем братство, это – панибратство. Все, что подкрашивалось, здесь умывается грязью. Последняя завеса сорвана. Клоака – циник. Она говорит все.

Эта откровенная гнусность нравится нам, она облегчает душу. После того как на земле нам пришлось столько времени терпеливо смотреть, какой важный вид напускают на себя государственные соображения, нерушимость клятвы, политическая мудрость, человеческое правосудие, профессиональная честность, чопорность высокопоставленных особ, неподкупность чиновников, нам доставляет утешение спуститься в клоаку и увидеть обыкновенную грязь, которая там вполне уместна.

К тому же оно и поучительно. Как мы уже говорили, вся история проходит через клоаку. Кровь Варфоломеевской ночи сочится туда капля за каплей сквозь камни мостовой. Все массовые убийства, всякая политическая и религиозная резня – все стекает в это подземелье цивилизации, сбрасывая туда трупы. В воображении мечтателя все убийцы, известные в истории, стоят там на коленях в отвратительном полумраке, подвязав обрывки савана вместо передника, и уныло смывают следы своих деяний. Там и Людовик XI с Тристаном, Франциск I с Дюпра, Карл IX со своей матерью, Ришелье с Людовиком XIII, там и Лувуа, и Летелье, Гебер и Майяр, – все они стараются соскоблить с камней пятна и уничтожить улики своих преступлений. Вы слышите под сводами шум метлы этих призраков. Вы вдыхаете неописуемое зловоние социальных катастроф. Вы видите багровые отблески по углам. Там течет та ужасная вода, в которой омывали окровавленные руки.

Исследователю социальных явлений необходимо войти под эти темные своды. Это часть его лаборатории. Философия – микроскоп мысли. Все стремится избежать ее внимания, но ничто от нее не ускользает. Всякие уловки бесполезны. Что вы обнаруживаете, увертываясь от нее? Собственный позор. Философия своим неподкупным взглядом преследует зло и не позволяет ему исчезнуть бесследно. По вещам, обезличенным из-за распада или как бы истаявшим от разрушения, она угадывает все. Она восстанавливает пурпурное одеяние по обрывку лохмотьев и женщину по ее тряпкам. По клоаке она судит о городе, по грязи судит о нравах. По черепку она воспроизводит амфору или кувшин. По отпечатку ногтя на пергаменте она устанавливает разницу между евреями Юденгассе и евреями гетто. По тому, что осталось,

она определяет то, что было – добро, зло, ложь, истину, кровавое пятно во дворце, чернильную кляксу в притоне, каплю свечного сала в лупанарии, преодоленные испытания, призываемые искушения, блевотину оргии, пороки опустившегося человека, печать бесчестия на душах, склонных к грубой чувственности, и на одежде римского носильщика она узнает след от локтя Мессалины.

Глава третья.
Брюнзо

В средние века о парижских водостоках ходили легенды. В XVI веке Генрих II предпринял их исследование, но оно ни к чему не привело. Всего сто лет назад, по свидетельству Мерсье, клоака еще была предоставлена самой себе и растекалась, как хотела.

Таков был старый Париж, раздираемый смутами, сомнениями и метаниями. Долгое время он вел себя довольно глупо. Позднее 89-й год показал, как город может вдруг взяться за ум. Но в доброе старое время столице не хватало рассудка, она не умела вести дела как в материальном, так и в моральном отношении и выметала мусор нисколько не лучше, чем злоупотребления. Все служило препятствием, все представлялось неразрешимой задачей. Клоака, например, не подчинялась никаким путеводителям. Установить направление в этой свалке отбросов было так же трудно, как разобраться в переулках самого города; на земле – непостижимое, под землей – непроходимое; вверху – смешение языков, внизу – путаница подземелий; под Вавилонским столпотворением лабиринт Дедала.

По временам сточные воды Парижа имели дерзость выступать из берегов, как будто этот непризнанный Нил вдруг приходил в ярость. Тогда происходило нечто омерзительное – наводнение города нечистотами. Время от времени желудок цивилизации начинал плохо переваривать, содержимое клоаки подступало к горлу Парижа, город мучился отрыжкой своих отбросов. Тут ощущалось сходство с угрызениями совести, что было небесполезно; это были предостережения, встречаемые, впрочем, с большим недовольством. Город возмущался наглостью своих помойных ям и не верил, что грязь снова вылезет наружу. Гнать ее беспощадно!

Наводнение 1802 года – одно из незабываемых воспоминаний в жизни парижан, достигших восьмидесятилетнего возраста. Грязь разлилась крест-накрест по площади Победы, где возвышается статуя Людовика XIV; она затопила улицу Сент-Оноре из двух водосточных воронок на Елисейских полях, улицу Сен-Флорантен из воронки на Сен-Флорантен; улицу Пьер-а-Пуассон из стока на улице Колокольного звона, улицу Попенкур из отверстия под мостиком Зеленой дороги, Горчичную улицу из клоаки на улице Лапп; она заполнила сточный желоб Елисейских полей до уровня тридцати пяти сантиметров. В южных кварталах через водоотвод Сены, гнавший ее в обратном направлении, она прорвалась на улицу Мазарини, улицу Эшоде и улицу Маре, здесь растеклась на сто девять метров и остановилась за несколько шагов от дома, где жил Расин, выказав тем самым уже в XVIII веке больше уважения к поэту, чем к королю. Наводнение достигло наивысшего уровня на улице Сен-Пьер, где грязь поднялась на три фута выше плит, прикрывавших водосточные трубы, а наибольшего протяжения – на улице Сен-Сабен, где она разлилась на двести тридцать восемь метров в длину.

В начале нынешнего века клоака Парижа все еще оставалась таинственным местом. Грязь нигде особенно не восхваляли, но здесь ее дурная слава вызывала ужас. Париж знал кое-что о мрачном подземелье, которое под ним таилось. Его сравнивали с чудовищным болотом древних Фив, где кишели сколопендры пятнадцати футов длиной и где мог бы окунуться бегемот. Грубые сапоги чистильщиков сточных труб никогда не отваживались ступать дальше определенных границ. Недалеко было еще то время, когда телеги мусорщиков, с высоты которых Сент-Фуа братался с маркизом де Креки, выгружались просто-напросто в сточные канавы. Очистку труб возлагали на ливни, которые скорее засоряли их, чем промывали. Рим еще окружал свою клоаку известной поэтичностью и называл ее Гемониями; Париж поносил

свою и обзывал ее Вонючей дырой. Она внушала ужас и науке и суеверию. Гигиена относилась к Вонючей дыре с таким же отвращением, как и народные предания. Призрак Черного Монаха впервые появился под сводами зловонного стока Муфтар; трупы мармузетов сбрасывали в сточную яму Бочарной улицы; эпидемию злокачественной лихорадки 1685 года Фагон приписывал водостоку Маре, широкая воронка которого продолжала зиять вплоть до 1833 года на улице Сен-Луи, почти напротив вывески «Галантного вестника». Про отдушину водостока на Камнедробильной улице ходила слава, что оттуда распространялась чумная зараза, загороженная железной решеткой с острыми концами, торчащими как ряд клыков, она словно разевала на этой роковой улице пасть дракона, изрыгающего на людей адский смрад. Народная фантазия связывала мрачную парижскую клоаку со зловещими видениями преисподней. У клоаки нет дна. Клоака – бездонный адский колодец. Полиции в голову не приходило обследовать эти пораженные проказой недра. Кто осмелился бы измерить неведомое, исследовать глубины мрака, отправиться на разведку в бездну? Это внушало ужас. Тем не менее нашелся человек, который вызвался это сделать. У клоаки появился свой Христофор Колумб.

Как-то раз в 1805 году, во время одного из редких наездов императора в Париж, министр внутренних дел, не то Декле, но то Крете, явился на утренний прием повелителя. На площади Карусели слышалось бряцанье волочащихся по земле сабель легендарных солдат великой Республики и великой Империи; у дверей Наполеона толпились герои Рейна, Эско, Адидже и Нила; доблестные соратники Жубера, Десе, Марсо, Гоша, Клебера; воздухоплаватели Флерюса, гренадеры Майнца, понтонеры Генуи, гусары, на которых смотрели пирамиды, артиллеристы, осыпанные осколками ядер Жюно, кирасиры, взявшие приступом флот, стоявший на якоре в заливе Зюдерзее. Одни из них сопровождали Наполеона на Лодийский мост; другие следовали за Мюратом в траншеи Мантуи; третьи обгоняли Ланна по дороге на Монтебелло. Вся армия того времени, представленная здесь отрядом, там взводом собралась во дворе Тюильри, охраняя покой императора: это происходило в ту блистательную эпоху великой армии, когда позади было Маренго, а впереди – Аустерлиц.

– Государь! – сказал Наполеону министр внутренних дел. – Вчера я видел самого бесстрашного человека во владениях вашего величества.

– Кто же это? – резко спросил император. – И что он сделал?

– Он кое-что задумал, государь.

– Что именно?

– Осмотреть водостоки Парижа.

Глава четвертая. Подробности, доселе неизвестные

Осмотр состоялся. Это был тяжелый поход; ночной бой с заразой и удушливыми испарениями. И вместе с тем путешествие, богатое открытиями. Один из участников разведки, толковый рабочий, в ту пору – юноша, рассказывал еще несколько лет назад кое-какие любопытные подробности, которые Брюнзо в донесении префекту полиции счел уместным опустить, как недостойные административного стиля. Способы обеззараживания были в те времена весьма примитивны. Едва успел Брюнзо миновать первые разветвления, сети подземных каналов, как восемь из двадцати его рабочих отказались идти дальше. Предприятие было с южное, осмотр влек за собой и очистку; приходилось и расчищать и производить измерения, отмечать отверстия стоков, считать решетки и смотровые колодцы, устанавливать места разветвлений, указывать точки присоединения новых каналов, обозначать на плане очертания подземных водоемов, измерять глубину мелких притоков главного канала, высчитывать высоту каждого бокового канала до замка свода и его ширину как у начала закругления свода, так и у основания стен, наконец определять уровень притока воды, откуда бы она ни поступала в главный водосток – из боковых ли каналов, или с поверхности земли.

Продвигаться вперед было тяжело. Нередко спущенные вниз лестницы погружались в топкий ил на глубину трех футов. Фонари едва мерцали в ядовитых испарениях. То и дело приходилось уносить потерявших сознание рабочих. В некоторых местах неожиданно открывались пропасти. Грунт там расселся, каменный настил дна обрушился, водосток обратился в бездонный колодец, ноге не на что было опереться; кто-то из спутников Брюнзо вдруг провалился, его вытащили с большим трудом. В местах, достаточно обезвреженных, по совету химика Фуркруа, зажигали, от перехода к переходу, большие клети с просмоленной паклей. Местами стены были покрыты безобразными грибами, похожими на опухоли; даже камни казались больными в этом месте, где нечем было дышать.

Брюнзо в своих изысканиях обследовал всю клоаку от верховья до устья. В месте, где Большой Ворчун разделяется на два водостока, он разобрал на каменном выступе дату «1550»: этот камень указывал границу, где остановился Филибер Делорм, которому Генрих II поручил произвести осмотр подземных свалок Парижа. То была печать XVI века на клоаке; работу XVII века Брюнзо узнал в кладке водостока Понсо и водостока Старой Тампльской улицы, крытых сводами между 1600 и 1650 годами, а работу XVIII – в западной секции канала-коллектора, проложенной и покрытой сводом в 1770 году. Оба эти свода, в особенности менее древний, построенный в 1740 году, гораздо сильнее потрескались и обвалились, чем каменная кладка окружного водостока, проложенного в 1412 году. Это был год, когда ручей родниковой воды из Менильмонтана возвели в достоинство Главной клоаки Парижа, – так мог бы повыситься в чине простой крестьянин, став камердинером короля, или, скажем, Жан-дурак, превратившись в Левеля.

В нескольких местах, в особенности под Дворцом правосудия, было обнаружено нечто вроде старинных темниц, вырытых в самом водостоке. Это были in pace! В одной из таких келий висел железный ошейник Все они были тотчас же замурованы. Среди находок попадались и очень странные, в том числе скелет орангутанга, убежавшего в 1800 году из Зоологического сада; он-то и был, вероятно, тем пресловутым чертом, которого многие видели на улице Бернардинцев в последнем году XIX столетия. Бедняга черт кончил тем, что утопился в клоаке.

Под длинным сводчатым коридором, примыкавшим к Арш-Марион, была найдена прекрасно сохранившаяся корзина тряпичника, вызвавшая удивление знатоков. В топкой грязи, которую рабочие отважно принялись ворошить, всюду попадалось множество ценных вещей, золотых и серебряных украшений, драгоценных камней и монет. Если какому-нибудь великану вздумалось бы процедить эту клоаку, в его сите оказались бы сокровища многих веков. В месте слияния стоков с Тампльской улицы и улицы Сент-Авуа была подобрана любопытная медная медаль гугенотов с изображением на одной стороне свиньи в кардинальской шапке, а на другой – волка в папской тиаре.

Самая поразительная находка была сделана у входа в Главную клоаку. В прежние времена вход был загорожен решеткой Ныне сохранились лишь крюки, на которых она держалась. На одном из крюков, вероятно занесенный потоком, висел, зацепившись за него, безобразный, испачканный кровью, истлевший лоскут. Брюнзо поднес фонарь, чтобы рассмотреть эту тряпку. Она оказалась из тончайшего батиста, и на одном уголке, изодранном меньше других, можно было различить вышитую геральдическую корону над следующими шестью буквами: ЛОБЕСП… Корона была короной маркиза, а шесть букв означали Лобеспин. Оказалось, что у них перед глазами находился лоскут от савана Марата. В юности у Марата бывали любовные приключения. Они относились к тому времени, когда он служил при дворе графа д'Артуа в качестве лекаря при конюшнях. От любовной связи с одной знатной дамой у него осталась эта простыня, то ли случайно забытая, то ли подаренная на память. Это было единственное тонкое белье, которое нашлось в доме Марата после его смерти, и его похоронили в этой простыне. Старухи завернули сурового Друга народа в пелены сладострастия, превратив их в погребальные. Брюнзо прошел мимо. Изорванный лоскут оставили на месте, не тронув его. Из презрения или в знак уважения? Марат заслужил и того и другого. Впрочем, печать судьбы

была здесь слишком явственна, чтобы осмелиться на нее посягнуть. К тому же могильные останки подобает оставлять в том месте, какое они сами себе избрали. Все же это была необычайная реликвия. На ней спала маркиза, в ней истлел Марат; она прошла через Пантеон, чтобы достаться крысам клоаки. Обрывок альковной ткани, которую с таким веселым изяществом изобразил бы некогда Ватто, кончил тем, что стал достойным пристального взгляда Данте.

Тщательный осмотр всех подземных свалок нечистот Парижа продолжался целых семь лет, с 1805 по 1812 год. Продвигаясь вперед, Брюнзо вместе с тем намечал, производил и завершал важные земляные работы: в 1808 году он понизил дно водостока Понсо, в 1809, прокладывая всюду новые линии, продолжил сточный канал под улицей Сен-Дени, вплоть до фонтана Инносан; в 1810 он прорыл водосток под улицами Фруаманто и Сальпетриер; в 1811 – под Новой Мало-Августинской улицей, улицей Майль, улицей Эшарп, под Королевской площадью; в 1812 – под улицей Мира и Шоссе д'Антен. Вдобавок он руководил дезинфекцией и очисткой всей сети. На втором году работ Брюнзо взял себе в помощники своего зятя Нарго.

Вот каким образом в начале нынешнего столетия общество выгребало свое двойное дно и приводило в порядок свои клоаки. Так или иначе, но грязь была вычищена.

Извилистая, растрескавшаяся, развороченная, облупившаяся, изрытая ямами, вся в причудливых поворотах, с беспорядочными подъемами и спусками, зловонная, дикая, угрюмая, затопленная мраком, со шрамами на каменных плитах дна и с рубцами на стенах, страшная – такова была, если оглянуться в прошлое, древняя клоака Парижа. Развилины во все стороны, перекрестки коридоров, разветвления – то в виде гусиных лапок, то звездообразные – словно в подкопах, тупики, похожие на отросток слепой кишки, пропитанные селитрой своды, смрадные отстойники, мокрые лишаи на стенах, капли, падающие с потолка, кромешная тьма. Ничто не могло сравниться по ужасу с этим древним склепом-очистителем, с этим пищеварительным трактом Вавилона, пещерой, ямой, пересеченной улицами, бездной, необъятной кротовой норой, где вам чудится, будто во мраке, среди мерзких отбросов прежнего великолепия, бродит огромный слепой крот – прошедшее.

Такова, повторяем, была клоака былых времен.

Глава пятая.
Прогресс в настоящем

В наше время клоака опрятна, строга, выпрямлена, благопристойна. Она почти олицетворяет идеал, обозначаемый в Англии словом «респектабельный». У нее приличный вид, она сероватого цвета, вытянута в струнку и, если можно так выразиться, одета с иголочки. Она похожа на человека, который из купцов вдруг вышел в тайные советники. Там почти совсем светло. Там даже грязь держится чинно. На первый взгляд клоаку легко принять за один из подземных ходов, столь распространенных встарь и столь удобных для бегства монархов и принцев в доброе старое время, «когда народ так обожал своих государей». Нынешняя клоака, пожалуй, даже красива: там царит чистота стиля. Классический прямолинейный александрийский стиль, изгнанный из поэзии и как будто нашедший прибежище в архитектуре, заметен там в каждом камне длинного, мрачного, белесоватого свода; каждый сточный канал кажется аркадой – архитектура улицы Риволи наложила отпечаток даже на недра клоаки. К тому же если геометрические линии где-нибудь и уместны, то именно в каналах, выводящих нечистоты большого города. Там все должно быть подчинено соображениям кратчайшего расстояния. Клоака наших дней приобрела официальный вид. Даже в полицейских отчетах, где она зачастую упоминается, о ней говорится с оттенком уважения. Административный язык применяет к ней выражения возвышенные и благопристойные. То, что называлось когда-то кишкой, именуется галереей, что называлось дырой, зовется смотровым колодцем. Вийон не узнал бы своего бывшего ночного пристанища. Правда, эта запутанная сеть подземелий по-прежнему и более чем когда-либо заселена

грызунами, кишащими там с незапамятных времен, и теперь еще иной раз почтенная усатая крыса, отважившись высунуть голову в отдушину клоаки, разглядывает парижан; но даже эти гады мало-помалу становятся ручными, настолько они довольны своим подземным дворцом. Клоака совершенно потеряла первобытный дикий облик былых времен. Дождь, некогда загрязнявший водостоки, теперь промывает их. Не слишком доверяйте им, однако. Не забывайте о вредных испарениях. Клоака скорее ханжа, чем праведник. Напрасно стараются префектура полиции и санитарные комиссии. Вопреки всем ухищрениям ассенизации, клоака издает какой-то подозрительный запах, точно Тартюф после исповеди.

Как бы то ни было, выметая сор, клоака оказывает услугу цивилизации, а так как с этой точки зрения совесть Тартюфа – большой прогресс в сравнении с Авгиевыми конюшнями, то нельзя не признать, что клоака Парижа, несомненно, усовершенствовалась.

Это больше чем прогресс: это превращение древней клоаки в клоаку нашего времени. В ее истории произошел переворот. Кто же произвел этот переворот?

Человек, которого все позабыли и которого мы только что назвали: Брюнзо.

Глава шестая.
Прогресс в будущем

Прорыть водостоки Парижа было далеко не легкой задачей. За десять веков вплоть до наших дней не удалось закончить эту работу, так же как не удалось достроить Париж. В самом деле, – ведь на клоаке отражаются все этапы роста Парижа. Это как бы мрачный подземный полип с тысячью щупалец, который растет в глубине одновременно с городом, растущим наверху. Всякий раз, как город прокладывает новую улицу, клоака вытягивает новую лапу. При старой династии было проложено всего лишь двадцать три тысячи триста метров – так обстояло дело в Париже к 1 января 1806 года. Начиная с этой эпохи, к которой мы еще вернемся, работы возобновились и продолжались энергично и успешно. Наполеон – цифры и эти крайне любопытны – провел четыре тысячи восемьсот четыре метра водосточных труб; Людовик XVIII – пять тысяч семьсот девять; Карл X – десять тысяч восемьсот тридцать шесть; Луи-Филипп – восемьдесят девять тысяч двадцать; республика 1848 года – двадцать три тысячи триста восемьдесят один; нынешнее правительство – семьдесят тысяч пятьсот. В итоге до настоящего времени проложено двести двадцать шесть тысяч шестьсот десять метров, другими словами, шестьдесят миль сточных труб – так необъятна утроба Парижа. Невидимая ветвистая поросль, непрерывно увеличивающаяся; гигантское невидимое сооружение.

Итак, в наши дни подземный лабиринт Парижа разросся больше чем вдесятеро против того, каким он был в начале столетия. Трудно представить себе, сколько настойчивости и усилий потребовалось, чтобы довести клоаку до того относительного совершенства, какого она достигла. Прежние королевские городские ведомства, – а в последнее десятилетие XVIII века и революционная мэрия, – с большим трудом завершили бурение тех пяти миль водостока, который существовал до 1806 года. Это предприятие тормозили всевозможные трудности: одни были связаны с особенностями грунта, другие – со старыми предрассудками, укоренившимися среди рабочего люда Парижа. Париж построен на земле, до странности неподатливой для заступа и мотыги, земляного бура и человеческой руки. Нет ничего труднее, чем пробить и просверлить ту геологическую формацию, на которой покоится великолепная историческая формация, именуемая Парижем; только человек задумает каким-либо образом углубиться и проникнуть в эти наносные пласты, перед ним тотчас же возникают бесчисленные, скрытые в земле препятствия. То это жидкий глинозем, то подземные родники, то твердая горная порода, то вязкий и топкий ил, прозванный на профессиональном языке «горчицей». Кирка с трудом пробивается сквозь известняки, чередующиеся с тончайшими жилками глины, сквозь пласты сланца, в толщу которых вкраплены окаменелые раковины улиток, современниц доисторических океанов. Иногда сквозь недостроенный свод вдруг прорывается ручей и затопляет рабочих, иногда осыпь рухляка пробивает себе дорогу и

обрушивается вниз с яростью водопада, дробя, как стекло, массивные балки креплений. Совсем еще недавно, когда понадобилось провести в Вильете водосток под каналом Сен-Мартен, не прерывая навигации и не осушая канала, в ложе канала внезапно образовалась трещина, и вода хлынула в подземную шахту с такой силой, что водоотливные насосы оказались беспомощны; пришлось посылать на поиски водолаза, – тот обнаружил трещину в устье канала и с большим трудом заделал ее. Помимо этого, как по берегам Сены, так и довольно далеко от реки, например в Бельвиле, под Большой улицей и пассажем Люньер, встречаются зыбучие пески, которые могут засосать и поглотить человека на ваших глазах. Добавьте к этому вредные испарения, вызывающие удушье, оползни, погребающие заживо, внезапные обвалы. Добавьте также гнилую лихорадку, которой рано или поздно заболевают все работающие в подземных стоках. Не так давно руководил этой работой Монно. Он прорыл подземный ход Клиши с лотками для приема вод главного трубопровода Урк, производя работы в траншее на глубине десяти метров; борясь с оползнями при помощи котлованов, зачастую в гнилостных грунтах, и подпорных стоек, он покрыл сводом русло Бьевры от Госпитального бульвара до самой Сены; для отведения от Парижа потоков воды с Монмартра и спуска проточной лужи площадью в девять гектаров у заставы Мучеников он проложил длинную линию водостоков от Белой заставы до дороги на Обервилье, работая в течение четырех месяцев, днем и ночью, на глубине одиннадцати метров; после того как – вещь до сей поры неслыханная! – он соорудил без открытых траншей, на глубине шести метров под землей, водосток улицы Бардю-Бек, – он умер. Вслед за ним, покрыв сводом три тысячи метров водостока во всех районах города, от улицы Траверсьер-Сент-Антуан до улицы Лурсин, спустив через боковой канал под Самострельной улицей дождевые воды, затопляющие перекресток Податной улицы и улицы Муфтар, построив далее в зыбучих песках на подводном фундаменте из камня и бетона водосток Сен-Жорж, проведя затем опасные работы, связанные с понижением дна в ответвлении под улицей Назаретской Богоматери, – умер инженер Дюло. У нас не публикуют сообщений о смелых подвигах подобного рода, хотя они приносят больше пользы, чем бессмысленная резня на полях сражений.

В 1832 году парижская клоака сильно отличалась от нынешней. Брюнзо дал делу первый толчок, но надо было появиться холере, чтобы городские власти предприняли коренное переустройство водостоков, которое и осуществляется с той поры вплоть до наших дней. Как это ни удивительно, но в 1821 году, например, часть окружного водостока, так называемого Большого канала, полного гниющей жижи, пролегала еще по улице Гурд под открытым небом, точно в Венеции. И лишь в 1823 году город Париж раскошелился на двести шестьдесят шесть тысяч восемьдесят франков шесть сантимов, чтобы прикрыть этот срам. Три сточных колодца на улицах Битвы, Кюветной и Сен-Мандэ, снабженных сточными желобами, вытяжными трубами, отстойниками с их очистными разветвлениями, сооружены только в 1836 году. Кишечный тракт Парижа был заново переустроен и, как мы уже говорили, на протяжении четверти века разросся более чем вдесятеро.

Тридцать лет назад, в дни вооруженного восстания 5 и 6 июня, клоака почти всюду еще сохраняла свой прежний вид. На многих улицах, на месте нынешних выпуклых мостовых, были тогда вогнутые булыжные мостовые. В самой низкой точке, куда приводил уклон улицы или перекрестка, часто попадались широкие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами прохожих, скользкие и опасные для экипажей, так как лошади спотыкались на них и падали. На официальном языке дорожного ведомства этим низким точкам и решеткам было присвоено выразительное название clissis[11]. Еще в 1832 году на множестве улиц – как, например, на улице Звезды, Сен-Луи, Тампльской, Старой Тампльской, Назаретской Богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улице Малая Кабарга, Нормандской, Олений мост, Маре, в предместье Сен-Мартен, на улице Богоматери-победительницы, в предместье Монмартр, на улице Гранж-Бательер, в Елисейских полях, на улице Жакоб, на улице Турнон – старая средневековая клоака цинично разевала

свою пасть. Это были громадные зияющие дыры, обложенные необтесанным камнем и кое-где с наглым бесстыдством огороженные кругом тумбами.

Парижские водостоки 1806 года еще почти не превышали в длину установленной в мае 1663 года цифры: пяти тысяч трехсот двадцати восьми туаз. На 1 января 1832 года, после Брюнзо, они достигли сорока тысяч трехсот метров. С 1806 по 1831 год ежегодно прокладывали в среднем семьсот пятьдесят метров сточных труб; с тех пор каждый год сооружали от восьми до десяти тысяч метров подземных туннелей из мелкого гравия, скрепленного известковым гидравлическим раствором, на бетонном основании. Считая по двести франков на метр, шестьдесят миль сточных труб современного Парижа обошлись ему в сорок восемь миллионов.

Помимо отмеченного нами в самом начале экономического прогресса, с серьезной проблемой парижской клоаки связаны также и важные вопросы общественной гигиены.

Париж лежит меж двумя слоями: пеленой воды и пеленой воздуха. Водная пелена, хоть и простертая довольно глубоко под землей, но уже дважды исследованная бурением, покоится на слое зеленого песчаника, залегающего между меловыми пластами и известняком юрского периода. Этот слой можно изобразить в виде диска, радиусом в двадцать пять миль; туда просачивается множество рек и ручьев; из стакана воды, взятой в колодце Гренель, вы пьете воду Сены, Марны, Ионны, Уазы, Эны, Шера, Вьены и Луары. Водная пелена целебна, она образуется сначала в небе, потом в недрах земли; воздушная пелена вредоносна, она впитывает гнилые испарения. Все миазмы клоаки смешиваются с воздухом, которым дышит город; потому-то у него такое нездоровое дыхание. Воздух, взятый на пробу над навозной кучей, – это доказано наукой, – гораздо чище, чем воздух над Парижем. Настанет время, когда благодаря успехам прогресса, научным и техническим усовершенствованиям водная пелена поможет очистить пелену воздушную, – иными словами, поможет промыть водостоки. Как известно, под промывкой водостоков мы подразумеваем отведение нечистот в землю, унавоживание почвы и удобрение полей. Это простое мероприятие повлечет за собой облегчение нужды и приток здоровья для всего города. Теперь же болезни Парижа распространяются на пятьдесят миль в окружности, если принять Лувр за ступицу этого чумного колеса.

Мы могли бы сказать, что вот уже десять веков клоака – это дурная болезнь Парижа. Сточные воды – отрава в крови города. Народное чутье никогда не обманывалось на этот счет. Ремесло золотаря в прежние времена считалось в народе столь же опасным и почти столь же омерзительным, как ремесло живодера, которое так долго внушало отвращение и предоставлялось палачу. Только за большие деньги каменщик соглашался спуститься в этот зловонный ров; землекоп лишь после долгих колебаний решался погрузить туда свою лестницу; поговорка гласила: «В сточную яму сойти, что в могилу войти». Как мы уже говорили, зловещие, вселявшие ужас легенды окружали эту бездонную канаву, эту опасную подземную трущобу, хранящую отпечаток геологических эр и революционных переворотов, хранящую следы всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопа и кончая лоскутом от савана Марата.

Книга третья

Грязь, побежденная силой духа

Глава первая.

Клоака и ее неожиданности

В этой самой парижской клоаке и очутился Жан Вальжан.

Еще одна черта между Парижем и морем. Там человек может исчезнуть бесследно, словно пловец в океанских глубинах.

Переход был ошеломляющим. В самом центре города Жан Вальжан скрылся из города и в мгновение ока, лишь приподняв и захлопнув крышку, перешел от дневного света к

непроглядному мраку, от полудня к полуночи, от шума к тишине, от вихря и грома к покою гробницы и, благодаря еще более чудесному повороту судьбы, чем на улице Полонсо, – от неминуемой гибели к полной безопасности.

Вдруг провалиться в подземелье, исчезнуть в каменном тайнике Парижа, сменить улицу, где повсюду рыскала смерть, на склеп, где теплилась жизнь, – это была необыкновенная минута. Некоторое время он стоял, словно оглушенный, и с изумлением прислушивался. Под его ногами внезапно разверзлась спасительная западня. Небесное милосердие укрыло его, так сказать, обманным путем. Благословенная ловушка, уготованная провидением!

Между тем раненый оставался недвижим, и Жан Вальжан не знал, живого или мертвеца унес он с собой в эту могилу.

Первым его ощущением была полная слепота. Он вдруг перестал видеть. Ему показалось также, что он сразу оглох. Он ничего не слышал. Яростный смерч побоища, бушевавший в нескольких футах над его головой, доносился до него сквозь отделявшую его толщу земли глухо и неясно, как смутный гул. Он ощущал под ногами твердую почву – вот и все, но этого было достаточно. Он протянул одну руку, затем другую, с обеих сторон наткнулся на стену и понял, что находится в узком коридоре, он поскользнулся и понял, что каменный пол залит водой. Он осторожно ступил вперед одной ногой, опасаясь какого-нибудь провала, колодца, бездонной ямы, и убедился, что каменный настил тянется дальше. На него пахнуло зловонием, и он догадался, где он.

Через несколько секунд слепота прошла. Сквозь отдушину смотрового колодца, куда он спустился, проникало немного света, и его глаза скоро привыкли к этим сумеркам. Он начинал различать кое-что вокруг. Подземный ход, где он похоронил себя, – никаким словом не обрисуешь лучше его положения, – был замурован позади и оказался одним из тупиков, называемых на профессиональном языке «тупиковой веткой». Впереди ему преграждала путь другая стена – стена ночного мрака. Луч, падавший из отдушины, угасал в десяти-двенадцати шагах от Жана Вальжана, озаряя тусклым белесоватым светом всего лишь несколько метров мокрой стены водостока. Дальше стояла сплошная тьма; вступить в нее казалось страшным, чудилось, что она поглотит вас навеки. Однако пробиться сквозь эту стену мрака было возможно и даже необходимо. Мало того, надо было спешить. Жану Вальжану пришло в голову, что если он заметил решетку под булыжниками, ее могли заметить и солдаты и что все зависело от случайности. Солдаты тоже могут спуститься в колодец и обыскать его. Нельзя терять ни минуты. Опустив было Мариуса наземь, он снова поднял его, взвалил себе на плечи и пустился в путь. Он смело шагнул в темноту.

На самом деле они были совсем не так близки к спасению, как думал Жан Вальжан. Их подстерегали опасности другого рода и, быть может, не меньшие. Вместо пылающего вихря битвы – пещера, полная миазмов и ловушек, вместо хаоса – клоака. Из одного круга ада Жан Вальжан попал в другой.

Пройдя полсотни шагов, он принужден был остановиться. Перед ним возник вопрос. Подземный коридор упирался в другой, пересекавший его поперек. Отсюда расходились два пути. Который же избрать? Свернуть налево или направо? Как разобраться в черном лабиринте? У этого лабиринта, как мы отметили выше, была одна путеводная нить – его естественный уклон. Следовать уклону, значило спускаться к реке.

Жан Вальжан понял это сразу.

Он решил, что находится, вероятно, в водостоке Центрального рынка, что, выбрав левый путь и следуя под уклон, он может меньше чем в четверть часа добраться до одного из отверстий, выходящих к Сене между мостами Менял и Новым, иными словами, он рискует очутиться среди бела дня в самом многолюдном районе Парижа. Возможно также, что этот путь приведет его к смотровому колодцу на каком-нибудь перекрестке. Он представил себе испуг прохожих при виде двух окровавленных людей, выходящих прямо из земли у них под

ногами. Прибегут полицейские, вооруженная стража из ближайшей караульной. И их схватят прежде, чем они успеют выбраться на поверхность. Лучше уж углубиться в дебри лабиринта, довериться темноте, а в остальном положиться на волю провидения.

Он начал подниматься вверх, направо.

Как только он повернул за угол галереи, слабый отдаленный свет из отдушины исчез, над ним опустилась завеса тьмы, и он опять ослеп. Это не мешало ему продвигаться вперед так быстро, как только он мог. Руки Мариуса были перекинуты вперед, по обеим сторонам его шеи, а ноги висели за спиной. Одной рукой он сжимал руки юноши, а другой ощупывал стену. Щека Мариуса касалась его щеки и прилипала к ней, так как была вся в крови. Он чувствовал, как текли по нему и пропитывали его одежду теплые струйки крови, бежавшие из ран Мариуса. Однако влажная теплота у самого уха, которой веяло от уст раненого, указывала, что Мариус дышит и, следовательно, еще жив. Коридор, куда свернул Жан Вальжан, был шире предыдущего. Идти становилось довольно тяжело. Оставшаяся от вчерашнего ливня вода образовала ручеек, бежавший посреди водостока, так что Жан Вальжан принужден был держаться стены, чтобы не ступать по воде. Угрюмо брел он вперед. Он походил на те порожденные ночью существа, что движутся ощупью, затерянные в подземных шахтах мрака.

Между тем мало-помалу, потому ли, что из дальних отдушин пробивался в Густую мглу слабый мерцающий свет, потому ли, что глаза Жана Вальжана привыкли к темноте, зрение отчасти вернулось к нему, и он начал смутно различать то стену, которую задевал плечом, то свод, под которым проходил. Зрачок расширяется в темноте и в конце концов видит в ней свет подобно тому, как душа вырастает в страданиях и познает в них бога.

Выбирать дорогу становилось все труднее. Направление сточных труб как бы отражает направление улиц, над ними расположенных. Париж того времени насчитывал две тысячи двести улиц. Попробуйте представить себе под ними темную чащу переплетенных ветвей, называемую клоакой. Существовавшая в те годы сеть водостоков, если вытянуть ее в длину, достигла бы одиннадцати миль. Мы уже говорили, что благодаря подземным работам последнего тридцатилетия теперь эта сеть – не менее шестидесяти миль длиной.

Жан Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, но, к сожалению, это было не так. Под улицей Сен-Дени залегает древний каменный водосток времен Людовика XIII, который ведет прямо к каналу-коллектору, называемому Главной клоакой, с единственным поворотом направо, на уровне прежнего Двора чудес, и единственным разветвлением под улицей Сен-Мартен, где пересекаются крест-накрест четыре линии стоков. Что же касается трубы Малой Бродяжной, со входным отверстием возле кабачка «Коринф», то она никогда не сообщалась с подземельем улицы Сен-Дени, а впадала в клоаку Монмартра; там-то и очутился Жан Вальжан. Здесь было очень легко заблудиться: клоака Монмартра – одно из самых сложных переплетений старой сети. По счастью, Жан Вальжан прошел стороной водостоки рынков, напоминавшие своими очертаниями на плане целый лес перепутанных корабельных снастей; однако ему предстояло еще немало опасностей, немало уличных перекрестков, – ведь под землей те же улицы, – выраставших перед ним во мгле вопросительным знаком. Во-первых, налево лежала обширная клоака Платриер, настоящая китайская головоломка, простирающая свою хаотическую путаницу стоков в виде букв T и Z под Почтовым управлением и под ротондой Хлебного рынка до самой Сены, где она заканчивается в форме буквы Y. Во-вторых, направо – изогнутый туннель Часовой улицы с тремя тупиками, похожими на когти. В-третьих, опять-таки налево, – ответвление под улицей Майль, которое, почти сразу расходясь какой-то развилиной, спускаясь зигзагами, впадает в большое подземелье-отстойник под Лувром, изрезанное и разветвленное во всех направлениях. Наконец, за последним поворотом направо – глухой тупик улицы Постников, не считая мелких закоулков, то и дело попадающихся на пути к окружному каналу, который один только и мог привести его к выходу в какое-либо отдаленное и, стало быть, безопасное место.

Если бы Жан Вальжан имел хоть малейшее понятие обо всем этом, он сразу догадался бы, проведя рукой по стене, что он отнюдь не в подземной галерее улицы Сен-Дени. Вместо старого, тесаного камня, вместо древней архитектуры, сохранившей даже в клоаке горделивое величие, с полом и стенами крепчайшей продольной кладки из гранита, цементированного известковым раствором, ценой в восемьсот ливров за одну туазу, он нащупал бы современную дешевку, экономный строительный материал буржуа, короче говоря, «труху», то есть ноздреватый известняк на гидравлическом растворе, на бетонном основании, ценой всего двести франков за метр. Но Жан Вальжан ничего этого не знал.

Он шел прямо вперед, с тревогой в душе, ничего не видя, ничего не зная, положившись на случай, иначе говоря, вверив свою судьбу провидению.

Мало-помалу им овладевал ужас. Нависший над ним мрак проникал ему в душу. Он брел наугад среди неведомого. Сеть клоаки вероломна, она полна головокружительных переплетений. Горе тому, кто попал в эту преисподнюю Парижа. Жану Вальжану приходилось отыскивать и даже изобретать дорогу, не видя ее. В этой неизвестности каждый шаг, на который он отваживался, мог стать его последним шагом. Как ему выбраться отсюда? Найдет ли он выход и успеет ли найти его вовремя? Позволит ли эта гигантская подземная губка, вся в каменных ячейках, проникнуть в себя и пробиться наружу? Не подстерегает ли его во тьме какая-нибудь неожиданность, какое-нибудь непреодолимое препятствие? Неужели Мариусу грозит смерть от потери крови, а ему от голода? Неужели им обоим суждено погибнуть здесь, и от них останутся только два скелета где-нибудь в закоулке, среди вечной ночи? Кто знает! Он задавал себе эти вопросы и не находил ответа. Утроба Парижа – бездонная пропасть. Подобно древнему пророку, он находился во чреве чудовища.

И вдруг его поразила одна странность. Шагая напрямик, все вперед и вперед, он внезапно почувствовал, что больше не поднимается; течением ручья его било по ногам сзади, вместо того чтобы заливать носки его башмаков. Теперь водосток спускался под гору. Почему? Неужели он выйдет сейчас к берегам Сены? Это грозило большой опасностью, но возвращаться назад было еще опаснее. Он продолжал идти вперед.

Однако путь его вел совсем не к Сене. С двускатного бугра правобережного Парижа сточные воды сбрасываются по обоим его уклонам – в Сену и в Главную клоаку. Гребень этого бугра, служащего водоразделом, изгибается самым прихотливым образом. Высшая точка, откуда разбегаются водостоки, находится в клоаке Сент-Авуа, за улицей Мишель-ле-Конт, в клоаке Лувра, около бульваров, и в клоаке Монмартра, возле Центрального рынка. Эту высшую точку гребня и миновал Жан Вальжан. Он спускался теперь к окружному каналу; сам того не подозревая, он был на правильном пути.

Достигнув поворота, он всякий раз ощупывал углы, и если обнаруживал, что новый проход уже прежнего коридора, он не сворачивал туда, а продолжал идти прямо, справедливо полагая, что каждый узкий ход неминуемо заведет его в тупик и только отдалит от цели, то есть от выхода на свет. Таким образом, ему четыре раза удалось избежать западни, расставленной для него во тьме в виде четырех перечисленных нами лабиринтов.

И вдруг он почувствовал, что уже миновал кварталы Парижа, где все замерло от страха перед восстанием, где баррикады преградили уличное движение, и что он вступает под улицы обычного, живого Парижа. Над его головой раздавался немолчный гул, как бы отдаленные раскаты грома Это катились колеса экипажей.

По его расчету, он шел уже около получаса, но даже и не думал об отдыхе; он только переменил руку, которой поддерживал Мариуса. Мрак все сгущался, но именно это и успокаивало его.

Внезапно прямо перед ним легла его тень. Она вырисовывалась на каменных плитах пола; слабый, едва различимый багровый отблеск, слегка окрасивший камень у него под ногами и

своды над головой, дрожал справа и слева по осклизлым стенам туннеля. Он в изумлении обернулся.

Позади него, в конце коридора, на огромном, как ему казалось, расстоянии, пронизывая густую мглу, пылала зловещая звезда, точно устремленный на него глаз.

Это было полицейское око – мрачное светило подземных трущоб.

За этой звездой колыхались восемь или десять черных теней, длинных, зыбких, угрожающих.

Глава вторая.
Пояснение

Днем 6 июня в водостоках было приказано произвести облаву. Из опасения, как бы клоака не послужила убежищем для побежденных, префекту полиции Жиске поручили обыскать Париж подземный; пока генерал Бюжо очищал Париж наземный; эта двойная согласованная операция требовала двойной стратегии от государственной власти, представленной наверху войсками, внизу – полицией. Три отряда агентов и рабочих клоаки обследовали вдоль и поперек подземную свалку Парижа, один – вдоль правого берега Сены, другой – вдоль левого, третий – в центральной части города.

Полицейских вооружили карабинами, дубинками, саблями и кинжалами.

Луч света, направленный в этот миг на Жана Вальжана, исходил из фонаря полицейского дозора, проверявшего правый берег.

Дозор только что обошел кривую галерею с тремя тупиками, расположенную под Часовой улицей. Пока они обшаривали с фонарем все закоулки этих тупиков, Жан Вальжан набрел на вход в галерею, обнаружил, что она гораздо уже главного коридора, и не свернул в нее. Он прошел мимо. На обратном пути из галереи под Часовой улицей полицейским почудился звук шагов, удалявшихся в сторону окружного канала Это и были шаги Жана Вальжана. Сержант, начальник дозора, поднял фонарь, и весь отряд начал всматриваться в туман, в направлении, откуда слышался шум.

Для Жана Вальжана это была невыразимо страшная минута.

По счастью, он хорошо видел фонарь, а фонарь освещал его плохо. Фонарь был светом, Жан Вальжан – тенью. Он был очень далеко, он сливался с окружающей мглой. Он прижался к стене и застыл на месте.

Впрочем, он не вполне отдавал себе отчет в том, что за тени движутся там, позади. От бессонницы, голода, волнения он был как в бреду. Ему мерещилось пламя и вокруг пламени какие то привидения. Что это было? Он не понимал.

Когда Жан Вальжан остановился, шум затих.

Дозорные прислушивались, но ничего не слышали, всматривались, но ничего не видели. Они стали совещаться.

В ту пору в водостоке Монмартра на этом месте находился так называемый «служебный перекресток», уничтоженный впоследствии из за небольшого озерка: туда стекали потоки дождевой воды, скоплявшейся там во время сильных ливней. Весь отряд мог разместиться на этой площадке.

Жан Вальжан увидел, что призраки собрались в круг. Их головы, напоминавшие бульдожьи морды, придвинулись ближе друг к другу. Призраки, как видно, шептались.

Наконец совещание сторожевых псов закончилось, они решили, что ошиблись, что шум только почудился им, что там ни души и нет смысла идти по окружному каналу, – это будет напрасная трата времени, напротив, надо спешить в сторону Сен-Мерри, если их помощь понадобится, если вдастся выследить какого-нибудь «смутьяна», то именно в этом квартале.

Время от времени партии прибивают новые подметки к изношенным бранным кличкам своих противников. В 1832 году слово «смутьян» заменило затертое уже слово «якобинец», а прозвище «демагог», тогда еще неупотребительное, превосходно сослужило службу впоследствии.

Сержант скомандовал свернуть налево, вниз к Сене. Если бы им пришло в голову разделиться на две группы и пойти по двум направлениям, то Жан Вальжан был бы неминуемо схвачен. Его судьба висела на волоске. Однако вполне вероятно, что, предвидя возможность стычек и большею численность повстанцев, префектура полиции в своих инструкциях запретила дозорам разбиваться на группы. Итак, дозор пустился в путь, оставив Жана Вальжана у себя в тылу. Из всего происшедшего до Жана Вальжана дошло лишь то, что фонарь, круто повернув в сторону, вдруг померк.

Для очистки своей полицейской совести сержант перед уходом разрядил карабин в сторону, оставленною без проверки, то есть туда, где находился Жан Вальжан. Грохот выстрела многократным эхом раскатился по галереям казалось, забурчала вся эта необъятная утроба. Кусок штукатурки обвалился в ручей и расплескал воду в нескольких шагах от Жана Вальжана, он понял, что пуля ударила в свод над его головой. Мерные, неторопливые шаги еще некоторое время гулко раздавались на каменных плитах и, постепенно удаляясь, затихли, группа черных теней углубилась во тьму, мерцающий свет фонаря, колеблясь и дрожа, отбрасывал на своды красноватый полукруг, который все уменьшался и наконец совсем погас. Снова наступила глубокая тишина, снова спустилась непроницаемая тьма, снова воцарилась слепая и глухая ночь. А Жан Вальжан долго еще стоял, прислонясь к стене, не смея пошевелиться, настороженный, с расширенными зрачками, глядя, как исчезал вдалеке этот патруль привидений.

Глава третья.
Человек, которого выслеживают

Надо отдать справедливость полиции того времени: даже в самой сложной политической обстановке она неуклонно исполняла свои обязанности надзора и слежки. В ее глазах восстание вовсе не давало повода предоставить преступникам свободу действий и бросить общество на произвол судьбы только потому, что правительство находится в опасности. Повседневная работа полиции шла своим чередом наряду с особыми заданиями, не нарушая своего хода. В самый разгар развернувшихся политических событий, последствия которых трудно было предугадать, но которые могли привести к революции, полицейский агент, не отвлекаясь ни восстанием, ни баррикадами, продолжал вести слежку.

Нечто в этом роде и происходило 6 июня после полудня возле откоса набережной на правом берегу Сены, неподалеку от моста Инвалидов.

В наши дни там уже нет берегового откоса. Вид местности сильно изменился.

Два человека шли вдоль откоса, поодаль один от другого, как будто избегая и вместе с тем украдкой наблюдая друг за другом. Тот, кто шел впереди, старался скрыться, а идущий сзади старался нагнать его.

Это напоминало шахматную партию, которую игроки ведут молча и на далеком расстоянии. Казалось, ни один из них не спешил: оба шли медленно, точно каждый опасался, что, заторопившись, вынудит другого прибавить шагу.

Можно было подумать, будто хищник преследует добычу, ловко скрывая свои намерения. Но добыча не вдавалась в обман и держалась настороже.

Необходимое соотношение сил между загнанной куницей и гончей собакой здесь было соблюдено. Тот, кто убегал, был тщедушен и жалок с виду, тот, кто преследовал, – высокий, здоровый мужчина, – был силен и, должно быть, жесток в схватке.

Первый, чувствуя себя слабее, очевидно, старался уйти от второго, но убегал в бессильной ярости; наблюдая за ним, вы могли бы заметить в его взгляде и мрачную злобу затравленного зверя, и угрозу, и страх.

Берег был безлюден: не попадалось ни прохожих, ни лодочников, ни грузчиков на пришвартованных к причалу баржах.

Обоих пешеходов можно было разглядеть как следует только с самой набережной, и всякому, кто следил бы за ними на таком расстоянии, первый показался бы обтрепанным, подозрительным оборванцем, испуганным и дрожащим от холода в дырявой блузе, а второй – почтенным должностным лицом в наглухо застегнутом форменном сюртуке.

Читатель, может быть, и узнал бы этих двух людей, если бы увидел их поближе.

Какова была цель второго?

По всей вероятности, одеть первого потеплее.

Когда человек в казенном мундире преследует человека в лохмотьях, обычно он стремится и его тоже облачить в казенную одежду. Весь вопрос в цвете. Быть одетым в синее – почетно, быть одетым в красное – позорно.

Существует пурпур общественного дна.

Именно от такой неприятности и от пурпура такого рода, вероятно, и стремился ускользнуть первый прохожий.

То, что второй позволял ему идти вперед и до сих пор не схватил, объяснялось, по всей видимости, надеждой выследить какое-нибудь важное свидание или накрыть целую шайку сообщников. Такая щекотливая работа и называется слежкой.

Эту догадку подтверждает то, что человек в застегнутом сюртуке, заметив с берега порожний экипаж, проезжавший наверху по набережной, подал знак извозчику, извозчик, очевидно, сразу сообразил, с кем имеет дело, круто повернул и поехал шагом по набережной, следом за двумя пешеходами. Подозрительный оборванец, шедший впереди, не заметил этого.

Фиакр катился под деревьями Елисейских полей. Над парапетом мелькали голова и плечи извозчика с кнутом в руке.

В секретном предписании полицейским агентам имеется следующий параграф: «Всегда иметь под рукой наемный экипаж на всякий случай».

Два человека, маневрируя каждый по всем правилам стратегии, приблизились к пологому скату набережной, по которому в те времена извозчики, ехавшие из Пасси, могли спускаться к реке и поить лошадей. Впоследствии этот удобный спуск был уничтожен ради симметрии, пусть лошади дохнут от жажды, зато пейзаж услаждает взоры.

Возможно, что человек в блузе собирался подняться вверх по скату и скрыться в Елисейских полях, где, правда, много деревьев, но зато немало и полицейских, и где преследователь мог рассчитывать на подмогу.

Набережная здесь отстоит совсем недалеко от знаменитого дома, перевезенного в 1824 году из Море в Париж полковником Браком, – так называемого дома Франциска I. А там и караульня рядом.

К большому удивлению преследователя, его поднадзорный и не подумал свернуть к откосу. Он по-прежнему шел вперед вдоль набережной.

Его положение явно становилось отчаянным.

Что ему оставалось делать? Только броситься в Сену.

Здесь он упустил последнюю возможность подняться на набережную: дальше не было ни спуска, ни лестницы. Совсем близко виднелся поворот, образуемый изгибом Сены возле Иенского моста, где берег, постепенно суживаясь, обращался в тоненькую полоску земли и

терялся под водой. Там он неизбежно окажется зажатым со всех сторон: справа ему отрежет путь отвесная стена, слева и спереди – река, с тыла – представитель власти.

Правда, конец береговой косы загораживала от глаз куча щебня, шести или семи футов в высоту, оставшаяся от какого-то снесенного строения. Но неужели бедняга рассчитывал укрыться за кучей мусора, которую так легко обойти кругом? Такая попытка была бы ребячеством. Вряд ли он надеялся на это. Наивность преступников не простирается до таких пределов.

Груда щебня, образуя на берегу нечто вроде пригорка, тянулась высоким мысом до самой стены набережной.

Преследуемый достиг этого холмика и, обогнув его, скрылся из глаз преследователя.

Потеряв его из виду и думая, что его не замечают, преследователь решил отбросить всякое притворство и ускорил шаг. В одну минуту он добежал до кучи щебня и обошел ее кругом. Тут он в изумлении остановился. Человека, за которым он охотился, не оказалось.

Оборванец исчез бесследно.

Берег тянулся за грудой щебня не далее как на тридцать шагов, а затем уходил в воду, плескавшуюся о стену набережной.

Беглец не мог броситься в реку, не мог перелезть через стену незамеченным. Куда же он девался?

Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца береговой косы и остановился в раздумье, стиснув кулаки и внимательно осматриваясь кругом. Внезапно он хлопнул себя по лбу. В том месте, где кончалась береговая коса и начиналась вода, он вдруг заметил под каменным сводом широкую и низкую железную решетку на трех массивных петлях, с тяжелым замком. Эта решетка, нечто вроде двери, пробитой в подножии стены набережной, выходила частью на реку, частью на берег. Из-под решетки вытекал мутный ручей. Ручей впадал в Сену.

За толстыми ржавыми прутьями можно было различить что-то вроде темного сводчатого коридора.

Человек скрестил руки и устремил на решетку негодующий взгляд.

Ничего не добившись взглядом, он принялся толкать и трясти ее, но она держалась крепко. Вполне возможно, что ее недавно отворяли, хотя казалось странным, чтобы такая ржавая решетка не издала никакого скрипа, во всяком случае, несомненно, что ее опять заперли. Стало быть, тот, перед кем отворилась дверь, имел при себе не отмычку, а настоящий ключ.

Очевидность этого факта сразу предстала перед человеком, который пытался расшатать решетку. Он с возмущением воскликнул:

– Это уж чересчур! У него казенный ключ!

Затем он сразу успокоился и выразил нахлынувшие на него мысли в целом залпе односложных восклицаний, звучавших почти насмешливо:

– Так, так, так!

После этого, неизвестно на что рассчитывая-то ли увидеть, как человек выйдет обратно, то ли, как туда войдут другие, – он с терпением ищейки притаился в засаде за кучей щебня.

Извозчик, следивший за всеми его движениями, тоже остановился наверху, у парапета набережной. Предвидя долгую стоянку, кучер слез и подвязал под морды лошадей мешки с овсом, слегка намоченные снизу, – мешки, хорошо знакомые парижанам, которым, заметим в скобках, правительство частенько затыкает рот таким же способом. Редкие прохожие на Иенском мосту оборачивались на мгновение, чтобы взглянуть на эти две неподвижные фигуры – человека на берегу и фиакр на набережной.

Глава четвертая.

Он тоже несет свой крест

Жан Вальжан снова пустился в путь и больше уже не останавливался.

Идти становилось все тяжелее и тяжелее. Высота сводов то и дело менялась; в среднем она достигала приблизительно пяти футов шести дюймов и была рассчитана на человека среднего роста. Жан Вальжан был принужден идти согнувшись, чтобы не ушибить Мариуса о камни свода; каждую минуту ему приходилось то нагибаться, то выпрямляться и все время ощупывать стену. Мокрые камни и скользкие плиты служили плохой точкой опоры как для ног, так и для рук. Он брел, спотыкаясь, в мерзких нечистотах города. Бледные отсветы дня, проникавшие сюда сквозь редкие отдушины, были такие тусклые, что солнечный луч казался лунным. Все остальное было туман, миазмы, темень, ночь. Жана Вальжана мучили голод и жажда, особенно жажда; между тем здесь, точно в море, его окружала вода, а пить было нельзя. Даже его сила, необычайная, как мы знаем, и почти не ослабевшая с годами благодаря строгой и воздержанной жизни, начинала сдавать. Им овладевала усталость, и по мере того как уходили силы, возрастала тяжесть его ноши. Тело Мариуса, быть может бездыханное, повисло на нем со всей тяжестью мертвого груза. Жан Вальжан старался держать его так, чтобы не давить ему на грудь и не стеснять дыхания. Он чувствовал, как у него под ногами проворно шмыгают крысы. Одна из них чуть не укусила его с перепугу. Изредка через входные отверстия сточных труб до него долетало дуновение свежего воздуха, и ему становилось легче.

Было, вероятно, часа три пополудни, когда он дошел до окружного канала.

Прежде всего Жана Вальжана удивил неожиданный простор. Он вдруг очутился в большой галерее, где мог вытянуть обе руки, не натыкаясь на стены, и где его голова не задевала свода. Главный водосток действительно имеет восемь футов в ширину и семь футов в высоту.

В тем месте, где в Главный водосток впадает водосток Монмартра, скрещиваются еще две подземные галереи: Провансальской улицы и Скотобойной. Всякий менее опытный человек растерялся бы здесь, на перекрестке четырех дорог. Жан Вальжан выбрал самый широкий путь, то есть окружной канал. Но тут снова возникал вопрос: спускаться вниз или подниматься в гору? Он подумал, что обстоятельства вынуждают его спешить и что теперь следует во что бы то ни стало дойти до Сены. Другими словами, спускаться вниз. Он повернул налево.

И хорошо сделал. Было бы заблуждением думать, будто окружной канал имеет два выхода, один на Берси, другой на Пасси, и будто, оправдывая свое название, он окружает подземный Париж на правом берегу реки. Главный водосток, представлявший собою, как мы помним, заключенный в трубу ручей Менильмонтан, если подниматься вверх по течению, приведет к тупику, то есть к самому своему истоку – роднику у подошвы холма Менильмонтан. Он не сообщается непосредственно с боковым каналом, который вбирает сточные воды Парижа, начиная с квартала Попенкур, и впадает в Сену через трубы Амло, несколько выше старого острова Лувье. Этот боковой канал, дополняющий канал-коллектор, отделен от него, как раз под улицей Менильмонтан, каменным валом, служащим водоразделом верховья и низовья. Если бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных усилий, изнемогая от усталости, полумертвый, он в конце концов наткнулся бы во мраке на глухую стену. И это был бы конец.

В лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы Сестер страстей господних, не задерживаясь у подземной развилины под перекрестком Бушра и следуя дальше коридором Сен-Луи, затем, свернув налево, проходом Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею Сен-Себастьен, он мог бы достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети стоков, напоминающих букву F и залегающих под Бастилией, а оттуда уже добраться до выхода на Сену, возле Арсенала. Но для этого необходимо было хорошо знать все разветвления и все отверстия громадного звездчатого коралла парижской клоаки. Между тем, повторяем, он совершенно не разбирался в этой ужасной сети дорог, по которой плутал, и если бы спросить его, где он находится, он ответил бы: «В недрах ночи».

Внутреннее чутье не обмануло его. Спуск действительно означал возможность спасения.

Справа от него остались два коридора, которые расходятся кривыми когтями под улицами Лафит и Сен-Жорж, а также длинный раздвоенный канал под Шоссе д'Антен.

Миновав небольшой боковой проход – вероятно, ответвление под улицей Мадлен, – он остановился передохнуть. Он страшно устал. Сквозь довольно широкую отдушину, – по-видимому, смотровой колодец улицы Анжу, – пробивался дневной свет. Жан Вальжан нежным, осторожным движением, словно брат – раненого брата, опустил Мариуса на приступок у стены. Окровавленное лицо Мариуса, озаренное бледным светом, проникавшим через отдушину, казалось лицом мертвеца на дне могилы. Глаза его были закрыты, волосы прилипли к вискам красными склеенными прядями, безжизненные, застывшие руки висели, как плети, в углах губ запеклась кровь. В узле галстука виднелся сгусток крови, складки рубашки запали в открытые раны, сукно сюртука бередило свежие порезы на теле. Осторожно раздвинув кончиками пальцев края одежды, Жан Вальжан приложил руку к его груди; сердце еще билось. Жан Вальжан разорвал свою рубашку, постарался как можно лучше перевязать раны и остановил кровотечение; затем, склонившись в полусвете над бесчувственным и почти бездыханным Мариусом, он устремил на него взгляд, полный смертельной ненависти.

Перевязывая Мариуса, он нашел в его карманах две вещи: забытый со вчерашнего дня кусок хлеба и записную книжку. Он съел хлеб и раскрыл книжку. На первой странице он нашел написанные почерком Мариуса три строчки, о которых помнит читатель:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мое тело деду моему, г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, э 6, в Маре».

Жан Вальжан прочел эти три строчки при свете, проникавшем из отдушины, на миг замер, потом задумчиво проговорил вполголоса: «Улица Сестер страстей господних, э 6, г-н Жильнорман». Потом он вложил записную книжку обратно в карман Мариуса. Он поел, и силы возвратились к нему; снова взвалив Мариуса на спину, он заботливо уложил его голову на своем правом плече и стал спускаться по водостоку.

Главный водосток, проложенный в лощине по руслу Менильмонтана, простирается в длину почти на две мили. Дно его на значительном протяжении вымощено камнем.

У Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы осветить читателю его подземное странствие, – он не знал названий улиц. Ничто не указывало ему, какой район города он пересекал или какое расстояние преодолел. Лишь по световым пятнам, которые встречались время от времени на его пути и становились все бледнее, он мог судить, что солнце уже не освещает мостовой и что день склоняется к вечеру. А по шуму колес над головой, который из непрестанного перешел в прерывистый и, наконец, почти затих, он заключил, что уже вышел за пределы центральных кварталов и приближается к пустынным окраинам, возле внешних бульваров или отдаленной набережной. Где меньше домов и улиц, там меньше и отдушин в клоаке. Вокруг Жана Вальжана сгущалась тьма. Это не мешало ему идти вперед, пробиваясь ощупью во мраке.

Внезапно его охватил ужас.

Глава пятая.
Песок коварен, как женщина: чем он приманчивей, тем опасней

Он почувствовал, что входит в воду и что под ногами его уже не каменные плиты, а вязкий ил.

На побережье Бретани или Шотландии случается иногда, что какой-нибудь путник или рыбак, отойдя во время отлива по песчаной отмели далеко от берега, вдруг замечает, что уже несколько минут ступает с трудом. Земля под его ногами словно превращается в смолу, подошвы прилипают к ней; это уже не песок, а клей. Отмель как будто суха, но при каждом шаге, едва переставишь ногу, след заполняется водой. А между тем пейзаж не меняется:

бесконечно тянется берег, он ровен, однообразен, песок всюду кажется одинаковым, ничто не отличает твердой почвы от зыбкой, буйный рой водяных блох по-прежнему весело скачет у ног прохожего. Человек продолжает свой путь, идет вперед, направляется к суше, старается держаться ближе к береговому откосу. Он ничуть не встревожен. О чем ему беспокоиться? Только с каждым шагом тяжесть в ногах почему-то возрастает. Вдруг он чувствует, что вязнет. Он увяз на два или три дюйма. Положительно, он сбился с дороги, он останавливается, чтобы определить направление. И тут он смотрит себе на ноги. Ног не видно. Их покрывает песок. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться, поворачивает назад – и увязает еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток, он вырывается и бросается влево, песок доходит до икр; он кидается вправо, песок достигает колен. И тут, к невыразимому своему ужасу, он понимает, что попал в зыбучие пески, что под его ногами та страшная стихия, где человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он швыряет прочь свою ношу, если она у него есть, он освобождается от груза, словно корабль, терпящий бедствие, поздно: он провалился выше колен.

Он зовет на помощь, размахивает шапкой или платком, песок засасывает его все глубже и глубже, если берег безлюден, если жилье далеко, если песчаная отмель пользуется дурной славой, если не сыщется поблизости какого-нибудь смельчака – кончено его засосал песок. Он обречен на ужасную медленную смерть, неминуемую, беспощадную, которую нельзя ни отсрочить, ни ускорить, которая длится часами, нескончаемо долго, она настигает вас здоровым, свободным, полным сил, хватает вас за ноги и при каждом вашем крике, при каждой попытке вырваться тащит все глубже, словно желая наказать за сопротивление еще более мучительным объятием, она медленно увлекает человека в землю, дав ему время налюбоваться горизонтом, деревьями, зелеными нолями, дымом хижин в долине, парусами кораблей в море, порхающими и поющими кругом птицами, солнцем, небесами. Зыбучие пески – это могила, смытая морским приливом и поднимающаяся из недр земли за живой добычей. Каждый миг – безжалостный могильщик. Несчастный пытается сесть, лечь, ползти, но всякое движение хоронит его все глубже, он выпрямляется – и погружается еще больше, он чувствует, что тонет, он кричит, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, впадает в отчаянье. Вот уже песок ему по пояс, на поверхности только грудь и голова. Он простирает руки, испускает яростные вопли, вонзает ногти в песок, пытаясь ухватиться за сыпучий прах, опирается на локти, чтобы вырваться из этого мягкого футляра, исступленно рыдает; песок поднимается все выше. Песок доходит до плеч, до подбородка; теперь видно только лицо. Рот еще кричит, песок заполняет рот; настает молчание. Глаза еще смотрят, песок засыпает глаза, наступает мрак. Постепенно исчезает лоб, только пряди волос развеваются над песком: высовывается рука, пробивая песчаную гладь, судорожно двигается, сжимается и пропадает. Зловещее исчезновение человека…

Иногда пески засасывают всадника вместе с лошадью, иногда возницу вместе с повозкой; трясина поглощает все. Потонуть в ней совсем не то, что потонуть в море. Здесь затопляет человека земля. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она простирается перед вами, точно равнина, и разверзается под ногами, точно вода. Пучине свойственно подобное коварство.

Несчастный случай, всегда возможный на некоторых морских побережьях, лет тридцать назад мог произойти и в парижской клоаке.

До 1833 года, когда наконец были начаты важные усовершенствования, в подземной сточной сети Парижа нередко происходили внезапные обвалы.

Кое-где в подпочву, особенно в рыхлые породы, просачивалась вода; тогда настил, будь он мощенный камнем, как в старинных водостоках, или бетонный на известковом растворе, как в новых галереях, потеряв опору, начинал прогибаться. Прогиб такого настила вел к трещине, а трещина – к обвалу. Настил обрушивался на значительном протяжении. Эта расселина, эта щель, открывавшая пучину грязи, на профессиональном языке называлась провалом, а самая

грязь – плывуном. Что такое плывуны? Это зыбучие пески морского побережья, оказавшиеся под землей; это песчаный грунт горы Сен-Мишель, перенесенный в клоаку. Разжиженная почва кажется расплавленной; в жидкой среде все ее частицы находятся во взвешенном состоянии; это уже не земля и не вода. Иногда топь достигает значительной глубины. Нет ничего опаснее встречи с нею. Если там больше воды, вам грозит мгновенная смерть – вас затопит; если больше земли, вам грозит медленная смерть – вас засосет.

Представляете ли вы себе такую смерть? Она страшна на морском берегу, какова же она в клоаке? Вместо свежего воздуха, яркого света, ясного дня, чистого горизонта, шума волн, вольных облаков, изливающих животворный дождь, вместо белеющих вдалеке лодок, вместо не угасающей до последней минуты надежды, надежды на случайного прохожего, на возможное спасение, взамен всего этого – глухая тишина, слепой мрак, черные своды, готовая зияющая могила, смерть в трясине под толщей земли! Медленная гибель от недостатка воздуха среди мерзких отбросов, каменный мешок, где в грязной жиже раскрывает когти удушье и хватает за горло, предсмертный хрип среди зловония, тина вместо песка, сероводород вместо ветра, нечистоты вместо океана! Звать на помощь, скрипеть зубами, корчиться, биться и погибать, когда над самой вашей головой шумит огромный город и ничего о вас не знает!

Невыразимо страшно так умереть! Смерть искупает иногда свою жестокость неким грозным величием. На костре или при кораблекрушении можно проявить доблесть, в пламени или в морской пене сохранить достоинство: такая гибель преображает человека. Здесь же этого нет. Тут смерть нечистоплотна. Здесь испустить дух унизительно. Даже предсмертные видения, проносящиеся мимо, и те внушают отвращение. Грязь – синоним позора. Тут все ничтожно, гнусно, презренно. Утонуть в бочке с мальвазией, подобно Кларенсу, – еще куда ни шло; но захлебнуться в выгребной яме, как д'Эскубло, – ужасно. Барахтаться там омерзительно: там бьются в предсмертных судорогах, увязая в грязи. Там такой мрак, что можно счесть его адом, такая тина, что можно принять ее за болото; умирающий не знает, станет он бесплотным призраком или обратится в жабу.

Могила всюду мрачна; здесь же она безобразна.

Глубина плывунов изменялась так же, как их протяженность и плотность, в зависимости от состояния подпочвы. Иногда провал достигал глубины трех-четырех футов, порою – восьми или десяти, иногда же в нем не могли найти дна. В одном месте ил казался почти твердым, в другом – почти жидким. В плывуне Люньер человек тонул бы в течение целого дня, тогда как топь Фелипо поглотила бы его за пять минут. Трясина выдерживает человека дольше или меньше, в зависимости от своей плотности. Ребенок может спастись там, где провалится взрослый. Первое условие спасения – это избавиться от всякого груза. Сбросить с себя мешок с инструментами, или корзинку, или творило с известкой – вот с чего начинал рабочий в клоаке, когда чувствовал, что почва под ним начинает оседать.

Провал могли вызвать разные причины: рыхлость грунта, случайный оползень на недоступной исследованию глубине, бурные летние ливни, непрерывные зимние осадки, осенние моросящие дожди. Иногда тяжесть окружающих домов, построенных на мергелевой или песчаной почве, прогибала своды подземных галерей и заставляла их покоситься, а порой, не выдержав давления, трескался и раскалывался фундамент. Лет сто назад осевшее здание Пантеона завалило часть подземелий в горе Сент-Женевьев. Когда под тяжестью домов происходил обвал в клоаке, это разрушение иной раз оставляло след наверху в виде рассевшихся булыжников мостовой, ощерившихся, точно зубья пилы; такая щель вилась по всей линии треснувшего свода, и тогда, видя повреждение, можно было принять срочные меры. Нередко, однако, внутреннее повреждение не обозначалось на поверхности никакими рубцами. В таких случаях несдобровать было рабочим клоаки! Войдя без предосторожности в обвалившийся водосток, они легко могли погибнуть. В старинных реестрах упоминается немало рабочих, погребенных таким образом в плывунах. Там перечислено много имен; среди прочих имя некоего Блеза Путрена, провалившегося при обвале водостока под улицей

Заговенья; Блез Путрен приходился братом последнему могильщику кладбища, так называемого Костехранилища Инносан, Никола Путрену, который работал там вплоть до 1785 года, когда это кладбище перестало существовать.

В те же реестры попал и упомянутый нами юный, прелестный виконт д'Эскубло, один из героев осады Лериды, которые шли на приступ в шелковых чулках, с оркестром скрипачей во главе. Застигнутый ночью у своей кузины, герцогини де Сурди, д'Эскубло утонул в трясине Ботрельи, куда он укрылся, чтобы спастись от герцога. Когда г-же де Сурди сообщили о его гибели, она потребовала флакон с солями и так долго нюхала его, что забыла о слезах. В подобных случаях никакая любовь не устоит, клоака потушит ее. Геро откажется обмыть труп Леандра, Фисба заткнет нос при виде Пирама и скажет: «Фи!»

Глава шестая.
Провал

Перед Жаном Вальжаном был провал.

Подобного рода разрушения в то время часто происходили в подпочве Елисейских полей, где грунт неудобен для гидравлических работ и недостаточно прочен для подземных сооружений из-за необычайной плывучести. Этот грунт превосходит плывучестью даже рыхлые пески квартала Сен-Жорж, где с ними удалось справиться лишь при помощи бетонного фундамента, даже пропитанные газом глинистые пласты квартала Мучеников, настолько разжиженные, что подземную галерею под улицей Мучеников пришлось заключить в чугунную трубу. Когда в 1836 году под предместьем Сент-Оноре разрушили для перестройки древний каменный водосток, куда сейчас углубился Жан Вальжан, то зыбучие пески – основная подпочва Елисейеких полей до самой Сены – оказались столь серьезным препятствием, что работы затянулись почти на полгода, к величайшему огорчению прибрежных жителей, в особенности владельцев особняков и роскошных карет. Земляные работы были там не только трудными: они были опасными. Правда, надо принять во внимание, что в том году дожди лили непрерывно четыре с половиной месяца и Сена три раза выступала из берегов.

Провал, который встретился на пути Жана Вальжана, был вызван вчерашним ливнем. Из-за оседания каменного настила, плохо укрепленного на песчаной подпочве, там образовалось большое скопление дождевых вод. Вода просочилась под настил, после чего произошел обвал. Прогнувшийся фундамент опустился в трясину. На каком протяжении? Установить невозможно. Мрак в этом месте был непрогляднее, чем где бы то ни было. Это был омут грязи в пещере ночи.

Жан Вальжан почувствовал, что мостовая ускользает у него из-под ног. Он ступил в яму. На поверхности была вода, на дне – тина. Все равно надо было пройти. Возвращаться назад немыслимо. Мариус, казалось, был при последнем издыхании, и сам он изнемогал. Да и куда ему идти? Жан Вальжан двинулся вперед. К тому же на первых порах яма показалась ему неглубокой. Но чем дальше он продвигался, тем глубже увязали ноги. Вскоре тина дошла ему до икр, а вода выше колен. Он шагал, поднимая Мариуса обеими руками как можно выше над водой. Тина доходила ему теперь уже до колен, а вода до пояса. Он уже не мог вернуться назад. Его затягивало все глубже и глубже. Ил, достаточно плотный, чтобы выдержать тяжесть одного человека, не мог, очевидно, выдержать двоих. Мариусу и Жану Вальжану удалось бы выбраться только поодиночке. Но Жан Вальжан продолжал идти вперед, неся на себе умирающего, а может быть, – кто знает? – мертвеца.

Вода доходила ему до подмышек, он чувствовал, что тонет; он – едва-едва передвигал ноги в этой глубокой тине. Толща грязи, служившая опорой, была в то же время и препятствием. Он по-прежнему приподнимал Мариуса над поверхностью и с нечеловеческим напряжением сил двигался вперед, погружаясь все глубже. Над водой оставалась только голова и две руки, державшие Мариуса. Где-то на старинной картине всемирного потопа изображена мать, которая вот так поднимает над головой своего ребенка.

Он погрузился еще глубже, он запрокинул голову, чтобы не захлебнуться, тот, кто увидел бы это лицо во тьме, принял бы его за маску, всплывшую над водой. Жан Вальжан смутно различал над собой свесившуюся голову и посинелое лицо Мариуса. Он сделал последнее отчаянное усилие и шагнул вперед; вдруг нога его наткнулась на что-то твердое, нашла точку опоры. Еще миг, и было бы поздно!

Он выпрямился, в каком-то исступлении рванулся вперед и словно прирос к этой точке опоры. Она показалась ему первой ступенькой лестницы, ведущей к жизни.

Опора, обретенная им в трясине в последний предсмертный миг, оказалась началом каменного настила, который не обрушился, а только осел и прогнулся под водой, подобно доске. Хорошо выложенный настил в таких случаях выгибается дугой и держится прочно. Эта часть мощеного дна водостока, наполовину затопленная, но устойчивая, представляла собою своего рода лестницу, и, попав на эту лестницу, человек был спасен. Жан Вальжан поднялся по наклонной плоскости и достиг другого края провала.

Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Приняв это за указание свыше, он так и остался коленопреклоненным, от всей души вознося безмолвную молитву богу.

Потом он встал, весь дрожа, закоченев от холода, задыхаясь от смрада, сгибаясь под тяжестью раненого, которого тащил на себе, с него струились потоки грязи, но душа была полна неизъяснимым светом.

Глава седьмая.
Порою терпят крушение там, где надеются пристать к берегу

И он снова пустился в путь.

Но, если в трясине он не лишился жизни, то, казалось, лишился там всех своих сил. Напряжение последних минут доконало его. Усталость дошла до такого предела, что через каждые три-четыре шага он принужден был делать передышку и прислоняться к стене. Однажды, когда ему пришлось присесть на выступ у стены, чтобы переложить Мариуса поудобнее, он почувствовал, что не может подняться. Но если телесные его силы иссякли, то воля не была сломлена. И он встал.

Он пошел вперед с отчаянием, почти бегом, сделал так шагов сто, не поднимая головы, не переводя духа, и вдруг стукнулся о стену. Он достиг угла, где водосток сворачивает в сторону, и так как он шел с низко опущенной головой, то на повороте наткнулся на стену. Он поднял глаза и вдруг, в конце подземелья, где-то впереди, далеко-далеко – увидел свет. На этот раз свет не казался угрожающим, это был приветливый белый свет. Дневной свет.

Жан Вальжан видел впереди дверь на волю.

Если бы среди адского пекла душа грешника увидела вдруг выход из геенны огненной, она испытала бы то же, что испытал Жан Вальжан. В безумном порыве, на своих искалеченных, обгорелых крыльях она устремилась бы к лучезарным вратам. Жан Вальжан уже не чувствовал усталости, не ощущал тяжести Мариуса, стальные мышцы его снова напряглись. Он уже не шел, а бежал. И все яснее и яснее впереди обозначался просвет. Это была полукруглая арка, расположенная ниже постепенно опускавшегося свода и более узкая, чем галерея, суживавшаяся по мере того, как понижался свод. Конец туннеля напоминал собою внутренность воронки, с узким, неудобным выходом, вроде калитки смирительного дома, подходящей для тюрьмы, но никак не для клоаки; впоследствии эта несообразность была исправлена.

Жан Вальжан подошел к отверстию.

Здесь он остановился.

Это действительно был выход, но выйти было невозможно.

Арка была забрана толстой решеткой, а на решетке, которая, по всей видимости, редко поворачивалась на проржавленных петлях и плотно прилегала к каменному наличнику, висел

массивный замок, красный от ржавчины и похожий на громадный кирпич. Была видна замочная скважина и тяжелый замочный язык, глубоко задвинутый в железную скобу. Замок, по-видимому, был заперт на два поворота и казался крепким тюремным замком, на какие не скупился в те времена старый Париж.

По ту сторону решетки – свежий воздух, река, дневной свет, береговая коса, узкая, но не настолько, чтобы нельзя было пройти по ней, отдаленные набережные Парижа – этой бездны, где так легко скрыться, широкий горизонт, свобода. Направо, вниз по реке, виднелся Иенский мост, налево, вверх по течению, – мост Инвалидов – самое подходящее место, чтобы дождаться темноты и незаметно ускользнуть. Это был один из самых безлюдных уголков Парижа, набережная против Большого Камня. Сквозь железные прутья решетки влетали и вылетали мухи.

Было, вероятно, около половины девятого вечера. Начинало смеркаться.

Жан Вальжан положил Мариуса у стены, на сухую часть каменного пола, и, подойдя к решетке, судорожно впился в прутья обеими руками; толчок был бешеный, результата никакого. Решетка не дрогнула. Жан Вальжан рванул каждый прут по очереди, надеясь, что удастся выломать наименее прочный и, орудуя им как рычагом, приподнять дверь или сбить замок. Ни один прут не подался. Даже у тигра зубы в деснах не сидят так прочно. Ни рычага, ничего тяжелого под рукой. Препятствие было непреодолимо. Отворить дверь невозможно.

Неужели их ждал тут конец? Что делать? Как быть? Вернуться назад, начать сызнова страшное путешествие, уже раз им проделанное, он был не в силах. К тому же, как снова перебраться через топь, откуда они выбрались чудом? Да и помимо топи, разве не было там полицейского патруля, от которого, конечно, не удалось бы скрыться во второй раз? Куда же идти? Какое направление избрать? Спускаться по уклону вовсе не значило дойти до цели. Даже если найдется другой выход, он тоже окажется замурованным или загороженным решеткой. Очевидно, все выходы запирались таким образом. Решетка, через которую они проникли, лишь случайно оказалась неисправной, остальные колодцы клоаки были надежно закрыты. Они спаслись лишь для того, чтобы попасть в темницу.

Это был конец. Все, что совершил Жан Вальжан, оказалось бесполезным. Силы иссякли, надежды рухнули.

Оба запутались в необъятной темной паутине смерти, и Жан Вальжан чувствовал, как, раскачивая черные нити, ползет к ним во мраке чудовищный паук.

Он повернулся спиной к решетке и опустился, вернее, рухнул, на каменные плиты, возле все еще неподвижного Мариуса; голова его склонилась к коленям. Выхода нет! Это была последняя капля в чаше отчаяния.

О чем думал Жан Вальжан в смертельной тоске? Не о себе и не о Мариусе. Он думал о Козетте.

Глава восьмая.
Лоскут от разорванного сюртука

Вдруг чья-то рука, тронув его за плечо, вывела из забытья, и чей-то голос проговорил шепотом:

– Добычу пополам!

Что это? Здесь кто-то есть. Ничто так не напоминает бреда, как отчаяние. Жан Вальжан подумал, что бредит. Он не слышал шагов. Что же это такое? Он поднял глаза.

Перед ним стоял человек.

Человек был одет в блузу; он стоял босиком, держа башмаки в левой руке; очевидно, он снял их, чтобы неслышно подкрасться к Жану Вальжану.

Как ни неожиданна была встреча, Жан Вальжан не сомневался ни минуты; он сразу узнал человека. Это был Тенардье.

Жан Вальжан привык к опасностям и умел быстро отражать внезапное нападение; даже захваченный врасплох, он сразу овладел собой. Притом, его положение не могло стать хуже, чем было: отчаяние, достигшее крайних пределов, уже ничем нельзя усугубить, и даже сам Тенардье неспособен был сгустить мрак этой ночи.

С минуту оба выжидали.

Приложив правую ладонь козырьком ко лбу, Тенардье нахмурил брови и прищурился, слегка сжав губы, стараясь хорошенько разглядеть незнакомца. Ему это не удалось. Жан Вальжан, как мы уже сказали, сидел спиной к свету и вдобавок был так обезображен, так залит кровью и запачкан грязью, что даже в яркий день его невозможно было бы узнать. Напротив, освещенный спереди, со стороны решетки, белесоватым, но, при всей его мертвенности, отчетливым светом подземелья, Тенардье, согласно избитому, но меткому выражению, «сразу бросился в глаза» Жану Вальжану. Этого неравенства условий оказалось достаточно, чтобы Жан Вальжан получил некоторое преимущество в той таинственной дуэли, какая должна была завязаться между двумя людьми в разных положениях.

Жан Вальжан выступал на поединке с закрытым лицом, а Тенардье – без маски.

Жан Вальжан сразу понял, что Тенардье не узнал его.

Несколько мгновений они разглядывали друг друга в полусвете, как бы примеряясь один к другому, Первым нарушил молчание Тенардье:

– Как ты думаешь выбраться отсюда?

Жан Вальжан не ответил.

Тенардье продолжал:

– Отмычка здесь не поможет А выйти тебе отсюда надо.

– Это верно, – сказал Жан Вальжан.

– Так вот, добычу пополам.

– Что ты хочешь сказать?

– Ты пришил человека. Дело твое. Но ключ-то у меня.

Тенардье указал пальцем на Мариуса.

– Я тебя не знаю, – продолжал он, – но хочу тебе помочь. Ты, я вижу, свой парень.

Жан Вальжан начал догадываться: Тенардье принимал его за убийцу.

Тенардье заговорил снова:

– Слушай, приятель. Коли ты прикончил молодца, так уж, верно, обшарил его карманы. Давай мне половину. А я отомкну тебе дверь.

Вытащив наполовину из-под дырявой блузы тяжелый ключ, он добавил:

– Хочешь поглядеть, каков из себя ключ от воли? Вот он, полюбуйся.

Жан Вальжан был до такой степени ошарашен, что не верил собственным глазам. Неужели само провидение явилось ему в столь отвратительном обличье, неужели светлый ангел вырос из-под земли под видом Тенардье?

Тенардье засунул руку за пазуху, вытащил из объемистого внутреннего кармана веревку и протянул Жану Вальжану.

– Держи-ка, – сказал он, – вот тебе еще веревка в придачу.

– Зачем мне веревка?

– Надо бы еще и камень, да их много снаружи. Там целая куча щебня.

– Зачем мне камень?

– Вот болван! Придется же бросить в реку эту падаль, стало быть, нужны и веревка и камень. А то всплывет наверх.

Жан Вальжан взял веревку. В иные минуты человек машинально соглашается на все.

Тенардье прищелкнул пальцами, как будто его поразила внезапная мысль:

– Скажи-ка, приятель, как это ты ухитрился выбраться из трясины? Я не мог на это решиться… Фу, как от тебя воняет!

Помолчав, он заговорил снова:

– Я задаю тебе вопросы, ты не отвечаешь – дело твое! Готовишься к допросу у следователя? Поганая минутка! Конечно, коли вовсе не говорить, не рискуешь проговориться. А все-таки, хоть я тебя не вижу и по имени не знаю, мне все ясно – кто ты и чего тебе надо. Видали мы таких. Ты легонько подшиб этого молодца, а теперь хочешь его сплавить. Тебе нужна река, – чтобы концы в воду. Вот я и помогу тебе выпутаться. Выручить славного малого из беды – это по мне.

Хваля Жана Вальжана за молчание, он тем не менее явно старался вызвать его на разговор. Он хватил его по плечу, пытаясь разглядеть лицо сбоку, и воскликнул, не особенно, впрочем, повышая голос:

– Кстати, насчет трясины. Экий болван! Почему ты не сбросил его туда?

Жан Вальжан хранил молчание.

Тенардье, жестом положительного, солидного человека подтянув к самому кадыку тряпку, заменявшую ему галстук, продолжал:

– А, пожалуй, ты поступил неглупо. Завтра рабочие пришли бы затыкать дыру и уж, верно, нашли бы там этого подкидыша. А тогда шаг за шагом, потихоньку-полегоньку напали бы на твой след и добрались до тебя самого. Ага, скажут, кто-то ходил по клоаке! Кто такой? Откуда он вышел? Не видал ли кто, когда он выходил? Легавым ума не занимать стать. Водосток – доносчик, непременно выдаст. Ведь такая находка тут – редкость: в клоаку мало кто заходит по делу, а река – для всех. Река – что могила. Ну, пускай через месяц выудят утопленника из сеток Сен-Клу. А на черта он годится? Падаль, и больше ничего. Кто убил человека? Париж. Суд даже и следствия не начнет. Ты ловкий пройдоха.

Чем больше болтал Тенардье, тем упорнее молчал Жан Вальжан. Тенардье снова тряхнул его за плечо.

– А теперь давай по рукам. Поделимся. Я показал тебе ключ, покажи свои деньги.

Вид у Тенардье был беспокойный, дикий, недоверчивый, угрожающий и вместе с тем дружелюбный.

Странное дело, в повадках Тенардье чувствовалось что-то неестественное, ему словно было не по себе; хоть он и не напускал на себя таинственности, однако говорил тихо и время от времени, приложив палец к губам, шептал: «Тсс!» Трудно было угадать почему. Кроме них двоих, тут никого не было. Жану Вальжану пришло в голову, что где-нибудь неподалеку, в закоулке, скрываются другие бродяги и у Тенардье нет особой охоты делиться с ними добычей.

Тенардье опять заговорил:

– Давай кончать. Сколько ты наскреб в ширманах у этого разини?

Жан Вальжан порылся у себя в карманах.

Как мы помним, у него была привычка всегда иметь при себе деньги. В тяжелой, полной опасностей жизни, на которую он был обречен, это стало для него законом. На сей раз, однако, он был застигнут врасплох. Накануне вечером, находясь в подавленном, мрачном состоянии, он забыл, переодеваясь в мундир национальной гвардии, захватить с собой бумажник. Только в жилетном кармане у него нашлось несколько монет. Он вывернул пропитанные грязью карманы и выложил на выступ стены один золотой, две пятифранковых монеты и пять или шесть медяков по два су.

Тенардье выпятил нижнюю губу, выразительно покрутив головой.

– Да ты же его придушил задаром! – сказал он. С полной бесцеремонностью он принялся обшаривать карманы Жана Вальжана и карманы Мариуса. Жан Вальжан не мешал ему, стараясь, однако, не поворачиваться лицом к свету. Ощупывая одежду Мариуса, Тенардье, с ловкостью опытного карманника, ухитрился оторвать лоскут от его сюртука и незаметно спрятать за пазуху, вероятно рассчитывая, что этот кусок материи может когда-нибудь ему пригодиться, чтобы опознать убитого или выследить убийцу. Но, кроме упомянутых тридцати франков, он не нашел ничего.

– Что верно, то верно, – пробормотал он, – один на другом верхом, и у обоих ни шиша.

И, позабыв свое условие «добычу пополам», забрал все.

Глядя на медяки, он было заколебался, но, подумав, тоже сгреб их в ладонь, ворча:

– Все равно! Можно сказать, без пользы пришил человека.

После этого он опять вытащил из-под блузы ключ.

– А теперь, приятель, выходи. Здесь, как на ярмарке, плату берут при выходе. Заплатил – убирайся вон.

Может ли быть, чтобы, выручив незнакомца при помощи ключа и выпустив на волю вместо себя другого, он руководился чистым и бескорыстным намерением спасти убийцу? В этом мы позволим себе усомниться.

Тенардье помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, затем на цыпочках подкрался к решетке и, подав Жану Вальжану знак следовать за ним, выглянул наружу, приложил палец к губам и застыл на мгновение, как бы выжидая; наконец, осмотревшись по сторонам, вложил ключ в замок. Язычок замка скользнул в сторону, и дверь отворилась. Не было слышно ни скрипа, ни стука. Все произошло в полной тишине. Было ясно, что решетка и дверные петли заботливо смазывались маслом и отворялись гораздо чаще, чем можно было подумать. Эта тишина казалась зловещей; за ней чудились тайные появления и исчезновения, молчаливый приход и уход людей ночного промысла, волчий неслышный шаг преступления. Клоака, очевидно, укрывала какую-то таинственную шайку. Безмолвная решетка была их сообщницей.

Тенардье приотворил дверцу ровно на столько, чтобы пропустить Жана Вальжана, запер решетку, дважды повернул ключ в замке и скрылся во мгле. Будто прошел на бархатных лапах тигр. Минуту спустя это провидение в отвратительном обличье сгинуло среди непроницаемой тьмы.

Жан Вальжан очутился на воле.

Глава девятая.

Человек, знающий толк в таких делах, принимает Мариуса за мертвеца

Жан Вальжан опустил Мариуса на берег.

Они были на воле!

Миазмы, темнота, ужас остались позади. Он свободно дышал здоровым, чистым, целебным воздухом, который хлынул на него живительным потоком. Кругом стояла тишина, отрадная тишина ясного безоблачного вечера. Сгущались сумерки, надвигалась ночь, великая избавительница, верная подруга всем, кому нужен покров мрака, чтобы отогнать мучительную тревогу. С неба нисходило бесконечное успокоение. Легкий плеск реки у ног напоминал звук поцелуя. С высоких вязов Елисейских полей доносились диалоги птичьих семейств, перекликавшихся перед сном. Кое-где на светло-голубом небосклоне выступили звезды; бледные, словно в грезах, они мерцали в беспредельной глубине едва заметными искорками. Вечер изливал на Жана Вальжана все очарование бесконечности.

Стоял тот неуловимый и дивный час, который нельзя назвать ни днем, ни ночью. Было уже достаточно темно, чтобы потеряться на расстоянии, и еще достаточно светло, чтобы узнать друг друга вблизи.

Жан Вальжан на несколько секунд поддался неотразимому обаянию этого ласкового и торжественного покоя; бывают минуты забытья, когда страдания и тревоги перестают терзать несчастного; мысль затуманивается, благодатный мир, словно ночь, обволакивает мечтателя, и душа в лучистых сумерках, подобно небу, тоже озаряется звездами. Жан Вальжан невольно отдался созерцанию этой необъятной светящейся мглы над головой, задумавшись, он погрузился в торжественную тишину вечного неба, словно в очистительную купель самозабвения и молитвы. Потом, спохватившись, словно вспомнив о долге, он нагнулся над Мариусом и, зачерпнув в ладонь воды, брызнул ему несколько капель в лицо. Веки Мариуса не разомкнулись, но полуоткрытый рот еще дышал.

Жан Вальжан собирался зачерпнуть еще воды, но вдруг почувствовал какое-то неясное беспокойство, – так бывает, когда кто-то не замеченный вами стоит у вас за спиной.

Нам уже приходилось прежде описывать это ощущение, знакомое всякому человеку.

Он обернулся.

Как и в прошлый раз, кто-то действительно был за его спиной.

Человек высокого роста, в длинном сюртуке, скрестив руки и зажав в правом кулаке дубинку со свинцовым набалдашником, стоял в нескольких шагах позади Жана Вальжана, склонившегося над Мариусом.

Сгустившийся сумрак придавал ему облик привидения. Человека суеверного испугала бы темнота, человека разумного – дубинка.

Жан Вальжан узнал Жавера.

Читатель, разумеется, уже догадался, что преследователем Тенардье был не кто иной, как Жавер. Неожиданно выйдя целым и невредимым с баррикады, Жавер тут же отправился в полицейскую префектуру, во время короткой аудиенции доложил обо всем префекту и тотчас вернулся к исполнению своих обязанностей, в которые входило, как мы помним из найденного при нем листка, особое наблюдение за правым берегом Сены, вдоль Елисейских полей, привлекавшим с некоторых пор внимание полиции. Там он заметил Тенардье и пошел за ним следом. Остальное мы уже знаем.

Нам понятно также, что решетка, столь предупредительно отворенная перед Жаном Вальжаном, была хитрой уловкой со стороны Тенардье. Тенардье чуял, что Жавер все еще здесь; человек, которого преследуют, наделен безошибочным нюхом; необходимо было бросить кость этой ищейке. Убийца! Какая находка! Это был жертвенный дар, на который всякий польстится. Выпуская на волю Жана Вальжана вместо себя, Тенардье науськивал полицейского на новую добычу, сбивал его со следа, отвлекая внимание на более крупного зверя, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда лестно для шпиона, а сам, заработав вдобавок тридцать франков, твердо рассчитывал ускользнуть при помощи этого маневра.

Жан Вальжан попал из огня да в полымя. Перенести две такие встречи одну за другой, попасть от Тенардье к Жаверу – было тяжким ударом.

Жавер не узнал Жана Вальжана, который, как мы говорили, стал на себя непохож. Не меняя позы и лишь крепче сжав неуловимым движением дубинку в руке, он спросил отрывисто и спокойно:

– Кто вы такой?

– Я.

– Кто это вы?

– Жан Вальжан.

Жавер взял дубинку в зубы, наклонился, слегка присев, положил свои могучие руки на плечи Жану Вальжану, сдавив их, словно тисками, вгляделся и узнал его. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был страшен.

Жан Вальжан словно не почувствовал хватки Жавера; так лев не обратил бы внимания на когти рыси.

– Инспектор Жавер! – сказал он. – Я в вашей власти. К тому же с нынешнего утра я считаю себя вашим пленником. Я не для того дал вам свой адрес, чтобы скрываться от вас. Берите меня. Прошу вас об одном…

Жавер, казалось, не слышал его слов. Он впился в Жана Вальжана своим пронзительным взглядом. Стиснутые челюсти и поджатые губы служили признаком свирепого раздумья. Наконец, он отпустил Жана Вальжана, выпрямился во весь рост, снова взял в руки дубинку и, точно в забытьи, скорее пробормотал, чем проговорил:

– Что вы здесь делаете? И кто этот человек?

Он продолжал обращаться на «вы» к Жану Вальжану.

Жан Вальжан ответил, и звук его голоса как будто пробудил Жавера:

– О нем-то я как раз и хотел говорить с вами. Поступайте со мною, как вам угодно, но помогите мне сначала доставить его домой. Только об этом я и прошу.

Лицо Жавера скривилось, как бывало всякий раз, когда он боялся, что его сочтут способным на уступку. Однако он не отказал.

Он опять нагнулся, вытащил из кармана платок и, намочив его в воде, вытер окровавленный лоб Мариуса.

– Этот человек был на баррикаде, – сказал он вполголоса, как бы про себя. – Это тот, кого называли Мариусом.

Первоклассный шпион все подсмотрел, все подслушал, все расслышал и все запомнил, ожидая смерти, он выслеживал даже в агонии и, стоя одной ногой в могиле, продолжал брать все на заметку. Он схватил руку Мариуса, нащупывая пульс.

– Он ранен, – сказал Жан Вальжан.

– Он умер, – сказал Жавер.

Жан Вальжан возразил:

– Нет. Пока еще жив.

– Значит, вы принесли его сюда с баррикады? – спросил Жавер.

Видно, он был сильно озабочен, раз не стал допрашивать о подозрительном бегстве через подземелье клоаки и даже не заметил, что Жан Вальжан обошел молчанием его вопрос.

Да и Жана Вальжана занимала, казалось, одна-единственная мысль. Он снова заговорил:

– Он живет в Маре, на улице Сестер страстей господних, у своего деда… Я забыл его имя.

Жан Вальжан пошарил в карманах Мариуса, вынул его записною книжку, раскрыл исписанную карандашом страницу и протянул Жаверу.

В вечернем небе брезжило еще достаточно света, и можно было читать. К тому же глаза Жавера фосфоресцировали, как глаза хищных ночных птиц. Он разобрал написанные Мариусом строчки и проворчал сквозь зубы:

– Жильнорман, улица Сестер страстей господних, номер шесть.

Потом крикнул:

– Извозчик!

Читатель помнит о фиакре, стоявшем в ожидании на всякий случай.

Записную книжку Мариуса Жавер оставил у себя.

Минуту спустя карета съехала на берег по спуску к водопою, Мариуса перенесли на заднее сиденье, а Жавер уселся рядом с Жаном Вальжаном на передней скамейке.

Дверца захлопнулась, и фиакр быстро покатил вдоль набережной по направлению к Бастилии.

Свернув с набережной, они поехали по улицам. Извозчик, возвышаясь на козлах черным силуэтом, подхлестывал тощих лошадей. В карете царило ледяное молчание. В углу экипажа неподвижное тело Мариуса с поникшей головой, с безжизненно висевшими руками и вытянутыми ногами как будто ждало, чтобы его положили в гроб; Жан Вальжан казался сотканным из мрака, а Жавер – изваянным из камня. В этой темной карете, которая, словно неверной вспышкой молнии, по временам озарялась внутри мертвенным, синеватым светом уличного фонаря, случай зловеще свел и сопоставил три воплощения трагической неподвижности – труп, призрак, статую.

Глава десятая.
Возвращение блудного сына

При каждом толчке экипажа с волос Мариуса падали капли крови.

Уже совсем стемнело, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Сестер страстей господних.

Жавер вышел из кареты первым, бегло взглянул на номер над воротами и, приподняв тяжелый кованый молоток, украшенный по старинной моде изображением столкнувшихся лбами козла и сатира, громко постучал. Дверь приоткрылась. Жавер распахнул ее. Из-за двери, зевая, выглянул заспанный привратник со свечой в руке.

Весь дом спал. В Маре ложатся засветло, особенно в дни уличных волнений. Этот мирный старый квартал, перепуганный революцией, искал спасения в сне; так дети в страхе перед букой поспешно прячут голову под одеяло.

Жан Вальжан с помощью кучера вынес Мариуса из кареты; Жан Вальжан держал его под мышки, а извозчик за ноги.

Неся его таким образом, Жан Вальжан просунул руку под его разорванное платье и удостоверился, что сердце еще бьется. Оно билось даже немного сильнее, словно движение экипажа вызвало у раненого приток жизненных сил.

Жавер спросил привратника резким тоном, как и подобало представителю власти обращаться со слугою бунтовщика:

– Живет тут кто-нибудь по фамилии Жильнорман?

– Живет. Что вам угодно?

– Мы привезли его сына.

– Сына? – тупо переспросил привратник.

– Он умер.

Показавшийся за спиной Жавера оборванный и грязный Жан Вальжан, на которого привратник уставился с ужасом, подал ему знак, что это неправда.

Привратник, казалось, не понял ни слов Жавера, ни знаков Жана Вальжана.

Жавер продолжал:

– Он пошел на баррикаду – и вот, доигрался.

– На баррикаду?! – вскричал привратник.

– Его там убили. Поди разбуди отца.

Привратник не трогался с места.

– Ступай же! – повторил Жавер и добавил:

– Завтра тут будут похороны.

Для Жавера все события общественной жизни были распределены по категориям, с этого начинаются бдительность и надзор; любой случайности было отведено определенное место; возможные события хранились, так сказать, в особых ящиках, откуда появлялись вместе или

порознь, глядя по обстоятельствам; на улицах, например, могли происходить нарушения тишины, бунты, карнавалы и похороны.

Привратник начал с того, что разбудил Баска. Баск разбудил Николетту, Николетта разбудила тетушку Жильнорман. Но деда не тревожили, решив, что чем позже он узнает новость, тем лучше.

Мариуса внесли во второй этаж, впрочем, так осторожно, что в другой половине дома никто этого не заметил, и уложили на старый диван в прихожей Жильнормана. Когда Баск отправился за доктором, а Николетта стала рыться в бельевых шкафах, Жан Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и спустился вниз, слыша позади шаги Жавера, который шел за ним по пятам.

Привратник глядел им вслед с тем же сонным испуганным видом, с каким встретил их появление.

Они снова сели в экипаж, а извозчик взобрался на козлы.

– Надзиратель Жавер! – сказал Жан Вальжан. – Окажите мне еще одну милость.

– Какую? – сурово спросил Жавер.

– Позвольте мне зайти на минуту домой. А там делайте со мной, что хотите.

Жавер помолчал, уткнув подбородок в воротник сюртука, затем опустил переднее окошко кареты.

– Извозчик! – сказал он. – На улицу Вооруженого человека, номер семь.

Глава одиннадцатая.
Потрясение незыблемых основ

За все время пути они больше не раскрывали рта.

Что хотел сделать Жан Вальжан? Довести до конца начатое дело: предупредить Козетту, сообщить ей, где находится Мариус, дать ей, быть может, другие полезные указания, сделать, если успеет, последние распоряжения. Что же до него, до его собственной судьбы, то все было кончено, он попал в руки Жавера и не сопротивлялся. Другой человек в таком положении подумал бы, вероятно, о веревке, полученной от Тенардье, и о перекладинах решетки в первой же тюремной камере, куда он попадет; но со времени встречи с епископом всякое покушение, даже на собственную жизнь, представлялось Жану Вальжану несовместимым с религией.

Самоубийство, это таинственное насилие над неведомым, быть может, в какой-то мере убивающее душу, казалось ему невозможным.

В самом начале улицы Вооруженного человека фиакр остановился, так как она была слишком узка для проезда экипажей. Жавер и Жан Вальжан сошли на мостовую.

Извозчик смиренно просил «господина инспектора» обратить внимание, что утрехтский бархат внутри кареты весь в пятнах от крови убитого и от грязной одежды убийцы. Только это и дошло до него. Он добавил, что следовало бы возместить убытки. Тут же, вытащив из кармана свою контрольную книжку, он просил «господина инспектора» сделать ему милость и написать там «какую ни на есть аттестацию, хоть самую пустячную».

Жавер оттолкнул книжку, которую протягивал ему извозчик, и спросил:

– Сколько тебе следует, считая за проезд и простой?

– Теперь уже четверть восьмого, – отвечал кучер, – да и бархат мой был новехонький. Восемьдесят франков, господин инспектор.

Жавер вынул из кармана четыре наполеондора и отпустил фиакр.

Жан Вальжан подумал, что Жавер собирается пешком отвести его на караульный пост улицы Белых мантий или Архива, находившихся совсем рядом.

Они пошли по улице. Она, как всегда, была безлюдна. Жавер следовал за Жаном Вальжаном. Они поравнялись с домом номер 7. Жан Вальжан постучался. Дверь отворилась.

– Хорошо, – сказал Жавер. – Входите.

Он прибавил с каким-то странным выражением, точно делал над собой усилие, произнося эти слова:

– Я подожду вас здесь.

Жан Вальжан взглянул на него. Подобный образ действия был необычен для Жавера. Однако презрительное доверие, оказываемое ему Жавером, доверие кошки, которая отпускает мышь ровно настолько, что бы затем вонзить в нее когти, не могло особенно удивить его, ибо он сам решил отдаться в руки правосудия и на этом все покончить. Он толкнул дверь, вошел в дом, окликнул заспанного привратника, – тот дернул шнурок, не вставая с постели. Потом поднялся по лестнице.

Дойдя до второго этажа, он остановился. На всяком крестном пути есть свои передышки. Подъемное окно на площадке было открыто. Как во многих старинных домах, лестница была светлая, окно выходило на улицу. От уличного фонаря, стоявшего как раз напротив, на лестничные ступеньки падали лучи, что избавляло от расходов на освещение.

Жан Вальжан, то ли чтобы подышать свежим воздухом, то ли безотчетно, высунул голову в окно. Он выглянул на улицу. Она была совсем коротенькая, и фонарь освещал ее всю. Жан Вальжан остолбенел от изумления: на улице никого не было.

Жавер ушел.

Глава двенадцатая.
Дед

Баск и привратник перенесли в гостиную диван на котором Мариус по-прежнему лежал без движения. Послали за доктором, и он тут же явился. Встала и тетушка Жильнорман.

Испуганная тетушка ходила взад и вперед, ломая руки, и только бормотала: «Боже милостивый, что же это такое?» Иногда она прибавляла: «Все будет перепачкано кровью!» Когда первое потрясение улеглось она оказалась способной философски осмыслить создавшееся положение, что выразилось в следующем возгласе: «Так и должно было кончиться!» Правда, она не дошла до формулы: «Я давно это предсказывала!», обычно изрекаемой в подобных случаях.

По приказанию врача, рядом с диваном поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, удостоверившись, что пульс бьется, на груди нет ни одной глубокой раны и кровь, запекшаяся в углах рта, течет из носовой полости, велел положить его на койку плашмя, без подушки, – голову на одном уровне с туловищем, даже чуть ниже, – и обнажить грудь, чтобы облегчить дыхание. Девица Жильнорман, увидев, что Мариуса раздевают, поспешно удалилась к себе в комнату и там принялась усердно молиться, перебирая четки.

У Мариуса не обнаружилось особых внутренних повреждений, скользнув по записной книжке, пуля отклонилась в сторону и прошла вдоль ребер, образовав рваную рану, ужасную с виду, но неглубокую и потому не опасную. Долгое подземное путешествие довершило вывих перебитой ключицы, и лишь это повреждение оказалось серьезным. Руки были изрублены сабельными ударами, ни один шрам не обезобразил лица, но голова была вся словно исполосована. Какие последствия повлекут эти ранения в голову? Затронули они только кожный покров? Или повредили череп? Пока еще определить было невозможно. Опасным симптомом являлось то, что они вызвали обморок, а от подобных обмороков не всегда приходят в чувство. Кроме того, раненый обессилел от потери крови. Нижняя половина тела не пострадала, так как Мариус был до пояса защищен баррикадой.

Баск и Николетта разрывали белье и готовили бинты; Николетта сшивала их, Баск скатывал. Корпии под рукой не было, и доктор останавливал кровотечение, затыкая раны тампонами из ваты. Возле кровати на столе, где был разложен целый набор хирургических

инструментов, горели три свечи. Врач обмыл лицо и волосы Мариуса холодной водой. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Полное ведро в один миг окрасилось кровью.

Доктор был погружен в печальные размышления. По временам он отрицательно покачивал головой, словно отвечая на вопросы, которые сам себе задавал. Дурной знак для больного – эти таинственные диалоги врача с сачим собой!

В ту минуту, когда доктор обтирал лицо раненого, осторожно касаясь пальцами все еще закрытых век, в глубине гостиной распахнулась дверь и появилась высокая белая фигура.

Это был дед.

Последние два дня мятеж сильно волновал, возмущал и тревожил Жильнормана. Прошлую ночь он не смыкал глаз, и весь день его лихорадило. Вечером он улегся спать очень рано, приказав накрепко запереть весь дом, и от усталости наконец задремал.

Сон у стариков чуткий; спальня Жильнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все предосторожности, шум разбудил его. Удивленный светом, проникавшим сквозь дверную щель, он встал с постели и ощупью добрался до двери.

Он остановился на пороге в изумлении, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, слегка вытянув трясущуюся голову; на нем был белый облегавший тело халат, прямой и гладкий, точно саван; казалось, это призрак заглядывает в могилу.

Он увидел ярко освещенную кровать и распростертого на ней окровавленного молодого человека, бледного, как воск, с закрытыми глазами, полуоткрытым ртом и бескровными губами, обнаженного по пояс, в багровых ранах, неподвижного.

Старик задрожал всем телом; глаза его с желтыми от старости белками затуманились и остекленели, лицо осунулось, покрылось землистыми тенями, руки безжизненно повисли, точно в них сломалась пружина, раздвинутые пальцы старческих рук судорожно вздрагивали, колени подогнулись, распахнувшийся халат открыл худые голые ноги, заросшие седыми волосами; он прошептал:

– Мариус!

– Сударь! – сказал Баск. – Господина Мариуса только что принесли. Он пошел на баррикаду, и там…

– Он убит! – воскликнул старик страшным голосом. – Ах, разбойник!

И вдруг, словно после загробного преображения, этот столетний старец выпрямился во весь рост, как юноша.

– Сударь! – сказал он. – Вы врач. Скажите мне только одно: он умер, не правда ли?

Доктор, встревоженный до последней степени, хранил молчание.

Заломив руки, Жильнорман разразился горьким смехом:

– Он умер! Он умер! Он дал себя убить на баррикаде! Из ненависти ко мне! Он сделал это мне назло! О кровопийца! Вот каким он вернулся ко мне! Горе мне, он умер!

Он подошел к окну, распахнул его настежь, как будто ему не хватало воздуха, и, стоя лицом к лицу с тьмой, заговорил в ночь, оглашая воплями спящую улицу:

– Исколот, изрублен, зарезан, искромсан, загублен, рассечен на куски! Посмотрите на него – каков негодяй! Он прекрасно знал, что я жду его, что я велел приготовить для него комнату, что я повесил у изголовья постели его детский портрет! Он отлично знал, что ему стоило только вернуться, что я призывал его долгие годы, что целыми вечерами я просиживал у камелька, сложив руки на коленях дурак дураком, не зная, чем себя занять! Ты отлично понимал, что тебе стоит только вернуться и сказать: «Вот и я!» – и ты станешь полным хозяином, и я буду повиноваться тебе, и ты будешь делать все что вздумается с твоим старым растяпой-дедом! Ты это знал и все-таки решил: «Нет, он роялист, я не пойду к нему!» И ты побежал на баррикаду и дал убить себя из одного окаянства, назло, чтобы отомстить за мои

слова о его светлости герцоге Беррийском! Это подло. Ложитесь после этого в постель и попробуйте спать спокойно! Он умер. Вот оно, мое пробуждение.

Доктор начал тревожиться уже за обоих; покинув на минуту Мариуса, он подошел к Жильнорману и взял его за руку. Старик обернулся, посмотрел на него расширенными, налившимися кровью глазами и медленно произнес:

– Благодарю вас, сударь. Я спокоен, я мужчина, я видел кончину Людовика Шестнадцатого и умею переносить испытания. Но вот что ужасно – это мысль, что все зло от ваших газет. Пускай у вас будут писаки, краснобаи, адвокаты, ораторы, трибуны, словопрения, прогресс, просвещение, права человека, свобода печати, но вот в каком виде принесут домой ваших детей! Ах, Мариус, это чудовищно! Убит! Умер раньше меня! На баррикаде! Ах, бандит! Доктор! Вы, кажется, живете в нашем квартале? Я хорошо вас знаю. Я часто вижу из окна, как вы проезжаете мимо в кабриолете. Я вам все скажу. Вы напрасно думаете, что я сержусь. На мертвых не сердятся Это было бы нелепо. Но ведь я вырастил этого ребенка. Я был уже стар, когда он был еще малюткой. Он играл в парке Тюильри с лопаткой и тележкой, и, чтобы сторожа не ворчали, я терпеливо заравнивал тростью все ямки в песке от его лопаточки. И вот однажды он крикнул: «Долой Людовика Восемнадцатого!» – и ушел из дому. Это не моя вина. Он был такой розовый, такой белокурый. Мать его умерла. Вы заметили, что маленькие дети все белокурые? Отчего это? Он сын одного из тех луарских разбойников, но ведь дети не отвечают за преступления отцов. Я помню его, когда он был вот такого роста. Ему никак не удавалось выговорить букву д. Он щебетал так нежно и так непонятно, точно птенчик. Помню, как однажды, возле статуи Геркулеса Фарнезского, все обступили этого ребенка, любуясь и восхищаясь им, до того он был хорош! Только на картинах увидишь такие очаровательные головки. Напрасно я говорил сердитым голосом, грозил ему тростью, – он отлично понимал, что это не всерьез. Когда по утрам он вбегал ко мне в спальню, я ворчал, но мне казалось, что взошло солнце. Невозможно устоять против таких малышей. Они завладевают нами, держат и не выпускают. По правде сказать, не было ничего на свете прелестней этого ребенка. После этого чего стоят все ваши Лафайеты, Бенжамены Константы, Тиркюи де Корсели, все те, кто отнял его у меня? Это им даром не пройдет!

Он приблизился к мертвенно бледному, безжизненному Мариусу, возле которого хлопотал врач, и заломил руки. Бескровные губы его шевелились как бы непроизвольно, из них вырывались, словно слабые вздохи среди предсмертного хрипа, почти неуловимые, бессвязные слова:

– Ах, бессердечный! Ах, якобинец! Злодей! Разбойник!

Умирающий еле слышным голосом упрекал мертвеца.

Внутренние потрясения неизбежно должны излиться в словах, и речь деда мало-помалу снова стала связной, но ему не хватало сил: голос звучал так глухо и слабо, как будто доносился с другого края пропасти.

– Мне все равно, я и сам скоро умру. Подумать только, разве сыщется в Париже такая чудачка, которая была бы не рада составить счастье этого негодника! Бессовестный! Вместо того чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, он пошел драться и дал изрешетить себя пулями, как дурак! И было бы за что! За республику! Вместо того чтобы танцевать на балу в Шомьер, как надлежит молодым людям! Ведь ему только двадцать лет! Республика! Что за чертова чепуха! Бедные матери! Рожайте после этого красивых мальчиков! И вот он умер. Значит, из наших ворот выйдут одна за другой две похоронные процессии. Итак, ты отколол такую штуку ради прекрасных глаз генерала Ламарка? Чем ты ему обязан, генералу Ламарку? Этому рубаке, этому болтуну? Пошел на смерть ради покойника! Есть от чего с ума сойти! Поймите! Двадцать лет от роду! И даже не оглянулся на то, что осталось позади! И вот бедному старику придется умирать в одиночестве. Подыхай в своем углу, старый филин! Ну что ж, пожалуй, так лучше, именно этого я и хотел, это убьет меня сразу. Я слишком стар, мне сто

лет, мне сто тысяч лет, мне уж давным-давно пора умереть. Этот удар доконает меня. Значит, все кончено. Слава богу! Зачем давать ему нюхать нашатырь и пить всякую дрянь? Вы напрасно теряете время, безмозглый вы лекарь! Будет вам, он же умер, умер по-настоящему. Уж я-то понимаю в этом толк, я тоже мертвец. Он довел дело до конца. Подлое, жалкое, гнусное время! Вот что я думаю о вас, о ваших идеях, системах, ваших главарях, оракулах, врачах, негодяях-писателях, прощелыгах-философах, о ваших революциях, которые за все шестьдесят лет только распугали ворон в Тюильри! И если ты настолько безжалостен, что погубил себя ради этого, то и поделом, я и горевать о тебе не стану. Слышишь ли ты, убийца?

В эту минуту веки Мариуса медленно раскрылись, и его взгляд, еще затуманенный забытьем, с удивлением обратился на Жильнормана.

– Мариус! – вскричал старик. – Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив, благодарю тебя!

И он упал без чувств.

Книга четвертая
Жавер сбился с пути

Медленным шагом Жавер удалился с улицы Вооруженного человека.

Впервые в жизни он шел опустив голову, и также впервые в жизни – заложив руки за спину.

До этого дня из двух поз Наполеона Жавер заимствовал только ту, что выражает уверенность, – руки, скрещенные на груди, поза, выражающая нерешительность – руки за спиной, – была ему незнакома. Но теперь произошел перелом, в его медлительной, угрюмой походке ощущалась душевная тревога.

Он углубился во тьму уснувших улиц.

Однако его путь лежал в определенном направлении.

Свернув кратчайшей дорогой к Сене, он вышел на набережную Вязов, пошел вдоль берега, миновал Гревскую площадь и остановился на углу моста Богоматери, не доходя караульного поста на площади Шатле. В этом месте огороженная мостами Богоматери и Менял, а с боков набережными Сыромятной и Цветочной, Сена образует нечто вроде квадратного озера с быстриной посредине.

Лодочники избегают этого участка Сены. Ничего нет опаснее ее быстрины, которая в те времена еще была зажата здесь с боков и гневно бурлила между сваями мельницы, выстроенной на мосту и впоследствии разрушенной. Два моста, расположенные на таком близком расстоянии, еще увеличивают опасность, так как вода со страшной силой устремляется под их арки. Она катится туда широкими бурными потоками, клокочет и вздымается, волны яростно набрасываются на мостовые быки, словно стараясь вырвать их с корнем мощными водяными канатами. Упавший туда человек уже не всплывет на поверхность, даже лучшие пловцы здесь тонут.

Жавер облокотился на парапет, подперев обеими руками подбородок, и задумался, машинально запустив пальцы в свои густые бакенбарды.

В его душе произошел перелом, переворот, катастрофа, ему было о чем подумать.

Вот уже несколько часов, как он не узнавал сам себя. Он был в смятении; ум его, столь ясный в своей слепоте, потерял присущую ему прозрачность; чистый кристалл замутился. Жавер чувствовал, что понятие долга раздвоилось в его сознании, и не мог скрыть этого от себя. Когда он так неожиданно встретил на берегу Сены Жана Вальжана, в нем проснулся инстинкт волка, наконец-то схватившего добычу, и вместе с тем инстинкт собаки, которая вновь нашла своего хозяина.

Он видел перед собою два пути, одинаково прямых, но их было два; это ужасало его, так как всю жизнь он следовал только по одной прямой линии. И, что особенно мучительно, оба

пути были противоположны. Каждая из этих прямых линий исключала другую. Которая же из двух правильна?

Положение его было невыразимо трудным.

Быть обязанным жизнью преступнику, признать этот долг и возвратить его; наперекор себе самому сравняться с закоренелым злодеем, отплатить ему услугой за услугу; дойти до того, чтобы сказать себе: «Уходи!», а ему: «Ты свободен!»; пожертвовать долгом, этой общей для всех обязанностью, ради побуждений личных, и вместе с тем чувствовать за личными побуждениями некий столь же общеобязательный, а может быть, и высший закон; предать общество, чтобы остаться верным своей совести! Надо же, чтобы все эти нелепости произошли на самом деле и свалились именно на него! Вот что его доконало.

Случилось нечто неслыханное, удивившее его: Жан Вальжан его пощадил; но случилось и другое, что окончательно его сразило: он сам пощадил Жана Вальжана.

До чего же он дошел? Он старался понять и не узнавал себя.

Что же делать? Выдать Жана Вальжана было дурно; оставить Жана Вальжана на свободе тоже было преступно. В первом случае представитель власти падал ниже последнего каторжника; во втором – колодник возвышался над законом и попирал его ногами. В обоих случаях обесчещенным оказывался он, Жавер. Что бы он ни решил, исход один – конец. В судьбе человека встречаются отвесные кручи, откуда не спастись, откуда вся жизнь кажется глубокой пропастью. Жавер стоял на краю такого обрыва.

Особенно угнетала его необходимость размышлять. Жестокая борьба противоречивых чувств принуждала его к этому. Мыслить было для него непривычно и необыкновенно мучительно.

В мыслях всегда кроется известная доля тайной крамолы, и его раздражало, что он не уберегся от этого.

Любая мысль, выходящая за пределы узкого круга его обязанностей, при всех обстоятельствах представилась бы ему бесполезной и утомительной; но думать о событиях истекшего дня казалось ему пыткой. Однако, после стольких потрясений, необходимо было заглянуть в свою совесть и отдать себе отчет о самом себе.

Он ужасался тому, что сделал. Он, Жавер, вопреки всем полицейским правилам, всем политическим и юридическим установлениям, всему кодексу законов, счел возможным отпустить преступника на свободу; так ему заблагорассудилось; он подменил своими личными интересами интересы общества. Неслыханно! Всякий раз, возвращаясь к этому не имеющему названия поступку, он содрогался с головы до ног. На что решиться? Ему оставалось одно – не теряя времени, вернуться на улицу Вооруженного человека и взять под стражу Жана Вальжана. Конечно, следовало поступить только так. Но он не мог.

Что-то преграждало ему путь в ту сторону.

Но что же? Что именно? Разве существует на свете что-нибудь, кроме судов, судебных приставов, полиции и властей? Жавер был потрясен.

Каторжник, личность которого неприкосновенна! Арестант, неуловимый для полиции! И все это по вине Жавера!

Разве не ужасно, что Жавер и Жан Вальжан, два человека, целиком принадлежащие закону и созданные один, чтобы карать, другой, чтобы терпеть кару, вдруг оба дошли до того, что попрали закон?

Как же так? Неужели могут произойти столь чудовищные вещи, и никто не будет наказан? Неужели Жан Вальжан оказался сильнее установленного порядка и останется на свободе, а он, Жавер, будет по-прежнему получать жалованье от казны?

Его раздумье становилось все более мрачным.

Он мог бы, помимо всего прочего, упрекнуть себя еще и за бунтовщика, которого доставил на улицу Сестер страстей господних, но он даже не думал о нем. Мелкий проступок затмевала более тяжкая вина. Кроме того, бунтовщик, несомненно, был мертв, а со смертью, согласно закону, прекращается и преследование.

Жан Вальжан – вот тяжкий груз, давивший на его совесть.

Жан Вальжан сбивал его с толку. Все правила, служившие ему опорой на протяжении всей жизни, рушились перед лицом этого человека. Великодушие Жана Вальжана по отношению к нему, Жаверу, подавляло его. Другие поступки Жана Вальжана, которые прежде он считал лживыми и безрассудными, теперь являлись ему в истинном свете. За Жаном Вальжаном вставал образ Мадлена, и два эти лица, наплывая друг на друга, сливались в одно, светлое и благородное. Жавер чувствовал, как в душу его закрадывается нечто недопустимое – преклонение перед каторжником. Уважение к острожнику, мыслимо ли это? Он дрожал от волнения, но не мог справиться с собой Как он ни противился этому, ему приходилось признать в глубине души нравственное превосходство отверженного. Это было нестерпимо.

Милосердный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помогает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает человека, который оскорбил его, – преступник, коленопреклоненный на высотах добродетели, более близкий к ангелу, чем к человеку! Жавер вынужден был признать, что подобное диво существует на свете.

Дальше так продолжаться не могло.

Правда, – и мы на этом наслаиваем, – Жавер не без борьбы отдался во власть чудовищу, нечестивому ангелу, презренному герою, который вызывал в нем почти в равной мере и негодование и восхищение. Когда он ехал в карете один на один с Жаном Вальжаном, сколько раз в нем возмущался и рычал тигр законности! Сколько раз его одолевало желание броситься на Жана Вальжана, схватить его и растерзать, иными словами, арестовать! В самом деле, что могло быть проще? Крикнуть, поравнявшись с первым же караульным постом «Вот беглый каторжник, укрывающийся от правосудия!» Позвать жандармов и заявить: «Берите его!» Потом уйти, оставить им проклятого злодея и больше ничего не знать, ни во что не вмешиваться. Ведь этот человек – пожизненный пленник закона; пусть закон и распоряжается им, как пожелает. Что может быть справедливее? Все это Жавер говорил себе; более того, он хотел действовать, хотел схватить свою жертву, но и тогда и теперь был не в силах это сделать; всякий раз, как его рука судорожно протягивалась к вороту Жана Вальжана, она падала, словно была налита свинцом, а в глубине его сознания звучал голос, странный голос, кричавший ему: «Хорошо! Предай своего спасителя. А затем, как Понтий Пилат, вели принести сосуд с водой и умой свои когти».

Потом его мысли обращались на него самого, и рядом с величавым образом Жана Вальжана он видел себя, Жавера, жалким и униженным.

Его благодетелем был каторжник!

В сущности с какой стати он разрешил этому человеку подарить ему жизнь? Он имел право бить убитым на баррикаде. Ему следовало воспользоваться этим правом. Он должен был позвать других повстанцев на помощь и насильно заставить их расстрелять себя. Так было бы лучше.

Мучительнее всего была утрата веры в себя. Он потерял почву под ногами. От жезла закона в его руке остались одни лишь обломки. Неведомые раньше сомнения одолевали его. В нем происходил нравственный перелом, некое откровение, глубоко отличное от того правосознания, какое до сей поры служило единственным мерилом его поступков. Оставаться в рамках прежней честности казалось ему недостаточным. Целый рой неожиданных событий обступил его и поработил. Новый мир открылся его душе; благодеяние, принятое и

вознагражденное, самоотверженность, милосердие, терпимость, победа сострадания над суровостью, доброжелательство, отмена приговора, пощада осужденному, слезы в очах правосудия, некая непостижимая божественная справедливость, противоположная справедливости человеческой. Он видел во мраке грозный восход неведомого солнца; оно ужасало и ослепляло его, Филин был вынужден смотреть глазами орла.

Он говорил себе: значит, правда, что бывают исключения, что власть может заблуждаться, что перед некоторыми явлениями правило становится в тупик, что не все умещается в своде законов, что приходится покоряться непредвиденному, что добродетель каторжника может расставить сети для добродетели чиновника, что чудовищное может обернуться божественным, что жизнь таит в себе подобные западни, и думал с отчаянием, что он и сам был захвачен врасплох.

Он вынужден был признать, что добро существует. Каторжник оказался добрым. И сам он – неслыханное дело! – только что проявил доброту. Значит, он обесчестил себя.

Он считал себя подлецом. Он внушал ужас самому себе.

Идеал для Жавера заключался не в том, чтобы быть человечным, великодушным, возвышенным, а в том, чтобы быть безупречным. И вот он совершил проступок.

Как он дошел до этого? Как все это случилось? Он и сам не мог бы сказать. Он сжимал голову обеими руками, но сколько ни думал, ничего не мог объяснить.

Разумеется, он все время намеревался передать Жана Вальжана в руки правосудия, чьим пленником был Жан Вальжан и чьим рабом был он, Жавер. Пока Жан Вальжан находился в его власти, он ни разу не признался себе, что втайне решил отпустить его. Словно без его ведома, рука его сама собой разжалась и выпустила пленника.

Множество жгучих, мучительных загадок предстало перед ним. Он задавал себе вопросы и отвечал на них, но ответы пугали его. Он спрашивал себя: «Когда я попался в лапы этому каторжнику, безумцу, которого я безжалостно преследовал, и он мог отомстить мне и даже должен был отомстить, не только из злопамятства, но и ради собственной безопасности, – что же он сделал, даровав мне жизнь и пощадив меня? Исполнил свой долг? Нет. Нечто большее. А я, когда тоже пощадил его, – что я сделал? Выполнил свой долг? Нет. Нечто большее. Следовательно, существует нечто большее, чем выполнение долга?» Здесь он терялся, душевное его равновесие нарушалось; одна чаша весов падала в пропасть, другая взлетала к небу, и та, что была наверху, устрашала Жавера не меньше, чем та, что была внизу. Он отнюдь не был ни вольтерьянцем, ни философом, ни неверующим – напротив, он чувствовал инстинктивное почтение к официальной религии, однако рассматривал ее как возвышенный, но несущественный элемент социального целого; установленный порядок был его единственным догматом и вполне его удовлетворял; с тех пор как он стал зрелым человеком и чиновником, он обратил почти все свое религиозное чувство на полицию и служил сыщиком, – мы говорим это без малейшей насмешки, с полной серьезностью, – служил сыщиком, как служат священником. Он знал своего начальника, г-на Жиске, и до сей поры ни разу не подумал о другом начальнике – о господе боге.

Внезапно почувствовав этого нового хозяина, бога, он пришел в замешательство.

Неожиданно оказавшись перед лицом бога, он растерялся; он не знал, как вести себя с таким властелином; ему было известно, что подчиненный всегда обязан слепо повиноваться, не имея права ни ослушаться, ни порицать, ни оспаривать, и что в случае слишком странного приказа у подначального остается один выход – подать в отставку.

Но как просить бога об отставке?

Что бы там ни было, Жавер возвращался к факту, заслонявшему для него все остальное, – он только что совершил тяжкое преступление. Он не задержал закоренелого злодея, беглого каторжника. Он выпустил острожника на волю. Он украл у представителей закона человека, принадлежавшего им по праву. Он действительно совершил это. Он перестал понимать, он не

узнавал себя. Причины такого поступка ускользали от него, от одной мысли у него кружилась голова. До этой минуты он жил слепой верой, порождающей суровую честность. Теперь он потерял веру, а с нею и честность. Все, чему он поклонялся, разлетелось в прах. Ненавистные истины преследовали его неотвязно. Отныне надо стать другим человеком. Он испытывал странные муки, словно с его сознания внезапно сняли катаракту. Он прозрел и увидел то, чего видеть не желал. Он чувствовал себя опустошенным, бесполезным, вырванным из прошлого, уволенным с должности, уничтоженным. В нем умер представителе власти. Его жизнь потеряла всякий смысл.

Какое ужасное состояние – быть растроганным!

Быть гранитом и усомниться! Быть изваянием кары, отлитым из одного куска по установленному законом образцу, и вдруг ощутить в бронзовой груди что-то непокорное и безрассудное, почти похожее на сердце! Дойти до того, чтобы отплатить добром за добро, хотя всю жизнь он внушал себе, что подобное добро есть зло! Быть сторожевым псом – и ластиться к чужому! Быть льдом – и растаять! Быть клещами – и обратиться в живую руку! Почувствовать вдруг, как пальцы разжимаются! Выпустить пойманную добычу – какое страшное падение!

Человек-снаряд вдруг сбился с пути и летит вспять!

Приходилось признаться самому себе в том, что непогрешимость не безгрешна, что в догмат может вкрасться ошибка, что в своде законов сказано не все, общественный строй несовершенен, власть подвержена колебаниям, нерушимое может разрушиться, судья такие же люди, как все, закон может обмануться, трибуналы могут ошибиться! На громадном синем стекле небесной тверди зияла трещина.

То, что происходило в душе Жавера, в его прямолинейной совести, можно было сравнить с крушением в Фампу; душа его словно сошла с рельсов, честность, неудержимо мчавшаяся по прямому пути, оказалась разбитой вдребезги, столкнувшись с богом. Казалось невероятным, чтобы машинист общественного порядка, кочегар власти, оседлавший слепого железного коня, способного мчаться лишь в одном направлении, мог быть выбит из седла лучом света! Чтобы неизменное, прямое, точное, геометрически правильное, покорное, безукоризненное могло изменить себе! Неужели и для локомотива существует путь в Дамаск?

Бог в человеке, его истинная совесть, которая отвергает совесть ложную, запрещает искре гаснуть, повелевает лучу помнить о солнце, приказывает душе отличать настоящую истину от столкнувшейся с нею мнимой истины, – этот родник человечности, неумолчный голос сердца, это изумительное чудо, быть может, самое прекрасное из наших внутренних сокровищ, – понимал ли его Жавер? Постигал ли его Жавер? Отдавал ли себе отчет? Очевидно, нет. Но он чувствовал, что череп его готов расколоться под гнетом непостижимой непреложности.

Он не обратился к богу, увидев чудо, – он стал его жертвой. Он покорился с отчаянием. Он видел во всем этом лишь невозможность жить. Ему казалось, что дыхание его стеснено навеки.

Чувствовать над собой неведомое было для него непривычно.

Все, что до той поры стояло выше его, представлялось его взору гладкой поверхностью, простой, ровной, прозрачной; в ней не было ничего непонятного, ничего темного; ничего, кроме точного, упорядоченного, согласованного, ясного, отчетливого, определенного, ограниченного, законченного; все было предусмотрено; власть расстилалась перед ним ровной плоскостью, без круч и обрывов; она не вызывала головокружения. Жаверу случалось видеть неведомое только внизу, на дне. Беззаконное, непредвиденное, беспорядочное, провал в хаос, падение в пропасть – все это было уделом низших слоев, бунтовщиков, злодеев, отверженных. Теперь же, упав навзничь, Жавер вдруг пришел в ужас от небывалого зрелищабездна разверзлась над ним, в вышине.

Что же это такое? Все перевернулось вверх дном; он был окончательно сбит с толку. На что положиться? Все, во что он верил, рушилось!

Что случилось? Какой-то отверженный с великодушным сердцем сумел найти в общественном строе уязвимое место? Как же так? Честный служитель закона принужден выбирать между двумя преступлениями: отпустить человека – преступление, арестовать его – тоже преступление! Значит, в уставе, данном государством чиновнику, не все предусмотрено? Значит, на путях долга могут встретиться тупики? Что же это такое? Неужели так и должно быть? Неужели прежний бандит, согбенный под тяжестью обвинений, мог расправить плечи, неужели правда на его стороне? Можно ли этому поверить? Неужели бывают случаи, когда закон, бормоча извинения, должен отступить перед преступником?

Да, такое чудо произошло! И Жавер его видел! И Жавер осязал его! Он не только не мог отрицать его, но сам в нем участвовал. Оно было реальностью. Ужасно, что факты могли дойти до такого уродства.

Если бы факты выполняли свое назначение, они служили бы лишь подтверждением закону; ведь факты посылаются богом. Неужто в наше время и анархия нисходит свыше?

Так в тоске, в тревожном недоумении, в искаженных образах меркло все, что могло бы облегчить и улучшить его состояние; общество, человечество, вселенная представлялись его глазам в простых и страшных очертаниях. Стало быть, система наказаний, вынесенное решение, непререкаемая сила закона, приговор верховного суда, магистратура, правительство, следствие и карательные меры, официальная мудрость, непогрешимость закона, основы власти, все догматы, на которых зиждется политическая н гражданская безопасность, верховная власть, правосудие, логика закона, устои общества, общепризнанные истины-все это только мусор, груда обломков, хаос! И сам он, Жавер, – блюститель порядка, неподкупный слуга полиции, провидение в образе ищейки на страже общества, – испепелен и повержен наземь. А над этими развалинами возвышается человек в арестантском колпаке, с сиянием вокруг чела. Вот до какого потрясения основ он дошел; вот какое страшное видение угнетало его душу.

Можно ли это вынести? Нет.

Если все это так, он в отчаянном положении. Остается два выхода. Один – вернуться немедля к Жану Вальжану и заточить беглого каторжника в тюрьму. Другой выход…

Жавер сошел с моста и твердым шагом, на этот раз с высоко поднятой головой, направился к полицейскому посту под фонарем, на углу площади Шатле.

Подойдя, он увидел в окно дежурного сержанта и вошел внутрь. Полицейские узнают друг друга сразу, хотя бы по манере толкнуть дверь в караульное помещение. Жавер назвал себя, показал сержанту свой билет и уселся за столом, где горела свеча. На столе стояла свинцовая чернильница, лежали перья и бумага на случай протоколов или для письменных распоряжений ночным караулам.

Такой стол, с неизменным соломенным стулом возле него, по заведенному обычаю есть на всех полицейских постах; его непременно украшает блюдце самшитового дерева, полное опилок, и картонная коробочка с красными облатками для запечатывания писем; этот стол – низшая ступень канцелярского стиля. Именно отсюда и идут официальные донесения.

Жавер взял перо и листок бумаги и принялся писать. Вот что он написал:

«Несколько заметок для пользы полицейской службы.

Во-первых: я прошу господина префекта прочесть то, что следует ниже.

Во-вторых: арестанты после допроса разуваются и стоят на полу босиком, пока их обыскивают. Многие, вернувшись в тюрьму, начинают кашлять. Это влечет за собой расходы на лечение.

В-третьих наблюдение, со сменой агентов на отдельных участках, поставлено хорошо; но в особо важных случаях следовало бы, чтобы по крайней мере два агента не теряли друг друга из виду; если один из них почему-либо ослабит бдительность, другой следит за ним и заступает его место.

В-четвертых: непонятно, почему в тюрьме Мадлонет особым распоряжением запрещено заключенным иметь стулья, даже за плату.

В-пятых: в тюрьме Мадлонет закусочная отгорожена только двумя перекладинами, что позволяет арестантам хватать за руки буфетчицу.

В-шестых: арестанты, именуемые «выкликалами» и вызывающие других арестантов в приемную, требуют по два су с заключенного, чтобы выкрикивать их имена поотчетливее. Это грабеж.

В-седьмых: в ткацкой мастерской за каждую спущенную нитку вычитают по десять су с заключенного, что является злоупотреблением со стороны подрядчика, так как холст от этого нисколько не хуже.

В-восьмых: недопустимо, что посетители тюрьмы Форс, направляясь в приемную приюта св. Марии Египетской, проходят через двор малолетних преступников.

В-девятых: замечено, что жандармы каждый день рассказывают во дворе префектуры о допросах обвиняемых. Жандарм должен быть безупречным, и ему не подобает разбалтывать то, что он слышал в кабинете следователя, – это важный проступок.

В-десятых: госпожа Анри – честная женщина и содержит свою закусочную очень чисто; но женщине не годится быть привратницей возле одиночных камер. Это недостойно тюрьмы Консьержери, как образцового учреждения».

Жавер вывел эти строки обычным своим ровным и аккуратным почерком, не пропустив ни одной запятой и громко скрипя пером по бумаге. Внизу, под последней строкой, он подписал:

«Инспектор 1-го класса Жавер.

Полицейский пост на площади Шатле.

7 июня 1832 года, около часу пополуночи».

Жавер посушил свежие чернила на бумаге, сложил ее в виде письма, запечатал, надписал на обороте: «Донесение для администрации», положил на стол и вышел из комнаты. Застекленная, забранная решеткой дверь захлопнулась за ним.

Он снова пересек по диагонали площадь Шатле, достиг набережной и, возвратившись с точностью автомата на то самое место, какое покинул четверть часа назад, облокотился на ту же плиту парапета и приняв ту самую позу. Могло показаться, что он и не трогался с места.

Было совсем темно. Наступил тот час мертвой тишины, какой бывает после полуночи. Завеса облаков скрывала звезды. Небо застилала густая зловещая мгла. Ни один огонек не светился в домах квартала Сите; прохожих не было, все ближние улицы и набережные опустели; Собор Парижской Богоматери и башни Дворца правосудия казались очертаниями самой ночи. Фонарь освещал края перил красноватым светом. Силуэты мостов изгибались вдали один за другим, расплываясь в тумане. Река вздулась от дождей.

Место, где облокотился па перила Жавер, как помнит читатель, находилось над самой быстриной Сены, как раз над опасной спиралью водоворота, которая скручивалась и раскручивалась, точно бесконечный винт.

Жавер наклонил голову и заглянул вниз. В черную воду. Ничего нельзя было различить. Вода бурлила, но реки не было видно. По временам в головокружительной глубине вспыхивал, извиваясь, блуждающий огонек, так как даже в самую темную ночь вода обладает способностью ловить свет неизвестно откуда и отражать его искрящимися змейками. Но огонек потухал, и все снова тонуло во мгле. Будто там разверзалась сама бесконечность. Внизу была

не вода, а бездна. Отвесная темная стена набережной, сливаясь с туманом и пропадая во тьме, круто обрывалась в эту бесконечность.

Ничего не было видно, но тянуло холодом воды и слабым запахом сырых камней. В глубине слышалось грозное дыхание бездны. Вздувшаяся река, которую скорее можно было угадать, чем увидеть, угрюмый рокот волн, унылая громада мостовых арок, манящая глубь черной пустоты – весь этот мрак наводил ужас.

Несколько мгновений Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в отверстые врата ночи; он вглядывался в невидимое пристально, с упорным вниманием. Шумела вода. Вдруг он снял шляпу и положил ее на перила. Минуту спустя высокая черная тень, которую запоздалый прохожий мог бы издали принять за привидение, поднялась во весь рост на парапете, наклонилась над Сеной, затем выпрямилась и упала во тьму; раздался глухой всплеск, и одна только ночь видела, как билась в судорогах эта темная фигура, исчезая под водой.

Книга пятая

Дед и внук

Глава первая.

Читатель снова видит дерево с цинковым кольцом

Некоторое время спустя после описанных нами событий почтенному Башке пришлось испытать сильное волнение.

Башка – тот самый шоссейный рабочий из Монфермейля, который нам уже встречался в наиболее мрачных главах этой повести.

Как помнит читатель, Башка занимался разнообразными делами, в том числе и темными. Он разбивал камни и грабил путешественников на большой дороге. Этого камнебойца и вора обуревала одна мечта: он бредил сокровищами, зарытыми в Монфермейльском лесу. Он надеялся в один прекрасный день где-нибудь под деревом найти в земле клад, а в ожидании этого не прочь был пошарить в карманах прохожих.

Однако теперь он держался осторожно. Ему только недавно удалось выйти сухим из воды. Как мы знаем, он был захвачен вместе с другими бандитами в лачуге Жондрета. Иногда порок может пригодиться. Башку спасло то, что он был пьяницей. Никто так и не мог разобраться, грабитель он или ограбленный. Ввиду вполне доказанной его невменяемости в вечер грабежа дело было прекращено, и его отпустили. Он опять вырвался на волю. Возвратившись на тот же дорожный участок между Ганьи и Ланьи, он снова принялся бить щебень для казны под наблюдением начальства, понурый, озабоченный, слегка охладев к воровскому ремеслу, которое едва его не сгубило, но зато еще более пристрастившись к вину, которое вызволило его из беды.

Что же так сильно взволновало Башку после его возвращения под дерновую кровлю своей землянки? А вот что.

Однажды утром, незадолго до рассвета, выйдя, как обычно, на место работы, возможно, служившее ему и местом засады, Башка заметил в зарослях человека, который, хотя был виден только со спины, показался ему, несмотря на расстояние и предрассветный сумрак, не совсем незнакомым Башка, правда, пил горькую, однако обладал точной и ясной памятью – необходимым защитным оружием всякого, кто не очень-то ладит с правопорядком.

– Где, черт возьми, я видел этого старикана? – спрашивал он себя.

И ничего не мог ответить, кроме того, что фигура эта напоминала кого-то, кто оставил неясный след в его памяти.

Башка, оставив в стороне сходство, которое ему никак не удавалось установить, принялся соображать и сопоставлять. Человек этот явно нездешний. Он откуда-то прибыл. Очевидно, пешком. Ни один дилижанс не проезжает через Монфермейль в такие часы. Значит, он шел целую ночь. Откуда он явился? Не издалека, так как у него не было с собой ни котомки, ни

узла. Наверно, из Парижа. Почему он забрался в лес? Да еще в такую раннюю пору? Чего ему тут нужно?

Башка подумал о кладе. Порывшись в памяти, он смутно припомнил, что много лет назад его охватило такое же беспокойство при виде одного человека. А вдруг это тот же самый!

Раздумывая таким образом, он опустил голову под грузом размышлений, что было естественно, но не слишком предусмотрительно. Когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец исчез в чаще, в предрассветном тумане.

– Черт меня подери, если я его провороню! – воскликнул Башка – Уж я разыщу молельню этого ханжи. Неспроста он вышел на прогулку ни свет ни заря, у ж я-то дознаюсь, в чем тут загвоздка. В моем лесу не бывало еще тайны, которой бы я не распутал.

Башка схватил свою острую кирку.

– Пригодится и в земле поковырять и человека ковырнуть, – проворчал он.

Словно связав нить с нитью, он, стараясь как можно лучше угадать предполагаемый путь незнакомца, начал пробираться сквозь заросли.

Не успел он сделать и сотни шагов, как разгоравшийся рассвет пришел ему на помощь. Там и сям виднелись отпечатки подошв на песке, примятая трава, растоптанный вереск, согнутые молодые ветки кустарника, распрямлявшиеся с медлительной грацией красавицы, которая потягивается, просыпаясь, – все это были верные приметы. Он долго шел по следу, потом потерял его. Время уходило. Он углубился в лес и вышел на пригорок. Охотник, проходивший на заре по дальней тропинке, насвистывая песенку Гильери, навел его на мысль взобраться на дерево. Несмотря на свои годы, он был очень ловок. Поблизости стоял высокий бук, достойный Титира и Башки. Башка вскарабкался на дерево, как только мог выше.

Это была превосходная мысль. Оглядывая лесную глушь, в той стороне, где деревья превращаются в непроходимую чащу, Башка вдруг опять увидел человека.

Едва он успел его заметить, как снова потерял из виду.

Незнакомец вышел, или, вернее, проскользнул, на довольно отдаленную прогалину, скрытую густыми деревьями, которую Башка очень хорошо знал, так как приметил там, возле большой кучи известняка, больное каштановое дерево с цинковым кольцом на пораженном стволе, прибитым гвоздями прямо к коре. Это та самая полянка, что в старину называли «прогалиной Бларю». Груда камней, неизвестно для чего предназначенная и лежавшая там еще лет тридцать назад, верно, и теперь на том же месте. Ничто не может сравниться по долговечности с кучей камней, кроме разве деревянного забора. Возникают они на время – лучший предлог, чтобы остаться надолго!

Обрадованный Башка поспешно слез с дерева, вернее – скатился. Логово было открыто, оставалось изловить зверя. Вероятно, там же был и пресловутый клад, о котором он так долго мечтал.

Добраться до полянки было вовсе нелегким делом. По протоптанным стежкам, которые извивались, делая тысячу досадных поворотов, пришлось бы идти добрых четверть часа. Если же продираться напрямик сквозь густые заросли, на редкость колючие и цепкие в этих местах, надо было потратить целых полчаса. Вот чего Башка не сумел сообразить. Он доверился прямой линии – это вполне допустимый обман зрения, однако он губит многих людей. Чаща, как ни была она непроходима, показалась ему верной дорогой.

– Махнем по волчьему проспекту Риволи, – сказал он себе.

Привыкнув ходить окольными путями, Башка на сей раз ошибся, пойдя напрямик.

Он решительно ринулся в драку с кустарником.

Ему пришлось схватиться с диким терновником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом, с сердитой ежевикой. Он был весь исцарапан.

На дне овражка оказалась вода, которую пришлось переходить вброд.

Наконец, минут через сорок он добрался до прогалины Бларю, весь в поту, мокрый, запыхавшийся, исцарапанный, рассвирепевший.

На прогалине никого не было.

Башка бросился к груде камней. Она лежала на прежнем месте. Никто ее не уносил.

А человек исчез в лесу. Он сбежал. Куда? В какую сторону? В какой чаще он скрылся? Угадать было немыслимо.

Но вот что поразило его в самое сердце: за кучей камней, у подножия дерева с цинковым кольцом, он увидел свежевырытую землю, забытый или брошенный заступ и глубокую яму.

Яма была пуста.

– Ограбили! – закричал Башка, грозя кулаком в пространство, сам не зная кому.

Глава вторая.
После войны гражданской Мариус готовится к воине домашней

Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. Несколько недель у него продолжалась лихорадка с бредом и довольно серьезные мозговые явления, вызванные скорее сотрясением от ран в голову, чем самими ранами.

Ночи напролет он твердил имя Козетты с мрачной настойчивостью горячечного больного, со зловещим упорством умирающего. Некоторые раны угрожали серьезной опасностью, ибо нагноение широкой раны легко может распространиться и под влиянием известных атмосферных условий привести к смертельному исходу. Поэтому малейшая перемена погоды, грозы беспокоили доктора. «Главное, чтобы раненый ни в коем случае не волновался», – повторял он. Перевязки были сложным и трудным делом – в то время еще не изобрели способа скреплять липким пластырем повязки и бинты. Николетта изорвала на корпию целую простыню «шириной с потолок», как она выражалась. И лишь с большим трудом, при помощи примочек из хлористого раствора и прижигания ляписом, удалось справиться с гангреной. Пока Мариусу угрожала опасность, убитый горем Жильнорман не отходил от изголовья внука и, подобно Мариусу, был ни жив ни мертв.

Каждый день, а то и по два раза в день почтенный седой господин, очень прилично одетый, по описанию привратника, приходил справляться о самочувствии раненого и оставлял толстый пакет корпии для перевязок.

Наконец 7 сентября, день в день, ровно через четыре месяца после той ужасной ночи, когда умирающего принесли в дом деда, врач объявил, что теперь ручается за его жизнь. Началось выздоровление. Однако Мариусу предстояло еще месяца два провести полулежа на кушетке из-за осложнений, вызванных переломом ключицы. В подобных случаях обычно остается последняя рана, которая не хочет заживать, что бесконечно затягивает перевязки, к великому огорчению больного.

Впрочем, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли Мариуса от преследования. Во Франции всякий гнев, даже гнев народный, остывает по прошествии полугода. При тогдашнем настроении умов участие в мятежах было явлением до такой степени распространенным, что на это поневоле приходилось закрывать глаза.

Добавим, что беспримерный приказ префекта Жиске, предписывавший врачам выдавать раненых полиции, возмутил не только общественное мнение, но даже самого короля, и для раненых это всеобщее негодование послужило лучшей защитой и охраной; за исключением тех, кто был захвачен на поле боя, военные трибуналы не осмелились никого привлекать к ответственности. Поэтому Мариуса оставили в покое.

Жильнорман прошел все стадии отчаяния, а затем бурной радости. Его с большим трудом отговорили проводить возле раненого ночи напролет; он велел поставить свое большое кресло рядом с постелью Мариуса; он требовал, чтобы дочь употребила на компрессы и бинты самое лучшее белье, какое было в доме. Мадмуазель Жильнорман, как особа рассудительная и

умудренная годами, нашла способ припрятать тонкое белье, оставив старика в убеждении, что его приказание исполнено. Жильнорман и слышать не хотел, будто грубый холст пригоднее для корпии, чем батист, и изношенное полотно лучше нового. Он неизменно присутствовал при перевязках, во время которых девица Жильнорман стыдливо удалялась «Ай! Ай!» – вскрикивал он, когда при нем отрезали ножницами омертвелую ткань. Трогательно было видеть, как он протягивал раненому чашку с лекарственным питьем своей дрожащей старческой рукой. Он забрасывал доктора вопросами, не замечая, что постоянно задает одни и те же.

В тот день, когда врач объявил, что Мариус вне опасности, старик совсем обезумел от счастья. На радостях он подарил привратнику три луидора. Вечером в своей спальне он протанцевал гавот, прищелкивая пальцами вместо кастаньет и напевая песенку:

Жанна родом из Бордо,

Всех пастушек там гнездо.

Если Жанну видел раз, Ты увяз.

Плут Амур в нее вселился,

В глазках Жанны притаился,

Там раскинул сеть хитрец

Для сердец.

Как Диану, я пою

Жанну резвую мою.

С Жанной век свой коротать —

Благодать.

После этого Жильнорман преклонил колени на скамеечке, и Баску, который следил за ним через полуоткрытую дверь, послышалось, будто он молится.

До этих пор он совсем не верил в бога.

При каждом новом признаке выздоровления, все более и более несомненного, старец становился все сумасброднее. Он совершал множество беспричинных поступков, ища выхода для своей бурной радости, бегал вверх и вниз по лестницам, сам не зная, зачем. Одна из соседок, правда, прехорошенькая, как-то утром была совершенно поражена, получив огромный букет цветов, его прислал Жильнорман. Муж устроил ей сцену ревности. Жильнорман даже порывался сажать к себе на колени Николетту. Он называл Мариуса «господином бароном». Он кричал: «Да здравствует республика!»

Каждую минуту он приставал к доктору с вопросом: «Не правда ли, опасность миновала?» Он смотрел на Мариуса с нежностью бабушки. Он боялся дохнуть, когда Мариуса кормили. Он не помнил себя, не считался с собой. Хозяином дома был Мариус; радость старика была похожа на самоотречение, он стал внуком своего внука.

При всем сумасбродстве, это было самое благонравное дитя на свете. Боясь утомить или наскучить выздоравливающему, он становился позади него и молча ему улыбался. Он был доволен, весел, счастлив, обворожителен, он помолодел. Седые волосы придавали его сияющему лицу кроткое величие. Когда радость озаряет лицо, изборожденное морщинами, она достойна преклонения. В улыбке старости есть отсвет утренней зари.

А Мариус, не противясь перевязкам, рассеянно принимал заботы о себе и был поглощен одной лишь мыслью – о Козетте.

С тех пор как бред и лихорадка прекратились, он больше не произносил ее имени, и могло показаться, будто он перестал о ней думать. На самом же деле он молчал именно потому, что душа его была с нею.

Он не знал, что сталось с Козеттой; все происшедшее на улице Шанврери представлялось ему, как в тумане; в его памяти всплывали неясные тени – Эпонина, Гаврош, Мабеф, семья Тенардье, все его товарищи; окутанные зловещим дымом баррикады; странное появление Фошлевана в этой кровавой сече казалось ему загадкой, промелькнувшей сквозь бурю; не понимал он также, почему сам остался в живых, не знал, кто спас его и каким образом, и ничего не мог добиться от окружающих; ему сообщили только, что ночью его привезли в карете на улицу Сестер страстей господних; прошедшее, настоящее, будущее – все превратилось в смутное, туманное воспоминание, но среди этой мглы была одна незыблемая точка, четкий и определенный план, нечто твердое, как гранит, одно решение, одно желание – найти Козетту. Мысль о жизни и мысль о Козетте были неотделимы в его сознании. Он положил в своем сердце, что не примет одну без другой, и от всякого, кто пытался бы заставить его жить, – будь то его дед, судьба или самый ад, – он бесповоротно решил требовать возвращения потерянного рая.

Препятствий он от себя не скрывал.

Отметим одно обстоятельство: заботы и ласки деда нисколько не смягчили Мариуса и даже мало растрогали. Во-первых, он знал далеко не все; кроме того, в своем болезненном, быть может еще лихорадочном, состоянии, он не доверял этим нежностям, как чему-то странному и новому, имеющему цель подкупить его. Он держался холодно. Дед понапрасну расточал ему жалкие старческие улыбки. Мариус внушал себе, что все идет мирно только до поры до времени, пока он молчит и подчиняется; но стоит ему заговорить о Козетте, как дед покажет свое настоящее лицо и сбросит маску. Тогда разразится жестокая буря; снова встанет вопрос о ее семье, о неравенстве общественного положения, посыплется целый град насмешек и упреков, «Фошлеван», «Кашлеван», богатство, бедность, нищета, камень на шее, будущность. Яростное сопротивление, и в итоге – отказ. Мариус заранее готовился к отпору.

И затем, по мере того как жизнь возвращалась к нему, в его памяти всплывали прежние обиды, раскрывались старые раны, вспоминалось прошлое, и между внуком и дедом снова становился полковник Понмерси; Мариус говорил себе, что нечего ждать истинной доброты от человека, который был так жесток и несправедлив к его отцу. И вместе с выздоровлением в нем росла неприязнь к деду. Старик терпел это с кроткой покорностью.

Жильнорман отметил про себя, что Мариус, с тех пор как его принесли к нему в дом и он пришел в сознание, еще ни разу не назвал его отцом. Правда, он не именовал его и «сударь», но строил фразы таким образом, что ухитрялся избегать всякого обращения.

Явно назревал кризис.

Как обычно бывает в таких случаях, прежде чем вступить в бой, Мариус испытал себя в мелких стычках. На войне это называется разведкой. Однажды утром Жильнорману, по поводу попавшейся ему под руку газеты, вздумалось отозваться с пренебрежением о Конвенте и изречь роялистскую сентенцию насчет Дантона, Сен-Жюста и Робеспьера.

– Люди девяносто третьего года были титанами, – сурово отрезал Мариус.

Старик умолк и до самого вечера не проронил ни слова.

Мариус помнил сурового деда своих детских лет, и он счел это молчание за глубокий сдержанный гнев и, предвидя ожесточенную борьбу, тем упорнее начал мысленно готовиться к предстоящему сражению.

Он твердо решил, что в случае отказа сорвет все повязки, снова сломает ключицу, разбередит не зажившие раны и откажется от пищи. Раны были его оружием. Завоевать Козетту или умереть.

Он стал выжидать благоприятной минуты с угрюмым терпением больного.

Эта минута наступила.

Глава третья.

Мариус идет на приступ

Однажды Жильнорман, пока его дочь приводила в порядок склянки и пузырьки на мраморной доске комода, наклонился к Мариусу и сказал самым ласковым своим тоном:

– Знаешь, мой мальчик, на твоем месте я больше налегал бы теперь на мясо, чем на рыбу. Жареная камбала отличная еда при начале выздоровления, но, чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлета.

Силы Мариуса почти совсем восстановились; он собрался с духом, сел на своем ложе, оперся стиснутыми кулаками на постель, взглянул деду прямо в глаза и заявил с угрожающим видом:

– По этому поводу я должен вам кое-что сказать.

– Что такое?

– Дело в том, что я намерен жениться.

– Это уже предусмотрено, – отвечал дедушка, разражаясь хохотом.

– Как предусмотрено?

– Так, предусмотрено. Девчурка будет твоей.

Мариус задрожал от радости.

Жильнорман продолжал:

– Ну да, бери ее, свою прелестную милую девочку. Она приходит каждый день под видом старого господина справляться о твоем здоровье. С тех пор как тебя ранили, она только и делает, что плачет и щиплет корпию. Я наводил справки. Она живет на улице Вооруженного человека, номер семь. Ага, вот мы и договорились! Ты хочешь жениться на ней? Отлично, женись. Попался, голубчик! Ты задумал целый заговор, ты говорил себе: «Я все объявлю напрямик деду, этой мумии времен Регентства и Директории, этому бывшему красавцу, этому Доранту, обратившемуся в Жеронта; и у него были когда-то свои интрижки и страстишки, свои гризетки, свои Козетты; и он пощеголял в свое время, и он парил в небесах, и он вкусил от плодов весны; хочет не хочет, а придется ему вспомнить об этом. Увидим тогда. Дадим бой!» Ах, ты решил взять быка за рога! Хорошо же. Я предлагаю тебе котлетку, а ты отвечаешь: «Да, кстати, я хочу жениться». Ну и переход! Ага, ты ожидал перепалки? Ты и не знал, что я старый плут. Что ты на это скажешь? Тебе досадно. Ты никак не ожидал, что дедушка еще легкомысленнее тебя. Твоя блестящая, заранее заготовленная речь пропала даром, господин адвокат, как обидно! Тем лучше, бесись на здоровье. Я делаю все по-твоему, и это затыкает тебе рот, глупец. Послушай. Я наводил справки, ведь я тоже себе на уме; она очаровательна, она благонравна, про улана – все враки; она нащипала целую кучу корпии, это настоящее сокровище, и она обожает тебя. Если бы ты умер, нас хоронили бы всех троих, ее гроб несли бы вслед за моим. С тех пор как тебе стало лучше, мне даже приходила мысль попросту пристроить ее у твоего изголовья; но ведь только в романах девиц так вот, без церемоний, приводят к постели раненых красавцев, которые им нравятся. В жизни так не бывает. Что бы сказала твоя тетушка? Ты ведь почти все время лежал совсем голый, дружище. Спроси у Николетты, она не оставляла тебя ни на минуту, можно ли было пускать сюда женщин? Да и что сказал бы доктор? Красивая девица – уж никак не лекарство от лихорадки. Ладно, все равно не будем больше говорить об этом: все сказано, сделано, кончено, бери ее. Вот какой я изверг! Я чувствовал, видишь ли, что ты меня невзлюбил, и я сказал себе: «Что бы мне такое сделать, чтобы эта скотина полюбила меня снова?» И подумал: «Стой-ка, у меня ведь есть под рукой крошка Козетта, подарю-ка ему ее, авось он полюбит меня тогда или хоть скажет, в чем я провинился». Ах, ты решил, что старик будет рвать и метать, бесноваться, топать ногами, замахиваться палкой на эту алую зарю? Ничуть не бывало. Козетта – согласен; любовь – пожалуйста! Ничего лучшего мне не надо. Женитесь, сударь, сделайте милость. Будь счастлив, милое мое дитя!

С этими словами старик расплакался.

Обхватив голову Мариуса, он прижал ее обеими руками к своей старческой груди, и оба зарыдали. В этом находит иногда свое выражение высшее счастье.

– Отец! – воскликнул Мариус.

– Ага, значит, ты любишь меня! – прошептал старик.

Это были незабываемые мгновения. Оба задыхались от слез и не могли говорить.

– Ну вот, – пролепетал, наконец, дедушка, – разродился-таки! Сказал мне: «отец»!

Мариус высвободил свою голову из объятий деда и тихонько спросил:

– Отец! Но ведь теперь я совсем здоров, теперь мне можно с ней повидаться?

– Это тоже предусмотрено, ты увидишь ее завтра.

– Отец!

– Ну что?

– Почему не сегодня?

– Ну что же, ничего не имею против. Пускай сегодня! Три раза подряд ты назвал меня отцом, это ведь чего-нибудь да стоит. Сейчас я распоряжусь. Тебе ее приведут. Все предусмотрено, говорят тебе. Вся эта история уже была когда-то воспета в стихах. В развязке элегии Больной юноша Андре Шенье, того Андре Шенье, которого зарезали эти разбойники… то есть эти титаны девяносто третьего года.

Жпльнорману показалось, будто Мариус слегка нахмурился, хотя, по правде сказать, Мариус, витая в облаках, совсем не слушал его и думал гораздо больше о Козетте, чем о девяносто третьем годе. Трепеща от страха, что так некстати упомянул Андре Шенье, дедушка тотчас спохватился:

– Зарезали – не то слово. Дело в том, что великие гении революции, которые, бесспорно, никакие не злодеи, а, честное слово, – истинные герои… нашли, что Андре Шенье немного мешает им, и решили его гильотин… Вернее сказать, эти великие люди в интересах общественного блага седьмого термидора предложили Андре Шенье отправиться ко всем…

Поперхнувшись собственными словами, Жильнорман запнулся, не умея ни закончить фразы, ни взять ее обратно, и, пока его дочь поправляла за спиной Мариуса подушки, растерянный, взволнованный старик выбежал из спальни со всей быстротой, на какую был способен в свои годы, захлопнул за собою дверь и весь красный, взбешенный, задыхающийся, с выпученными глазами, налетел прямо на Баска, который мирно чистил сапоги в прихожей. Он схватил Баска за шиворот и яростно крикнул ему в лицо:

– Тысяча чертей! Эти разбойники укокошили его?

– Кого, сударь?

– Андре Шенье.

– Так точно, сударь, – ответил перепуганный Баск.

Глава четвертая.

Мадмуазель Жильнорман примиряется с тем, что Фошлеван вошел с пакетом под мышкой

Козетта и Мариус, наконец, свиделись.

Какова была эта встреча, мы не в силах описать. Есть многое, чего не стоит и пытаться изобразить, в том числе солнце.

В ту минуту, когда вошла Козетта, в спальне Мариуса собралось все семейство, включая Баска с Николеттой.

Она появилась на пороге; казалось, ее окружало сияние.

Как раз в это время дедушка собирался сморкаться, он замер, уткнув нос в платок и глядя на Козетту исподлобья.

– Обворожительна! – воскликнул он.

И оглушительно высморкался.

Козетта была полна восхищения, упоения, трепета, блаженства. Она оробела, как только можно оробеть от счастья. Она что-то лепетала, то бледнея, то краснея, готова была броситься в объятия Мариуса и не решалась. Она стыдилась выразить свою любовь при всех. Мы безжалостны к влюбленным мы торчим рядом, когда им больше всего хочется остаться наедине. Ведь в сущности им никого не нужно.

Вместе с Козеттой, держась позади нее, в комнату вошел серьезный седовласый господин, улыбавшийся какой-то странной, горькой улыбкой. То был «господин Фошлеван»; то был Жан Вальжан.

Он был «очень прилично одет», как и говорил привратник, – во все черное, во все новое, с белым галстуком на шее.

Привратнику и в голову бы не пришло опознать в этом почтенном буржуа, вероятно нотариусе, страшного носильщика трупов, который в ночь на 7 июня появился перед его дверью оборванный, черный, ужасный, дикий, с лицом, испачканным кровью и грязью, поддерживая бездыханного Мариуса; тем не менее что-то пробудило его профессиональный нюх. Увидев Фошлевана с Козеттой, привратник не мог удержаться, чтобы тихонько не поделиться с женой: «Не знаю почему, мне все мерещится, будто я где-то уже видел это лицо».

В спальне Мариуса Фошлеван стоял в сторонке, у двери. Он держал под мышкой пакет, похожий на том в восьмую долю листа, обернутый в бумагу. Обертка была зеленоватого цвета – казалось, она была покрыта плесенью.

– Этот господин всегда таскает книги под мышкой? – шепотом спросила у Николетты девица Жильнорман, которая терпеть не могла книг.

– Что ж тут такого? – возразил Жильнорман тоже шепотом. – Это ученый. Ну и что же? Чем он виноват? Господин Булар, которого я знавал, тоже никогда не выходил из дому без книги и вечно прижимал к сердцу какой-нибудь фолиант.

Приветствуя гостя, он проговорил уже громко:

– Господин Кашлеван…

Старик Жильнорман сделал это не нарочно – просто ему была свойственна аристократическая манера путать фамилии.

– Господин Кашлеван! Имею честь просить у вас руки мадмуазель для моего внука, барона Мариуса Понмерси.

«Господин Кашлеван» поклонился.

– По рукам, – заключил дед.

Повернувшись к Мариусу и Козетте, он воздел обе руки для благословения и воскликнул:

– Отныне можете обожать друг друга!

Они не заставили повторять себе это дважды. Пеняйте на себя! Началось воркованье. Они разговаривали вполголоса – Мариус, полулежа на своей кушетке, Козетта, стоя около него. «О, господи! – шептала Козетта. – Наконец-то я вас вижу! Это ты! Это вы! Подумать только, пойти туда сражаться! Зачем? Это ужасно. Целых четыре месяца я умирала со страху. Как жестоко было с вашей стороны пойти в бой! Что я вам сделала? Я прощаю вам, но больше так не поступайте. Когда пришли, чтобы пригласить нас сюда, я опять чуть не умерла, только уже от радости. Я так тосковала! Я даже не успела приодеться; должно быть, у меня ужасный вид. Что скажут ваши родные, увидев мой смятый воротничок? Да говорите же! Все время говорю только я одна. Мы по-прежнему живем на улице Вооруженного человека. С вашим плечом,

кажется, было ужас что такое? Мне говорили, что в рану можно было засунуть целый кулак. А потом, кажется, вам резали тело ножницами. Как страшно! Я так плакала, я все глаза выплакала! Даже смешно, что можно столько вынести. У вашего дедушки очень доброе лицо. Не двигайтесь так, не опирайтесь на локоть, осторожнее, вам будет больно. О, как я счастлива! Наконец-то кончились наши страдания. Я стала совсем дурочкой. Я хотела столько вам сказать и все перезабыла. Вы меня любите? По-прежнему? Мы живем на улице Вооруженного человека. Там нет сада. Я все время щипала корпию. Взгляните, сударь; я натерла мозоль на пальце, это по вашей вине».

– Ангел! – прошептал Мариус.

«Ангел» – единственное слово, которое не может поблекнуть. Никакое другое слово не выдержало бы тех безжалостных повторений, к каким прибегают влюбленные.

Затем, смущенные присутствием посторонних, они замолкли и, не произнося больше ни слова, тихонько пожимали друг другу руки.

Повернувшись ко всем находившимся в комнате, Жильнорман крикнул:

– Да говорите же громче, эй вы, публика! Шумите, изображайте гром за сценой. Ну, погалдите немножко, черт возьми, дайте же детям поболтать всласть!

Подойдя к Мариусу с Козеттой, он сказал им тихонько:

– Говорите друг другу «ты». Не стесняйтесь.

Тетушка Жильнорман растерянно взирала на этот луч света, внезапно вторгшийся в ее тусклый старушечий мирок. В удивлении ее не было ничего враждебного, ничего общего с негодующим, завистливым взглядом совы, устремленным на двух голубков. То был глуповатый взор бедной пятидесятисемилетней старой девы: неудавшаяся жизнь созерцала торжествующий расцвет любви.

– Девица Жильнорман старшая! – сказал ей отец. – Я давно тебе предсказывал, что ты до этого доживешь.

Он помолчал с минуту и добавил:

– Любуйся теперь чужим счастьем.

Потом повернулся к Козетте:

– До чего же она красива! До чего хороша! Настоящий Грез! И все это достанется тебе одному, повеса! Ах, мошенник, ты дешево отделался от меня, тебе повезло! Будь я на пятнадцать лет моложе, мы бились бы с тобой на шпагах, и неизвестно, кому бы она еще досталась. Слушайте, я просто влюблен в вас, мадмуазель! В этом нет ничего удивительного. Ваше право пленять сердца. Ах, какая прелестная, чудная, веселая свадебка у нас будет! Наш приход – это церковь святого Дионисия, но я выхлопочу вам разрешение венчаться в приходе святого Павла. Там церковь лучше. Ее построили иезуиты. Она гораздо наряднее. Это против фонтана кардинала Бирага. Лучший образец архитектуры иезуитов находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам непременно нужно туда съездить, когда вы обвенчаетесь. Туда стоит прокатиться. Я всецело на вашей стороне, мадмуазель, я хочу, чтобы девушки выходили замуж, для того они и созданы. Пусть все юные девы идут по стопам праматери Евы – вот мое пожелание. Остаться в девицах весьма похвально, но тоскливо! В Библии сказано: «Размножайтесь». Чтобы спасать народы – нужна Жанна д'Арк, но чтобы плодить народы – нужна матушка Жигонь. Итак, выходите замуж, красавицы! Право, не понимаю, зачем оставаться в девках? Я знаю, у них отдельные молельни в церквах и они вступают в общину Пресвятой Девы; но, черт побери, все-таки красивый муж, славный парень, а через год толстенький белокурый малыш с аппетитными складочками на пухлых ножках, который весело сосет грудь, теребит ее своими розовыми лапками и улыбается, как светлая заря, – это гораздо лучше, чем торчать у вечерни со свечой и распевать Turris eburnea.[12]

Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и зачастил с быстротой развертывающейся пружины:

Твоих мечтаний круг я замыкаю так:

Алкипп! Поистине ты скоро вступишь в брак!

– Да, кстати!

– Что, отец?

– У тебя был, кажется, закадычный друг?

– Да, Курфейрак.

– Что с ним сталось?

– Он умер.

– Это хорошо.

Он уселся рядом с влюбленными, усадил Козетту и соединил их руки в своих морщинистых старческих руках.

– Она восхитительна, прелестна. Она просто совершенство, эта самая Козетта! Настоящий ребенок и настоящая знатная дама. Жаль, что она будет всего только баронессой, это недостойно ее – она рождена маркизой. Одни ресницы чего стоят! Дети мои, зарубите себе на носу, что вы на правильном пути. Любите друг друга. Глупейте от любви. Любовь-это глупость человеческая и мудрость божия. Обожайте друг друга. Но только экая беда! – добавил он, вдруг помрачнев. – Я вот о чем думаю. Ведь большая часть моего состояния в ренте; пока я жив, на нас хватит, но после моей смерти, лет эдак через двадцать, у вас не будет ни гроша, бедные детки. Вашим прелестным беленьким зубкам, госпожа баронесса, придется оказать честь сухой корочке.

В эту минуту раздался чей-то спокойный, серьезный голос:

– У мадмуазель Эфрази Фошлеван имеется шестьсот тысяч франков.

Это был голос Жана Вальжана.

До сих пор он не произнес ни слова; никто, казалось, даже не замечал его присутствия, и он стоял молча и неподвижно, держась поодаль от всех этих счастливых людей.

– Кто такая мадмуазель Эфрази? – спросил озадаченный дед.

– Это я, – сказала Козетта.

– Шестьсот тысяч франков? – переспросил Жильнорман.

– На четырнадцать или пятнадцать тысяч меньше, быть может, – уточнил Жан Вальжан.

Он выложил на стол пакет, который тетушка Жильнорман приняла было за книгу.

Жан Вальжан собственноручно вскрыл пакет. Это была пачка банковых билетов. Их просмотрели и пересчитали. Там было пятьсот билетов по тысяче франков и сто шестьдесят восемь по пятьсот. Итого пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

– Ай да книга! – воскликнул Жильнорман.

– Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! – прошептала тетушка.

– Это улаживает многие затруднения, не так ли, мадмуазель Жильнорман старшая? – заговорил дед. – Этот чертов плут Мариус изловил на древе мечтаний пташку-миллионершу! Вот и верьте после этого бескорыстной любви молодых людей! Студенты находят возлюбленных с приданым в шестьсот тысяч франков. Керубино загребает деньги не хуже Ротшильда.

– Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! – бормотала вполголоса мадмуазель Жильнорман. – Пятьсот восемьдесят четыре! Почти что шестьсот тысяч! Каково?

А Мариус и Козетта глядели друг на друга; они почти не обратили внимания на такую мелочь.

Глава пятая.
Лучше поместить капитал в лесу, чем у нотариуса

Читатель, разумеется, догадался, и нам нет нужды пускаться в пространные объяснения, что Жану Вальжану, бежавшему после дела Шанматье, за несколько дней удалось добраться до Парижа и вовремя вынуть из банкирского дома Лафита капитал, нажитый им под именем господина Мадлена в Монрейле Приморском, и что затем, боясь быть пойманным – а это действительно и случилось вскоре, – он спрятал и закопал эти деньги в Монфермейльском лесу, на так называемой прогалине Бларю. Вся сумма – шестьсот тридцать тысяч франков, целиком в банковых билетах, – была невелика по объему и легко умещалась в шкатулке; однако, чтобы предохранить шкатулку от сырости, он заключил ее в дубовый сундучок, наполненный древесными стружками. В том же сундучке он спрятал и другое свое сокровище – подсвечники епископа. Как мы помним, он захватил с собой подсвечники, совершая побег из Монрейля Приморского. Человек, которого как-то вечером впервые заметил Башка, был Жан Вальжан. Позднее, всякий раз как Жану Вальжану требовались деньги, он отправлялся за ними на прогалину Бларю. Этим объяснялись его отлучки, о которых мы уже упоминали. У него хранился там заступ, спрятанный где-то в зарослях вереска, в только ему известном тайнике. Видя, что Мариус выздоравливает, и чувствуя, что приближается час, когда деньги могут понадобиться, он отправился за ними; его-то и видел в лесу Башка, но на сей раз не вечером, а под утро. Башке достался в наследство заступ.

На самом деле сумма составляла пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот франков. Жан Вальжан отложил пятьсот франков для себя. «Там видно будет», – подумал он.

Разница между этой суммой и шестьюстами тридцатью тысячами франков, вынутыми из банка Лафит, объяснялась расходами за десять лет, с 1823 по 1833 год. За пятилетнее пребывание в монастыре было истрачено только пять тысяч франков.

Жан Вальжан поставил серебряные подсвечники на камин, где они ярко заблестели к великому восхищению Тусен.

Заметим кстати, что Жан Вальжан в то время уже знал, что навсегда избавился от преследований Жавера. Кто-то рассказал при нем, – и он нашел тому подтверждение в газете «Монитер», опубликовавшей это происшествие, – что полицейский инспектор по имени Жавер был найден утонувшим под плотом прачек между мостами Менял и Новым и что записка, которую оставил этот человек, до тех пор безукоризненный и весьма уважаемый начальством служака, заставляла предположить припадок умопомешательства и самоубийство. «В самом деле, – подумал Жан Вальжан, – если, поймав меня, он отпустил меня на волю, то, надо полагать, он был уже не в своем уме».

Глава шестая.
Оба старика, каждый на свои лад, прилагают все старания, чтобы Козетта была счастлива

Все было приготовлено для свадьбы. По мнению врача, с которым посоветовались, она могла состояться в феврале. Стоял декабрь. Протекло несколько восхитительных недель безмятежного счастья.

Дедушка был едва ли не самым счастливым из всех. Целые часы он проводил, любуясь Козеттой.

– Очаровательница! Красотка! – восклицал он. – Такая нежная, такая кроткая! Клянусь честью, это самая прелестная девушка, какую я видел в жизни. В этой благоуханной фиалочке таятся все женские добродетели. Это сама Грация, право! С таким созданием надо жить по-княжески. Мариус, мой мальчик, ты барон, ты богат, умоляю тебя: брось сутяжничать!

Козетта и Мариус вдруг попали из могилы прямо в рай. Переход был слишком внезапным и потряс бы их, если бы они не были опьянены счастьем.

– Ты что-нибудь понимаешь? – спрашивал Мариус у Козетты.

– Нет, – отвечала Козетта. – Но мне кажется, что сам господь смотрит на нас с высоты.

Жан Вальжан все сделал, все уладил, обо всем условился, устранил все препятствия. Он торопился навстречу счастью Козетты с тем же нетерпением и, казалось, с тою же радостью, как сама Козетта.

Как бывший мэр, он сумел разрешить один щекотливый вопрос, тайна которого была известна ему одному, – вопрос о гражданском состоянии Козетты. Открыть правду о ее происхождении? Как знать! Это могло бы расстроить свадьбу. Он избавил Козетту от всех трудностей. Он изобрел ей родню из покойников – верный способ избежать разоблачений. Козетта оказалась последним отпрыском угасшего рода; Козетта не его дочь, а дочь другого Фошлевана, его брата. Оба Фошлевана служили садовниками в монастыре Малый Пикпюс. Съездили в этот монастырь; оттуда были получены наилучшие сведения и множество самых лестных рекомендаций. Добрые монахини, мало смыслившие и не склонные разбираться в вопросах отцовства, не подозревали обмана; они никогда толком не знали, кому именно из двух Фошлеванов приходилась дочерью маленькая Козетта. Они подтвердили, очень охотно, все, что от них требовалось. Был составлен нотариальный акт. Козетта стала законно называться мадмуазель Эфрази Фошлеван. Она была объявлена круглой сиротой. Жан Вальжан устроил так, что под именем Фошлевана стал опекуном Козетты, а Жильнорман был назначен ее вторым опекуном.

Что касается пятисот восьмидесяти четырех тысяч франков, они были якобы отказаны Козетте по завещанию лицом, которое пожелало остаться неизвестным. Первоначально наследство составляло пятьсот девяносто четыре тысячи франков; но десять тысяч франков были истрачены на воспитание мадмуазель Эфрази, из коих пять тысяч франков уплачены в упомянутый монастырь. Это наследство, врученное третьему лицу, должно было быть передано Козетте по достижении совершеннолетия или при вступлении в брак. Все в целом было, как мы видим, вполне приемлемо, в особенности учитывая приложение в виде полумиллиона с лишком. Правда, здесь были кое-какие странности, но на них никто не обратил внимания; одному из заинтересованных лиц застилала глаза любовь, другим – шестьсот тысяч франков.

Козетта узнала, что она не родная дочь старику, которого так долго называла отцом. Это только родственник, а настоящий ее отец-другой Фошлеван. В другое время это открытие причинило бы ей глубокое горе, но в те несказанно счастливые минуты оно лишь ненадолго, мимолетной тенью омрачило ее душу; вокруг было столько радости, что это облачко скоро рассеялось. У нее был Мариус. Приходит юноша, и старика забывают, – такова жизнь.

Кроме того, Козетта привыкла с давних лет к окружавшим ее загадкам, всякое существо, чье детство окутано тайной, всегда в известной мере готово к разочарованиям.

Однако она по-прежнему называла Жана Вальжана отцом. Козетта, на седьмом небе от счастья, была в восторге от старика Жильнормана. Тот осыпал ее подарками и мадригалами. Пока Жан Вальжан старался создать Козетте прочное общественное положение и закрепить за ней ее состояние, Жильнорман хлопотал об ее свадебной корзинке. Ничто так не забавляло старика, как одарять ее щедрой рукой. Он подарил Козетте платье из бельгийского гипюра, доставшееся ему еще от его бабки. «Моды возрождаются, – говорил он, – теперь все помешаны на старинных вещах, я вижу на старости лет, что молодые дамы одеваются так же, как одевались старушки во времена моего детства».

Он опустошал почтенные толстобокие комоды лакированного коромандельского дерева, которые не отпирались много лет. «Ну-ка, поисповедуем этих вдовушек, – приговаривал он, – посмотрим, что у них в брюхе». Он с треском выдвигал пузатые ящики, набитые нарядами всех его жен, всех его любовниц и бабушек. Китайские шелка, штофы, камка, цветной муар, платья из тяжелого сверкающего турского шелка, индийские платки, вышитые золотом, не

тускнеющим от стирки, штуки шерстяной ткани, одинаковые и с лица и с изнанки, генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые уборы, бонбоньерки слоновой кости, украшенные изображением батальных сцен тончайшей работы, наряды, ленты – всем этим он задаривал Козетту. Восхищенная Козетта, упоенная любовью к Мариусу, растроганная и смущенная щедростью старика Жильнормана, грезила о безграничном счастье среди бархата и атласа. Козетте чудилось, что свадебную корзинку подносят ей серафимы. Душа ее воспаряла в небеса на крыльях из тончайших кружев.

Как мы сказали, блаженство влюбленных могло сравниться только с ликованием деда. Казалось, на улице Сестер страстей господних неумолчно гремят трубы.

Каждое утро дедушка подносил Козетте старинные безделушки. Всевозможные украшения сыпались на нее, как из рога изобилия.

Однажды Мариус, который и в эти счастливые дни охотно вел серьезные беседы, сказал по какому-то поводу:

– Деятели революции исполнены такого величия, что даже в наши дни от них исходит обаяние древности, как от Катона или Фокиона; они приводят на память мемуары античных времен.

– Мемуары антич… Муар-антик! – воскликнул дедушка. – Вот спасибо, Мариус, надоумил; это как раз то, что мне нужно.

Наутро к свадебным подаркам Козетты прибавилось роскошное муаровое платье цвета чайной розы.

Дед извлекал из своих тряпок целую философию.

– Любовь – само собой, но нужно еще что-то. Для счастья нужно и бесполезное. Просто счастье – это лишь самое необходимое. Сдобрите же его излишним не скупясь. С милым рай и во дворце. Мне нужно ее сердце и Лувр вдобавок. Ее сердце и фонтаны Версаля. Дайте мне мою пастушку, но, если можно, обратите ее в герцогиню. Приведите ко мне Филиду в васильковом венке и с рентой в сто тысяч франков в придачу. Предложите мне пастушеский шалаш с мраморной колоннадой до горизонта. Я согласен на шалаш, я не прочь и от роскошных палат из мрамора и золота. Счастье всухомятку похоже на черствый хлеб. Он годится на закуску, а не на обед. Я жажду избытка, жажду бесполезного, безрассудного, чрезмерного, всего, что ни на что не нужно. Помнится, мне довелось видеть на Страсбургском соборе башенные часы вышиной с трехэтажный дом, которые отбивали время, вернее удостаивали обозначать время, но, казалось, были созданными совсем не для этого; отзвонив полдень или полночь, полдень – час солнца, полночь – час любви, или любой другой час суток на выбор, они показывали вам месяц и звезды, море и сушу, рыб и птиц, Феба и Фебу и уйму разных разностей, которые появлялись из ниши: тут были и двенадцать апостолов, и император Карл Пятый, и Эпонина, и Сабин, а сверх всего прочего целая орава золоченых человечков, игравших на трубах. А чудесный перезвон, которым они то и дело оглашали воздух неизвестно по какому поводу? Можно ли сравнить с ними жалкий голый циферблат, который просто-напросто отсчитывает минуты? Я стою за огромные страсбургские часы, я предпочитаю их швейцарским часикам.

Жильнорман особенно любил разглагольствовать по поводу самой свадьбы, и в его славословиях возникали, словно в зеркале, все тени восемнадцатого века вперемешку.

– Вы и понятия не имеете об искусстве устраивать празднества! – восклицал он. – Теперь и повеселиться-то не умеют в день торжества. Ваш девятнадцатый век какой-то дохлый. Ему недостает размаха. Ему недоступна роскошь, недоступно благородство. Он все стрижет под гребенку. Ваше любезное третье сословие безвкусно, бесцветно, безуханно, безобразно. Вот они, мечты ваших буржуазок, когда они, по их выражению, «пристраиваются»: хорошенький будуар, заново обставленный, палисандровая мебель и коленкор. Смотрите, смотрите! Достопочтенный Скаред женится на девице Сквалыге. Блеск и треск! К свечке прилепили

настоящую золотую монету! Вот так эпоха! Я охотно удрал бы от нее к сарматам. Ах, уже в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году я предсказывал, что все погибло, в тот самый день, как увидел, что герцог Роган, принц Леонский, герцог Шабо, герцог Монбазон, маркиз Субиз, виконт Туарский, пзр Франции ехали на скачки в Лоншан в двуколке! И это принесло плоды. В нынешнем веке люди ведут крупные дела, играют на бирже, наживают деньги – и все до одного скряги. Они холят и лелеют себя, наводят на себя блеск: они одеты с иголочки, вымыты, выстираны, выскоблены, выбриты, причесаны, вылощены, прилизаны, навощены, начищены, безукоризненны, отполированы, как камешек, этакие разумники, этакие чистюли, и в то же время, – ей-же-ей! – в душе у них такой навоз, такая клоака, что от них шарахнется любая коровница, сморкающаяся в руку. «Нечистоплотная опрятность» – вот какой девиз я жалую вашей эпохе. Не сердись, Мариус, позволь мне отвести душу; как видишь, о народе я не сказал ничего дурного, хоть и сыт им по горло, но разреши мне задать трепку буржуазии. Я и сам из этой породы. Кого люблю, того и бью. Засим скажем прямо хоть нынче и женятся, а сыграть свадьбу не умеют. Право же, я грущу о добрых старых нравах! Я грущу обо всем. Где прежнее изящество, рыцарство, милое, учтивое обхождение, всем доступная, веселящая душу роскошь, где музыка – непременная участница всякой свадьбы: оркестр у знати, трескотня барабанов у народа, – танцы, веселые лица за столом, изысканные мадригалы, песенки, потешные огни, громкий смех, дым коромыслом, пышные банты из лент? Я грущу о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной сродни поясу Венеры. Из-за чего разыгралась Троянская война? Из-за подвязки Елены, черт побери! Почему идет бой, почему Диомед богоравный раскокал на голове Мерионея громадный медный шлем о десяти остриях, почему Ахилл и Гектор протыкают друг друга ударами копья? Потому что Елена дала свою подвязку Парису. Гомер бы создал целую Илиаду из подвязки Козетты. Он воспел бы в поэме старого болтуна вроде меня и назвал бы его Нестором. Друзья мои! В старое время, в наше доброе старое время люди женились с толком: сначала заключали контракт по всей форме, потом закатывали пир на весь мир. Как только удалялся Кюжас, на сцену выступал Камачо. Какого черта! Желудок, славная скотина, требует своего, он тоже хочет покутить на свадьбе! Пировали на славу, и у каждого за столом была прелестная соседка, без всяких там шемизеток, с едва прикрытой грудью! Эх, как громко смеялись, как веселились в старину! Молодежь казалась букетом цветов, каждый юноша украшал себя веткой сирени или пучком роз; будь он даже храбрым воякой, он все равно глядел пастушком, и если, скажем, это был драгунский капитан, он ухитрялся носить имя Флориан. Всем хотелось быть красивыми. Наряжались в вышитое платье, в яркие материи. Буржуа походил на цветок, маркиз – на драгоценный камень. Тогда не носили ни штрипок, ни сапог. Молодые люди были щегольски одеты, блестящи, вылощены, ослепительны, воздушны, грациозны, кокетливы – и это не мешало им носить шпагу на боку. Настоящие колибри с коготками и клювом. То была эпоха Галантной Индии. Одной чертой нашего времени было изящество, другой – великолепие, ну и забавлялись же мы, разрази меня бог! Зато нынче вы чопорны до невозможности. Буржуа скуп, буржуазка жеманна. Экий злосчастный век! Сейчас изгнали бы самих Граций за то, что они слишком декольтированы Увы! Теперь скрывают красоту, словно уродство. После революции все обзавелись панталончиками, даже танцовщицы; любая уличная плясунья корчит недотрогу; ваши танцы скучны, как проповеди. Вы желаете быть величественными. Вам было бы не по себе, если бы ваш подбородок не утопал в галстуке. Двадцатилетний молокосос, который женится, мечтает, женясь, походить на Руайе-Коллара. А знаете, к чему приводит вас такого рода величие? К ничтожеству. Запомните: радость не только радостное, но и великое чувство. Да веселитесь же, если вы влюблены, черт вас дери! Коли жениться, так уж жениться, очертя голову, в упоении счастьем, с треском и блеском! Храните серьезность в церкви – согласен. Но как только месса кончилась, пусть все летит к чертям! Надо закружить новобрачную в волшебном вихре. Свадьба должна быть царственной и сказочной. Пусть тянется свадебный поезд от Реймского собора до пагоды Шантлу. Мне противны будничные свадьбы. Клянусь дьяволом, вознеситесь на Олимп, ну хоть на один день! Будьте как боги. Ах, вы могли бы быть сильфами, гениями Игр и Смеха,

аргираспидами, а вы просто сопляки! Друзья мои! Каждый новобрачный должен стать принцем Альдобрандини. Воспользуйтесь этой единственной в жизни минутой, чтобы унестись на седьмое небо вместе с лебедями и орлами, хотя бы наутро вам пришлось шлепнуться в мещанское лягушечье болото. Не скаредничайте на празднике Гименея, не подрезайте его роскошных крыльев, не крохоборствуйте в этот лучезарный день. Расходы на свадьбу-это ведь не расходы на хозяйство. Эх, если бы я мог устроить все по своему вкусу, как бы это было изысканно!.. Среди деревьев звенели бы скрипки. Лазурь и серебро – вот моя программа. Я созвал бы на праздник сельские божества, я кликнул бы дриад и нереид. Свадьба Амфитриты, розовая дымка, изящно причесанные обнаженные нимфы, ученый академик, подносящий богине четверостишие, морские чудовища, впряженные в колесницу.

Тритон, трубя в тромбон, на раковине мчался,

И каждый был пленен, и каждый восхищался!

Вот это празднество! Ай да программа, или я ни черта не понимаю, провалиться мне на этом месте!

Пока дед, изливаясь в лирическом вдохновении, заслушивался сам себя, Козетта и Мариус упивались счастьем, любуясь друг другом без помехи.

Тетушка Жильнорман наблюдала все это с присущим ей невозмутимым спокойствием. За последние пять-шесть месяцев на ее долю пришлось немало волнений: Мариус вернулся, Мариуса принесли окровавленным, Мариуса принесли с баррикады, Мариус умер, нет, жив, Мариус примирился с дедом, Мариус помолвлен, Мариус женится на бесприданнице, Мариус женится на миллионерше. Шестьсот тысяч франков доконали ее. После этого к ней вернулось вялое безразличие времен ее первого причастия. Она аккуратно посещала богослужения, перебирала четки, шептала Ave в одном углу дома, в то время как в другом углу шептали I love you[13], и Мариус с Козеттой казались ей какими-то смутными тенями. На самом деле тенью была она сама.

Существует особый род бездеятельного аскетизма, когда, за исключением землетрясений и прочих катастроф, душа, застывшая и оцепенелая, чуждая всему, что можно назвать жизнедеятельностью, не воспринимает никаких впечатлений, ни радостных, ни горестных. «Такое благочестие, – говаривал дочери старик Жильнорман, – все равно что насморк. Ты не чувствуешь запаха жизни. Ни ее зловония, ни аромата».

Впрочем, шестьсот тысяч франков положили конец давнишним колебаниям старой девы. Отец ее так мало привык с нею считаться, что даже не посоветовался с ней, давая согласие на брак Мариуса. По своему обыкновению он весь отдался порыву и, став из деспота рабом, руководствовался одной мыслью: угодить Мариусу. И он даже не вспомнил о существовании тетки, о том, что у нее может быть свое мнение; несмотря на всю свою овечью покорность, она была этим задета. Внешне равнодушная, но возмущенная в глубине души, она сказала себе: «Отец решает вопрос о браке без меня; ну что ж, зато я разрешу вопрос о наследстве без него». В самом деле, она была богата, а отец нет. И свое решение на этот счет хранила про себя. Вполне возможно, что если бы жених и невеста были бедны, она так и оставила бы их в бедности. Мой любезный племянник изволит жениться на нищей – тем хуже для него! Пусть остается нищим. Но полмиллиона Козетты понравились тетке и изменили ее позицию по отношению к влюбленной паре. Шестьсот тысяч франков бесспорно заслуживают уважения, и ей стало ясно, что она должна оставить свое состояние молодым людям именно потому, что они в нем больше не нуждались.

Было решено, что юная чета поселится у деда. Жильнорман непременно хотел уступить им свою спальню, лучшую комнату в доме. «Я стану от этого моложе, – заявил он. – Это мое давнишнее намерение. Я всегда мечтал сыграть свадьбу в моей комнате». Он убрал спальню множеством старинных изящных безделушек. Он велел расписать потолок и обить стены изумительной материей, штуку которой давно хранил у себя и считал утрехтской, с

бархатистыми первоцветами по золотому атласному полю. «Этой самой материей, – говорил он, – была задрапирована кровать герцогини Анвильской во дворце Ларош-Гийон». На камине он поставил статуэтку саксонского фарфора – женскую фигурку, прикрывающую муфтой свою наготу.

Библиотека Жильнормана была обращена в приемный кабинет, необходимый Мариусу; чтобы вступить в адвокатское сословие, требовался, как мы помним, приемный кабинет.

Глава седьмая.

Обрывки страшных снов вперемежку со счастливой явью

Влюбленные встречались ежедневно. Козетта приходила в сопровождении Фошлевана. «Где это видано, – ворчала девица Жильнорман, – чтобы нареченная сама являлась в дом жениха и сама напрашивалась на ухаживание?» Но обычай этот, вызванный медленным выздоровлением Мариуса, укоренился еще и потому, что кресла в доме на улице Сестер страстей господних были гораздо удобнее для бесед с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Вооруженного человека. Мариус и Фошлеван виделись, но не разговаривали. Казалось, так было между ними условлено. Каждая девушка нуждается в провожатом. Козетта не могла бы приходить без Фошлевана. Для Мариуса присутствие Фошлевана было необходимым условием свиданий с Козеттой. И он мирился с ним. Рассуждая об улучшении жизни всего человечества и затрагивая в разговоре, слегка и в общих чертах, политические вопросы, им случалось перекинуться несколькими словами, помимо обычных «да» и «нет». Однажды по поводу народного образования, которое Мариус мыслил бесплатным и обязательным, широко распространенным, щедро предоставленным всем, как воздух и солнце, словом, доступным для всего народа, они сошлись во мнениях и почти разговорились. Мариус заметил при этом, что Фошлеван выражает свои мысли хорошо и даже высоким слогом. Однако чего-то ему не хватало. В чем-то Фошлеван стоял ниже светского человека, а в чем-то выше.

В глубине души Мариус обращался с немыми вопросами к Фошлевану, который был к нему достаточно благожелателен, но холоден. Порою он сомневался, не изменяет ли ему память. В его воспоминаниях образовался провал, темное пятно, пропасть, вырытая четырехмесячной агонией. Много кануло туда безвозвратно. Доходило до того, что он спрашивал себя, действительно ли он видел Фошлевана, такого серьезного и спокойного человека, на баррикаде.

Это была, впрочем, не единственная загадка, которую видения прошлого, появляясь и исчезая, оставили в его памяти. Он не был избавлен от тех навязчивых воспоминаний, которые принуждают нас, даже среди счастья и благополучия, с тоской оглядываться назад. Тот, кто никогда не обращает взора к исчезнувшим картинам минувшего, неспособен ни мыслить, ни любить. По временам Мариус закрывал лицо руками, и смутные тревожные призраки былого прорезали сумеречный туман, окутавший его мозг. Он снова видел, как падает мертвым Мабеф, он слышал, как распевает Гаврош под градом картечи, он ощущал на губах смертный холод лба Эпонины. Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер, Комбефер, Боссюэ, Грантер, все его друзья вставали перед ним, как живые, а затем исчезали. Только ли сон все эти дорогие его сердцу существа, страдающие, мужественные, трогательные или трагические? Или они существовали в действительности? Прошлое заволокло дымом мятежа. Тяжкие потрясения вызывают тяжелые сны. Он спрашивал себя, проверял себя; голова его кружилась от сознания, что эти жизни угасли бесследно. Где же они? Правда ли, что все это умерло? Обвал все увлек за собой в черную тьму, кроме него одного. Все, казалось, исчезло, словно за театральным занавесом. Порою над жизнью опускаются подобные завесы. И бог переходит к следующему акту.

Да и сам он, Мариус, остался ли прежним? Он, бедняк, стал богатым; он, одинокий, обрел семью; он, отчаявшийся во всем, женится на Козетте. Ему казалось, что он прошел через могилу, опустился туда осужденным, а вышел на свет оправданным. Другие остались там, в глубине могилы. В иные минуты тени прошлого, возвращаясь и оживая, обступали его и

омрачали его дух; тогда он думал о Козетте и снова успокаивался; только это великое счастье и могло изгладить следы катастрофы.

Фошлеван занимал какое-то место в ряду этих погибших. Мариус не решался верить, что Фошлеван с баррикады был тем же Фошлеваном из плоти и крови, который так степенно сидел рядом с Козеттой. Тот был, вероятно, одним из кошмарных образов, возникавших и таявших в часы бреда. Помимо всего, оба они были необщительны по природе; поэтому Мариус не мог прямо задать Фошлевану такой вопрос. Ему и в голову это не приходило. Мы уже отмечали эту черту его характера.

Два человека, связанные общей тайной, которые, как бы по молчаливому согласию, не перемолвятся о ней ни словом, далеко не такая редкость, как может показаться.

Только однажды Мариус решился сделать попытку. Он навел разговор на улицу Шанврери и, повернувшись к Фошлевану, спросил:

– Ведь вы хорошо знаете эту улицу?

– Какую?

– Улицу Шанврери.

– Понятия не имею, – отвечал Фошлеван самым естественным тоном.

Ответ, который относился, собственно, к названию улицы, а не к самой улице, показался Мариусу более убедительным, чем был на самом деле.

«Положительно мне это приснилось, – подумал он. – У меня была галлюцинация. Это просто кто-нибудь похожий на него. Фошлевана там не было.

Глава восьмая.
Два человека, которых невозможно разыскать

Как ни сильны были любовные чары, они не могли изгладить из мыслей Мариуса все его заботы.

Пока шли приготовления к свадьбе, он в ожидании назначенного срока предпринял трудные и тщательные розыски, посвященные прошлому.

Он обязан был двойной признательностью прежде всего – за отца, затем – за самого себя.

Был где-то Тенардье; был где-то незнакомец, который принес его, Мариуса, в дом Жильнормана.

Мариусу во что бы то ни стало надо было найти этих двух человек. Он не допускал мысли, что, наслаждаясь счастьем, может забыть о них, и боялся, как бы этот неоплаченный долг чести не омрачил его жизни, ныне такой лучезарной. Он не мог откладывать платеж по этим давним обязательствам и, прежде чем вступить в радостное будущее, хотел расквитаться с прошедшим.

Пускай Тенардье был негодяем, это нисколько не умаляло того факта, что он спас полковника Понмерси. Тенардье мог быть бандитом в глазах всего света, но не в глазах Мариуса.

Не зная о том, что произошло в действительности на поле битвы под Ватерлоо, Мариус не подозревал, какие странные обстоятельства связывали с Тенардье его отца, который был обязан мародеру жизнью, но не благодарностью.

Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть на след Тенардье. Казалось, все было утеряно безвозвратно. Жена Тенардье умерла в тюрьме во время следствия. Сам Тенардье и его дочь Азельма, последние, кто остался от злополучной семьи, снова канули во тьму. Пучина социального Неведомого беззвучно сомкнулась над этими существами. Не осталось на поверхности ни зыби, ни ряби, ни темных концентрических кругов, которые указывали бы, что туда что-то упало и что надо опустить туда лот.

Жена Тенардье умерла. Башка был признан непричастным к делу, Звенигрош исчез, главные обвиняемые бежали из тюрьмы, и громкий судебный процесс о засаде в лачуге Горбо почти ни к чему не привел. Дело так и осталось довольно темным. Суд присяжных вынужден был удовольствоваться двумя второстепенными обвиняемыми: один из них был Крючок, он же Весенний, он же Гнус, другой – Пол-Лиарда, он же Два-Миллиарда; обоих приговорили к десяти годам галер. Их скрывшиеся сообщники были заочно присуждены к пожизненным каторжным работам. Тенардье, как зачинщику и вожаку, был вынесен, также заочно, смертный приговор. Приговор – вот единственное, что оставалось от Тенардье и бросало зловещий свет на это исчезнувшее имя, подобно свече, горящей у гроба.

Осуждение, заставляя Тенардье из страха быть пойманным отступать все дальше на самое дно, еще сильнее сгущало мрак, который окутывал этого человека.

Розыски второго незнакомца, того, что спас Мариуса, дали сперва кое-какие результаты, но затем зашли в тупик. Удалось найти фиакр, который привез Мариуса вечером 6 июня на улицу Сестер страстей господних. Извозчик показал, что 6 июня по приказу полицейского агента он «проторчал» с трех часов пополудни дотемна на набережной Елисейских полей, над отверстием Главного водостока; что часам к девяти вечера решетка клоаки, выходящая на берег реки, отворилась; оттуда показался человек; он нес на плечах другого, по всей видимости мертвого; полицейский, который караулил это место, арестовал живого и захватил мертвеца; по приказу агента он, извозчик, погрузил «всю эту публику» в свой фиакр; они направились сперва на улицу Сестер страстей господних и высадили там покойника, этот покойник и есть господин Мариус, и он, извозчик, узнает его, хотя «нынче, спору нет, барин живехонек»; после этого седоки снова влезли в карету, а он погнал лошадей дальше; немного не доезжая ворот Архива, они велели ему остановиться; там, прямо на улице, с ним расплатились и ушли, и полицейский увел с собой второго человека; а больше он, извозчик, знать ничего не знает, к тому же ночь была очень темная.

Сам Мариус, как мы уже говорили, ничего не мог восстановить в памяти. Он помнит только, что сильная рука подхватила его сзади в ту минуту, как он падал навзничь на баррикаде; после этого все угасло в его сознании. Он пришел в себя только в доме Жильнормана.

Он терялся в догадках.

Не мог же он сомневаться в своем собственном тождестве! Как могло случиться, однако, что, упав без чувств на улице Шанврери, он был подобран полицейским на берегу Сены, возле моста Инвалидов? Кто-то, очевидно, донес его от квартала Центрального рынка до самых Елисейских полей. Каким путем? Через водосток. Неслыханное самопожертвование!

Кто это был? Кто же он?

Тот, кого разыскивал Мариус.

От этого человека, от его спасителя, не осталось ровно ничего – ни следа, ни малейших примет.

Хотя Мариус вынужден был действовать здесь особенно осторожно, все же он дошел в своих поисках вплоть до полицейской префектуры. Но там, как и всюду, наведенные справки не привели к прояснению. Префектура знала еще меньше, чем извозчик. Ни о каком аресте, произведенном 6 июня у решетки Главного водостока, сведений не поступало; не было никакого полицейского донесения об этом факте, – в префектуре склонны были считать это басней. Авторство басни приписывали извозчику. Чтобы получить на водку, извозчик способен на все, даже на игру воображения. Однако факт был неоспорим, и, повторяем, Мариус не мог в нем сомневаться, иначе как усомнившись в своем собственном тождестве.

Все казалось загадочным в этой странной истории.

Куда делся неизвестный, тот таинственный человек, который вышел, по словам кучера, открыв решетку Главного водостока, неся на спине бездыханного Мариуса, и был арестован

караулившим его полицейским на месте преступления, когда он спасал бунтовщика? И что сталось с самим полицейским? Почему он молчал? Может быть, незнакомцу удалось бежать? Или он подкупил полицейского? Почему этот человек не давал ничего знать о себе Мариусу, который был ему всем обязан? Его бескорыстие казалось не менее поразительным, чем его самоотверженность. Почему он не появлялся? Пусть он не нуждается в вознаграждении, но кто же отвергнет признательность? Не умер ли он? Что это за человек? Каков он с виду? Никто не мог сказать точно. Извозчик говорил: «Ночь была темная». А перепуганные Баск и Николетта только и смотрели, что на своего молодого барина, залитого кровью. Один лишь привратник, вышедший со свечой в ту трагическую минуту, заметил этого человека, и вот что он сказал: «Страшно было глядеть на него».

В надежде, что это поможет при поисках, Мариус велел сохранить окровавленную одежду, в которой его привезли к деду. Осматривая сюртук, кто-то заметил, что одна пола была как-то странно разорвана. В ней недоставало куска.

Однажды вечером в присутствии Козетты и Жана Вальжана Мариус рассказывал об этом странном происшествии, о бесчисленных наведенных им справках и о бесплодности своих усилий. Каменное лицо «господина Фошлевана» вывело его из терпения. И с горячностью, в которой чувствовался сдерживаемый гнев, он воскликнул:

– О да, кто бы он ни был, это человек высокого благородства» Вы знаете, что он сделал! Он явился мне на помощь, словно архангел с неба. Ему пришлось броситься в самую гущу битвы, унести меня, открыть вход в водосток, втащить меня туда и нести на себе! Ему пришлось пройти более полутора лье по ужасным подземным коридорам, согнувшись, сгорбившись, во тьме, в трясине клоаки, больше полутора лье с мертвецом на спине! И с какой целью? С единственной целью спасти мертвеца. Этим мертвецом был я. Он говорил себе: «Здесь, может быть, еще теплится огонек жизни; я рискну своею собственной жизнью ради этой слабой искорки». И он рисковал жизнью не один раз, а двадцать раз! И каждый шаг грозил ему гибелью. Доказательством служит то, что при выходе из клоаки он был арестован. Вы знаете, что тот человек действительно все это сделал? И притом, не ожидая никакого вознаграждения. Кем я был? Повстанцем. Кем я был? Побежденным. О, если бы шестьсот тысяч франков Козетты принадлежали мне…

– Они ваши, – перебил его Жан Вальжан.

– Так вот, – продолжал Мариус, – я отдал бы их все, чтобы разыскать этого человека!

Жан Вальжан не промолвил ни слова.

Книга шестая
Бессонная ночь
Глава первая.
16 февраля 1833 года

Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года была благословенной ночью. Над ее мраком сияло небо рая. То была брачная ночь Мариуса и Козетты. День прошел восхитительно.

Это был не тот лазурный праздник, о каком мечтал дедушка, не волшебная феерия с херувимами и купидонами, порхающими вперемежку над головами новобрачных, не свадебный пир, достойный быть запечатленным во фресках над карнизом двери, но все же это был радостный и пленительный день.

Свадебные обычаи 1833 года отличались от нынешних. В то время французы еще не заимствовали у Англии последней утонченной моды похищать свою жену, бежать с ней, едва выйдя из церкви, прятаться, как бы стыдясь своего счастья, и сочетать уловки скрывающегося банкрота с восторгами Песни песней. В наше время считается почему-то целомудренным, изысканным и благопристойным в часы райского блаженства трястись по ухабам в почтовой карете, прерывать таинство щелканьем кнута, нанимать для брачного ложа кровать в трактире

и оставлять за собой в этой пошлой спальне, сдающейся за столько-то в ночь, самое священное воспоминание своей жизни наряду с воспоминанием о шашнях трактирной служанки с кучером дилижанса.

Во второй половине XIX века нам уже недостаточно мэра с шарфом, священника с епитрахилью, закона и бога, нам необходим еще кучер из Лонжюмо, его синяя куртка с красными отворотами и пуговицами в виде бубенчиков, бляха на рукаве, кожаные зеленые штаны, его покрикивание на нормандских лошадок с завязанными узлом хвостами, его фальшивые галуны, лоснящаяся шляпа, пыльные космы, огромный кнут и ботфорты. Франция еще не достигла той степени изящества, чтобы, подобно английской знати, осыпать карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и рваных башмаков в память о Черчилле, будущем герцоге Мальборо, Мальбруке тож, который подвергся в день свадьбы нападению разгневанной тетки, что якобы принесло ему счастье. Туфли и башмаки не считаются еще у нас непременным условием свадебного празднества, но наберитесь терпения, хороший тон продолжает распространяться, скоро мы дойдем и до этого.

В 1833 году, как и сто лет назад, не было в обычае венчаться галопом.

В те времена люди воображали, как это ни странно, что венчание – праздник семейный и общественный, что патриархальный пир нисколько не испортит домашнего торжества, что веселье, пускай даже чрезмерное, зато искреннее, не причинит счастью никакого вреда, что это добропорядочно и достойно; слияние двух судеб, дающее начало семье, должно произойти под домашним кровом, без свидетелей, в тиши супружеской спальни.

Словом, люди имели бесстыдство жениться дома.

Итак, согласно этому уже устарелому обычаю, свадьбу отпраздновали в доме Жильнормана.

Как ни естественно и обычно такое событие, как брак, все же оглашение, подписание брачного контракта, мэрия и церковь всегда связаны с известными хлопотами. Со всем этим удалось управиться только к 16 февраля.

Между тем случилось так – мы отмечаем это обстоятельство просто из пристрастия к точности, – что 16-е число пришлось на последний день масленицы. Это вызвало разные сомнения и колебания, главным образом у тетушки Жильнорман.

– Прощеный день, тем лучше! – воскликнул дед – Ведь есть даже поговорка:

На масленице брак затей —

Послушных народишь детей.

Станем выше предрассудков Назначим на шестнадцатое! Разве ты согласен отложить, Мариус?

– Разумеется, нет, – отвечал влюбленный.

– Стало быть, повенчаемся! – заключил дед.

Итак, свадьба состоялась 16-го, несмотря на уличное гулянье. В этот день шел дождь, но в небе всегда найдется кусочек лазури, которого довольно для счастья влюбленных, – он виден им одним даже тогда, когда прочие смертные прячутся под зонтом.

Накануне Жан Вальжан в присутствии Жильнормана передал Мариусу пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.

Брачный договор предполагал общность имущества, и потому не требовалось никаких формальностей.

Тусен с этого дня уже не нужна была Жану Вальжану, и Козетта, получив Тусен в наследство, возвела ее в ранг горничной.

А для Жана Вальжана в доме Жильнорманов была выделена и обставлена прекрасная комната; Козетта с такой ласковой настойчивостью сказала ему: «Отец, я прошу вас!», что он почти обещал переселиться.

Незадолго до свадьбы с Жаном Вальжаном случилась небольшая неприятность: он порезал себе большой палец на правой руке. В этом не было ничего серьезного; он никому не позволил ухаживать за собой – ни перевязать, ни осмотреть свою рану, даже Козетте. Однако это заставило его забинтовать руку и держать ее на перевязи, а также мешало ему что-либо подписывать. Жильнорман, в качестве второго опекуна, исполнил за него эту обязанность.

Мы не поведем читателей ни в мэрию, ни в церковь. Влюбленных не принято сопровождать так далеко; обычно к любовной драме теряют интерес, как только на сцене появляется букет новобрачной. Мы ограничимся тем, что укажем на одно происшествие, кстати сказать, не замеченное никем из свадебного кортежа, случившееся на пути от улицы Сестер страстей господних к церкви св. Павла.

В те дни заново мостили камнем северный конец улицы Сен-Луи, и, начиная от Королевского парка, она была загорожена для проезда. Ввиду этого свадебные кареты не могли следовать к церкви св. Павла прямым путем. Приходилось изменить маршрут; проще всего было объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что в канун поста там, наверно, будет большое скопление экипажей. «Почему?» – спросил Жнльнорман. «Из-за ряженых». «Чудесно, – заявил дед, – поедем по бульвару! Наши молодые люди женятся, они вступают в серьезную эпоху жизни. Пусть напоследок полюбуются на маскарад».

Поехали бульваром. В первой свадебной карете сидели Козетта с тетушкой Жильнорман и Жильнорман с Жаном Вальжаном. Мариус, по обычаю, еще разлученный с невестой, ехал в следующей. Свадебный поезд, свернув с улицы Сестер страстей господних, включился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся нескончаемой цепью от улицы Мадлен к Бастилии и от Бастилии к улице Мадлен.

Ряженые наводняли бульвар. Время от времени начинал моросить дождь, но паяцы, арлекины и шуты не унывали. Зимой 1833 года всеми владело веселое настроение, и Париж перерядился в Венецию. Теперь уже не увидишь такой масленицы. Вся жизнь превратилась в карнавал, потому-то и нет больше настоящих карнавалов.

Боковые аллеи были переполнены прохожими, окна – любопытными. На площадках, галереях, крышах театров теснились зрители. Помимо масок, внимание привлекал обычный в канун поста, как и в день скачек в Лоншане, церемониальный марш всевозможных экипажей. Тут были коляски, крытые повозки, одноколки, кабриолеты, следовавшие по распоряжению полиции в строгом порядке гуськом друг за дружкой, словно катясь по рельсам. Тот, кто едет в таком экипаже, одновременно и зритель и зрелище. Полицейские направляли по обеим сторонам бульвара две бесконечные параллельные вереницы, двигавшиеся навстречу друг другу, и следили, чтобы ничто не нарушало этого двойного течения, этого двойного потока экипажей, стремившихся одни вверх, другие вниз – одни к Шоссе д'Антен, другие к Сент-Антуанскому предместью. Украшенные гербами экипажи пэров Франции и иностранных послов занимали середину проезда, свободно передвигаясь в обоих направлениях. Некоторые великолепные и шумные процессии, в особенности Масленичного Быка, пользовались тем же преимуществом» Среди всенародного парижского веселья проследовала, щелкая кнутом, и Англия, с оглушительным грохотом прокатила почтовая карета лорда Сеймура, осыпаемая язвительными насмешками толпы.

В двойной цепи экипажей, вдоль которой, точно овчарки, скакали конные стражники, из дверей солидных семейных рыдванов, набитых тетушками и бабушками, то и дело высовывались свежие личики ряженых детей, семилетних Пьерро, шестилетних Пьеретт, очаровательных малышей, гордившихся, что и они принимают участие во всеобщем

ликовании, преисполненных сознания важности этой шутовской игры и степенных, как чиновники.

Время от времени где-нибудь в процессии экипажей происходил затор, и тогда та или другая из параллельных цепей останавливалась, пока узел не распутывался; достаточно было замешкаться одной коляске, чтобы задержать всю вереницу. Затем движение восстанавливалось.

Свадебный поезд двигался в потоке, направлявшемся к Бастилии, вдоль правой стороны бульвара. Напротив Капустного моста произошла небольшая задержка. Почти в ту же минуту остановился и второй поток, с другой стороны бульвара, направлявшийся к улице Мадлен. Свадебная карета очутилась как раз напротив коляски с ряжеными.

Такие коляски, или, лучше сказать, повозки с масками, знакомы парижанам. Если бы во вторник на масленой или в четверг в середине поста их не оказалось, в этом заподозрили бы неладное и пошли бы толки: «Тут что-то нечисто. Верно, ожидается смена министерства». Целая орава Кассандр, Арлекинов, Коломбин, колыхающихся над головами прохожих, всевозможные смешные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, маркизы в обнимку с Геркулесами, рыночные торговки, от ругани которых заткнул бы уши сам Рабле, как некогда опускал глаза Аристофан при виде менад, парики из пакли, розовые трико, франтовские шляпы, шутовские очки, дурацкие колпаки с прицепленной бабочкой, задорная перебранка с пешеходами, руки в боки, вызывающие позы, голые плечи, лица в масках, разнузданная непристойность, разгул бесстыдства на колесах с кучером в цветочном венке, – вот что такое повозка с ряжеными.

Греции нужна повозка Феспида. Франции нужен фургон Ваде.

Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, озорная гримаса античной красоты, все более искажаясь и грубея, обратилась в масленичное гулянье. А вакханалия, некогда увенчанная гроздьями винограда, залитая солнцем, смело открывавшая мраморную грудь в божественной своей полунаготе, у нас, под суровым дыханием севера, поникнув в мокрых лохмотьях, стала называться в конце концов карнавальной харей.

Обычай возить ряженых по городу восходит к древнейшим временам монархии. В приходно-расходных книгах Людовика XI значилось, что дворцовому казначею было отпущено «двадцать су турской чеканки на три машкерадных рыдвана для простонародья». В наши дни эти шумные ватаги тащатся всегда в каком-нибудь древнем дилижансе, громоздясь на империале, или же вваливаются скопом в казенное ландо с откинутым верхом. В один шестиместный экипаж их набивается человек двадцать. Они пристраиваются на сиденьях, на откидных скамейках, на краях откинутого верха, на дышле. Некоторые сидят верхом на экипажных фонарях. Едут стоя, лежа, сидя, согнувшись в три погибели, свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин. Эти живые пирамиды из беснующихся горланящих людей видны издалека над колыхающимся морем голов. Битком набитые повозки возвышаются среди общей толчеи, точно горы, струящие веселье. Оттуда сыплются словечки Коле, Панара и Пирона, приправленные уличным жаргоном. Оттуда изрыгают на толпу площадной катехизис. У перегруженного и несуразно разросшегося экипажа вид самый победоносный. Впереди шум и гам, позади – дым коромыслом. Там вопят, поют, галдят, гогочут, корчатся от хохота; там грохочет веселье, искрятся насмешки, пышет румянцем благодушие; две клячи тащат этот шутовской фарс, развернувшийся в апофеоз; это триумфальная колесница Смеха.

Но смеха слишком циничного, чтобы быть искренним. И в самом деле, смех звучит здесь подозрительно. У него своя цель. На него возложена обязанность доказать парижанам, что карнавал состоялся.

Такие разудалые коляски, в глубине которых чудятся бог весть какие мрачные тайны, наводят философа на размышления. За этим притаилась правящая власть. Вы живо ощущаете таинственную связь между уличными агентами и уличными девками.

Разумеется, весьма прискорбно, что мерзость, выставляемая напоказ, способна вызывать безудержное веселье, что нагромождение бесчестья и позора может разлакомить толпу, что полицейский сыск, служа проституции пьедесталом, забавляет улицу площадной руганью, что улице любо глазеть, как тащится на четырех колесах чудовищная груда живых тел, в мишуре и лохмотьях, в грязи и блеске, горланя и распевая, что зеваки рукоплещут этому торжеству всех пороков, что для простонародья праздник не в праздник, если в толпе не прогуливаются эти выпущенные полицией двадцатиглавые гидры веселья. Но что поделаешь? Эти телеги с человеческим отребьем, в лентах и в цветах, осуждены и помилованы всенародным смехом. Всеобщий смех – соучастник всеобщего падения нравов. Иные непристойные увеселения разлагают народ и превращают его в чернь, а черни, как и тиранам, необходимы шуты. У короля есть Роклор, а у народа Паяц. Париж – город великих безумств, кроме тех случаев, когда он бывает столицей великих идей. Там карнавал неразрывно связан с политикой. Надо признать, что Париж охотно смотрит комедию, которую разыгрывает перед ним гнусность. Он требует от своих властителей – когда у него есть властители – только одного: «Размалюйте мне грязь». Рим отличался теми же вкусами. Рим любил Нерона. А Нерон был великий скоморох.

Как мы уже сказали, случилось, что одна из таких огромных повозок, тащившая безобразную ораву замаскированных женщин и мужчин, застряла по левую сторону бульвара в то самое время, когда свадебный кортеж остановился по правую. Ряженые в коляске увидели на той стороне бульвара, как раз напротив, карету с невестой.

– Гляди-ка, – воскликнула одна из масок, – свадьба!

– Похороны, а не свадьба, – возразила другая маска – Вот у нас так настоящая свадьба.

Не имея возможности на столь далеком расстоянии подразнить свадебный поезд, опасаясь к тому же полицейского окрика, обе маски отвернулись.

Впрочем, спустя минуту у всех ряженых, набившихся в коляску, оказалось дела по горло, так как толпа принялась задирать их и зубоскалить, выражая этим, как принято на карнавале, свое одобрение: обе маски, завязавшие разговор, принуждены были наравне с товарищами смело вступить в битву со всей улицей, и им едва хватало боевых снарядов из их площадного репертуара, чтобы отражать град непристойных шуток черни. Между масками и толпой завязалась отчаянная перебранка чудовищными метафорами.

Тем временем двое других ряженых из той же коляски – старообразный испанец с непомерно длинным носом и громадными черными усами и тощая, совсем молоденькая рыночная торговка в полумаске – тоже заметили свадебный поезд и, пока их спутники переругивались с прохожими, начали меж собой тихую беседу.

Их перешептывание заглушалось общим гвалтом и тонуло в нем. Открытая коляска с ряжеными вымокла под дождем; февральский ветер неласков; сильно декольтированная девица, с усмешкой отвечая испанцу, стучала зубами от холода и кашляла.

Вот их диалог:

– Слушай-ка!

– Что, папаша?

– Видишь того старика?

– Какого старика?

– Вон там, в передней свадебной тарахтелке, с нашей стороны.

– У кого рука болтается на черной тряпке?

– Да.

– Вижу, ну и что?

– Мне сдается, я его знаю.

– Ну и ладно!

– Провалиться мне на месте, пускай у меня язык отсохнет, коли я не знаю этого парижского плясуна.

– Нынче весь Париж плясун.

– Можешь ты увидеть невесту, если нагнешься?

– Нет.

– А жениха?

– В этой тарахтелке нет жениха.

– Да ну?

– Разве только второй старикан.

– Нагнись хорошенько и постарайся все-таки разглядеть невесту.

– Не могу.

– Ладно, все равно, а я знаю этого старика с обмотанной клешней, разрази меня гром!

– А на кой тебе его знать?

– Мало ли что! Пригодится.

– Ну, а мне наплевать на стариков.

– Я его знаю!

– Ну и знай себе на здоровье.

– Какого дьявола он попал на свадьбу?

– Да мы-то ведь попали?

– Откуда едет эта свадьба?

– А я почем знаю?

– Слушай-ка!

– Ну?

– Тебе бы надо обделать одно дельце.

– Чего еще?

– Соскочи на мостовую да последи за свадьбой.

– Это зачем?

– Разнюхай, куда они едут и что это за птицы. Ну, прыгай живее, беги, дочка, ты у меня шустрая.

– Я не могу сойти с коляски.

– Почему?

– Меня наняли.

– Тьфу пропасть!

– Нынче мне весь день работать на полицию в этом самом наряде.

– Что правда, то правда!

– Сойди я с коляски, меня первый же легавый застукает. Сам знаешь.

– Как не знать!

– На сегодня меня сторговали фараоны.

– Мне нет дела, кто тебя сторговал. Меня бесит этот старик.

– Тебя бесят старики? Полно, ты же не девчонка!

– Он едет в первой коляске.

– Ну и что же?

– В тарахтелке невесты.

– А дальше?

– Стало быть, это отец.

– А мне плевать!

– Говорят тебе, это отец.

– Отец так отец, эка невидаль!

– Слушай.

– Чего еще?

– Я могу выходить только в маске. Так я хорошо укрыт, никто не знает, что я здесь. Но завтра уже не будет масок. Завтра покаянная среда. Я могу засыпаться. Придется уползти в свою дыру. А ты свободна.

– Не так чтобы очень.

– Все же больше, чем я.

– Ладно, ну а дальше?

– Постарайся узнать, куда поехала свадьба.

– Куда она поехала?

– Да.

– Я и так знаю.

– Куда же она едет?

– На улицу Синий циферблат.

– Во-первых, она вовсе не в той стороне.

– Ну тогда к Винной пристани.

– А может, и еще куда?

– Это их дело. Свадьбы едут, куда хотят.

– Не в том суть. Говорят тебе, постарайся узнать, что это за свадьба со стариком в пристяжке и где они живут.

– Да ты обалдел? Вот умора! Поди попробуй через неделю найти свадьбу, которая проехала по Парижу во вторник на масленой. Ищи иголку в сене. Да разве это мыслимо?

– Мало ли что! Надо постараться. Слышишь, Азельма?

В эту минуту обе вереницы экипажей по обеим сторонам бульвара тронулись в путь в противоположных направлениях, и карета с масками потеряла из виду «тарахтелку» с новобрачной.

Глава вторая.

У Жана Вальжана рука все еще на перевязи

Осуществить свою мечту! Кому дано такое счастье? Должно быть, в небесах намечают и избирают достойных; мы все, без нашего ведома, в числе кандидатов; ангелы подают голоса. Козетта и Мариус попали в число избранников.

В мэрии и в церкви Козетта была ослепительно хороша и трогательна. Ее наряжала Тусен с помощью Николетты.

Поверх чехла из белой тафты на ней было платье бельгийского гипюра, фата из английских кружев, жемчужное ожерелье, венок из померанцевых цветов; все было белое, и в этой белизне она блистала, как заря. От нее исходило тонкое очарование, окружавшее ее сияющим ореолом; чудилось, будто земная дева на ваших глазах превращается в богиню.

Красивые волосы Мариуса были напомажены и надушены; кое-где под густыми кудрями виднелись бледные шрамы – рубцы от ран, полученных на баррикаде.

Дед, более чем когда-либо воплощая в своем наряде и манерах все изящество и щегольство времен Барраса, величественно, с гордо поднятой головой вел Козетту к венцу. Он заменял Жана Вальжана, который из-за перевязанной руки не мог сам вести новобрачную.

Жан Вальжан, весь в черном, следовал за ними и улыбался.

– Ах, господин Фошлеван! – говорил дед. – Не правда ли, какой чудесный день? Я голосую за отмену всех огорчений и скорбей. Надо, чтобы нигде отныне не было места печали. Я предписываю всеобщее веселье, черт возьми! Зло не имеет права на существование. Неужели есть еще на свете несчастные люди? Честное слово, это позор для голубых небес. Зло не исходит от человека, человек по существу добр. Центр управления всеми людскими бедствиями находится в преисподней, иными словами, в Тюильрийской резиденции самого Сатаны. Скажите на милость, я заговорил, как заправский демагог! Что ж, у меня нет больше политических убеждений; пускай все люди будут богаты, пускай радуются жизни – вот все, чего я хочу.

Когда по выполнении всех церемоний, – произнеся перед лицом мэра и перед лицом священника все полагающиеся «да», подписав свое имя под брачным контрактом в муниципалитете и в ризнице, обменявшись кольцами, постояв рядом на коленях под белым муаровым венчальным покровом в облаках кадильного «дыма, – новобрачные, Мариус весь в черном, Козетта вся в белом, предшествуемые швейцаром в полковничьих эполетах, который громко стучал по плитам своей алебардой, прошли рука об руку, вызывая всеобщее восхищение и зависть, меж двумя рядами умиленных зрителей, к церковным дверям, распахнутым настежь, и направились к карете, даже тут Козетта не поверила, что все это наяву. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на небо; она словно боялась пробудиться от сна. Ее изумленный, неуверенный вид придавал ей особенное очарование. На обратном пути они сели в одну карету, Мариус рядом с Козеттой; Жильнорман и Жан Вальжан поместились против них. Тетушка Жильнорман отступила на задний план и ехала в следующей карете.

– Ну вот, дети мои, – говорил дед, – теперь вы – господин барон и госпожа баронесса и у вас тридцать тысяч франков ренты.

Наклонившись к Мариусу, Козетта нежно прошептала ему на ухо своим ангельским голоском:

– Значит, это правда? Я ношу твое имя. Я – госпожа Ты.

Юные существа сияли радостью. Для них наступило неповторимое, невозвратное мгновение: они достигли вершины, где их расцветшая юность обрела всю полноту счастья. Как сказано в стихах Жана Прувера, обоим вместе не было и сорока лет. То был чистейший союз: эти двое детей напоминали две лилии. Они не видели, а созерцали друг друга. Мариус представлялся Козетте в нимбе, Козетта являлась Мариусу на пьедестале. И на этом пьедестале и в этом нимбе, как в двойном апофеозе, где-то в непостижимой дали, для Козетты – в неясной дымке, для Мариуса – в блеске и пламени, брезжило нечто идеальное, нечто реальное, место свидания грезы и поцелуя – брачное ложе.

Они с умилением вспоминали о прежних муках. Им казалось, что страдания, бессонные ночи, слезы, тревоги, ужас, отчаяние, обернувшись лаской и светом, усиливали очарование грядущего блаженного часа и что их горести были лишь служанками, которые убирали к венцу их лучезарную радость. Выстрадать столько, – как это хорошо! Былое горе окружало их счастье ореолом. Долгая агония любви вознесла их на небеса.

Эти юные души были в одинаковом упоении, с оттенком страсти у Мариуса и стыдливости у Козетты. Они говорили шепотом: «Мы навестим наш садик на улице Плюме». Складки платья Козетты лежали на коленях Мариуса.

Этот день – неизъяснимое сплетение мечты и реальности, обладания и грезы. Еще есть время, чтобы угадывать будущее. Какое невыразимое чувство – в сиянии полдня мечтать о

полуночи! Блаженство двух сердец передавалось толпе и вызывало у прохожих радостное умиление.

Люди останавливались на Сент-Антуанской улице, против церкви св. Павла, чтобы сквозь стекла экипажа полюбоваться померанцевыми цветами, трепетавшими на головке Козетты.

Наконец они вернулись к себе, на улицу Сестер. Рука об руку с Козеттой, торжествующий и счастливый Мариус взошел по той самой лестнице, по которой его несли умирающим. Нищие, столпившиеся у дверей, деля меж собою щедрое подаяние, благословляли молодых. Всюду были цветы. Дом благоухал не меньше, чем церковь; после ладана – аромат роз. Влюбленным слышались голоса, поющие в бесконечной вышине, в их сердцах пребывал бог, будущее представлялось им небесным сводом, полным звезд, они видели над головой сияние восходящего солнца. Вдруг раздался бой часов. Мариус взглянул на прелестную обнаженную руку Козетты, на плечи, розовевшие сквозь кружева корсажа, и Козетта, уловив его взгляд, покраснела до корней волос.

На свадьбу было приглашено много старых друзей семейства Жильнорман; все теснились вокруг Козетты, наперебой осыпая ее любезностями; каждый оспаривал честь первым назвать ее госпожой баронессой.

Офицер Теодюль Жильнорман, уже в чине капитана, прибыл из Шартра, где стоял его эскадрон, чтобы присутствовать на венчанье кузена Понмерси. Козетта не узнала его.

Да и он, избалованный успехом у женщин, помнил Козетту не больше, чем любую другую.

«Как я был прав, что не поверил этой сплетне про улана!» – сказал себе старик Жильнорман.

Никогда еще Козетта не была так нежна с Жаном Вальжаном. Подобно дедушке Жильнорману, который изливал свою радость в афоризмах и изречениях, она источала любовь и ласку, как благоухание. Счастливый желает счастья всему миру.

В ее голосе звучали для Жана Вальжана давние детские интонации. Ее улыбка ласкала его.

Свадебный стол был накрыт в столовой.

Яркое освещение – необходимая приправа к большому празднику. Мгла и сумрак не по душе счастливым. Они отвергают черный цвет. Ночь привлекает их, тьма – никогда. Если нет солнца, надо создать его.

Столовая весело играла огнями. Посредине, над столом, покрытым ослепительно белой скатертью, висела венецианская люстра с серебряными подвесками и разноцветными птичками, синими, фиолетовыми, красными, зелеными, сидевшими между свечей; на столе – жирандоли, по стенам – трехсвечные и пятисвечные бра; стекло, хрусталь, бокалы, всевозможная посуда, фарфор, фаянс, глазурь, золото, серебро – все сверкало и веселило глаз. Промежутки между канделябрами были заполнены букетами – там, где не было огней, пестрели цветы.

Три скрипки и флейта играли в прихожей под сурдинку квартеты Гайдна.

Жан Вальжан сидел в гостиной, у самой двери, так что ее широкая створка почти закрывала его. За несколько минут до того, как пойти к столу, Козетта, словно по наитию, подбежала к нему, расправила обеими руками подвенечное платье и, сделав глубокий реверанс, спросила с шаловливой нежностью:

– Отец! Вы рады?

– Да, – отвечал Жан Вальжан, – я рад.

– Если так, то улыбнитесь.

Жан Вальжан улыбнулся.

Через несколько секунд Баск доложил, что обед подан.

Вслед за Жильнорманом, который вел под руку Козетту, приглашенные проследовали в столовую и разместились вокруг стола согласно установленному порядку.

По правую и по левую руку новобрачной стояли два больших кресла: одно – для Жильнормана, другое – для Жана Вальжана. Жильнорман занял свое место. Второе кресло осталось пустым.

Все искали глазами «господина Фошлевана».

Его не было.

Господин Жильнорман обратился к Баску:

– Ты не знаешь, где господин Фошлеван?

– Так точно, знаю, сударь, – отвечал Баск – Господин Фошлеван велел мне передать вашей милости, что у него разболелась рука и он не может отобедать с господином бароном и госпожой баронессой. Он просил извинить его и сказал, что придет завтра утром. Он сию минуту вышел.

Пустое кресло на миг омрачило веселье свадебного пира. Но если здесь не хватало Фошлевана, зато Жильнорман был налицо, и дед сиял за двоих. Он объявил, что, вероятно, г-ну Фошлевану нездоровится и он поступает благоразумно, ложась спать пораньше, но что рана у него пустячная. Всех успокоило такое объяснение. Да и что значил один темный уголок в таком море веселья? Козетта и Мариус переживали одну из тех блаженных эгоистических минут, когда человек не способен испытывать ничего, кроме счастья. К тому же Жильнормана осенила блестящая мысль:

– Черт возьми, зачем креслу пустовать? Пересядь сюда, Мариус. Твоя тетушка разрешит, хоть и имеет на тебя право. Это кресло как раз для тебя. Это вполне законно и очень мило. Счастливец рядом со счастливицей.

Весь стол разразился рукоплесканиями. Мариус занял место Жана Вальжана, рядом с новобрачной, и дело обернулось так, что Козетта, опечаленная уходом Жана Вальжана, в конце концов оказалась довольна. Козетта не пожалела бы о боге, если бы его место занял Мариус. Она поставила свою хорошенькую ножку в белой атласной туфельке на ногу Мариуса.

Лишь только кресло было занято, все позабыли о Фошлеване; его отсутствия уже никто не замечал. Не прошло и пяти минут, как весь стол шумел и веселился, позабыв обо всем.

За десертом Жильнорман встал и, подняв бокал шампанского, который он налил до половины, чтобы не расплескать его своими дрожащими старческими руками, провозгласил тост за здоровье молодых.

– Вам не отвертеться нынче от двух проповедей! – воскликнул он. – Утром вы слушали священника, вечером вам придется выслушать старого деда. Внимание! Я хочу дать вам совет: обожайте друг друга. Я не стану ходить вокруг да около, я перейду прямо к цели – будьте счастливы. Нет в природе никого мудрее, чем влюбленные голубки. Философы учат: «Будьте умеренны в удовольствиях». А я говорю: «Дайте себе волю, бросьте поводья!» Влюбляйтесь, как черти. Будьте безумцами. Философы порют чушь. Я бы заткнул им всю их философию обратно в глотку. Разве может быть в жизни слишком много благоухания, слишком много распустившихся роз, соловьиного пения, зеленых листьев, алой зари? Разве можно любить чрезмерно? Разве можно нравиться друг другу чересчур? Берегись, Эстелла, ты слишком прелестна; берегись, Неморин, ты чересчур красив! Что за чепуха! Разве можно знать меру восторгам, очарованиям, ласкам? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть слишком счастливым? «Будьте умеренны в удовольствиях». Благодарю покорно! Долой философов! Ликовать – вот в чем мудрость. Ликуйте же, возликуем же! Счастливы ли мы оттого, что добры, или добры оттого, что счастливы? Почему знаменитый брильянт называется Санси – потому ли, что принадлежал Арле де Санси, или потому, что весит сто шесть каратов?[14] Почем я знаю? Жизнь полным – полна таких проблем; самое важное – владеть

Санси и наслаждаться счастьем. Будем же счастливы, не мудрствуя лукаво. Будем слепо повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто говорит «любовь», тот говорит «женщина». Вы хотите знать, что такое всемогущество? Извольте, – это женщина. Спросите у нашего демагога Мариуса, не стал ли он рабом маленькой тиранки Козетты. И ведь по собственной охоте, плут эдакий! О женщина! Ни одному Робеспьеру не удержать власти, а женщина царит от века. Я роялист, но признаю отныне только эту королеву. Что такое Адам? Это царство, которым управляла Ева. Для Евы не существует никакого восемьдесят девятого года. Был королевский скипетр, увенчанный лилией, была императорская держава, был железный скипетр Карла Великого, был золотой скипетр Людовика Великого, и революция все их согнула меж пальцев, как грошовую безделушку; с ними покончено, они сломаны, они валяются на полу, нет больше скипетров. Но попробуйте устроить революцию против кружевного платочка, надушенного пачулями! Хотел бы я посмотреть на это. Ну-ка попытайтесь. Почему он так прочен? Потому что это просто тряпочка. Ах, вы из девятнадцатого века? Ну что ж, а мы из восемнадцатого! И мы были не глупее вас. Не воображайте, будто вы перевернули вселенную, если стали называть наше моровое поветрие холерой, а наш танец бурре – качучей. Чтобы там ни случилось, во все времена придется любить женщин. Бьюсь об заклад, что и вам не уйти от них. Эти бесовки для нас – ангелы. Да, любовь, женщина, поцелуй – это заколдованный круг, откуда, держу пари, не выбраться никому из вас; я, например, охотно бы туда вернулся. Кто из вас видел, как, смиряя все бури, глядясь в волны, подобно женщине, подымается в бесконечную высь звезда Венера, великая кокетка небесной бездны, Селимена океана? Океан – это суровый Альцест. Ну что же, пусть он брюзжит, сколько хочет, – когда восходит Венера, ему волей-неволей приходится улыбаться. Эта грубая скотина покоряется. Все мы таковы. Гнев, буря, гром и молния, брызги пены до облаков. Но стоит женщине появиться, стоит звезде взойти – падайте ниц! Полгода назад Мариус сражался; теперь он женится. И хорошо делает. Да, Мариус, да, Козетта; вы правы. Смело живите друг для друга, целуйтесь, милуйтесь, пускай все лопнут от зависти, глядя на вас, боготворите друг друга. Подбирайте клювом все соломинки счастья, какие только есть на земле, и свейте из них себе гнездышко на всю жизнь. Любить, быть любимым, – ей-ей, это не диво, когда вы молоды! Не воображайте, пожалуйста, будто вы первые все это выдумали. И я тоже грезил, мечтал, вздыхал, и мою душу заливал лунный свет. Любовь – это младенец, которому от роду шесть тысяч лет. Любовь имеет полное право на длинную седую бороду. Мафусаил – молокосос в сравнении с Купидоном. Вот уже шестьдесят веков мужчина и женщина выпутываются из беды, любя друг друга. Дьявол лукав, он возненавидел человека; человек еще лукавее – он возлюбил женщину. Это принесло ему больше добра, чем дьявол причинил ему зла. Такая хитрость изобретена еще во времена земного рая. Друзья мои! Это старая история, но она вечно нова. Воспользуйтесь ею. Будьте Дафнисом и Хлоей, пока не придет пора стать Филемоном и Бавкидой. Живите так, чтобы, когда вы вдвоем, вам ничего бы не требовалось больше, чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, чтобы Мариус был вселенной для Козетты. Козетта! Пусть улыбка мужа станет для вас ясным днем. Мариус! Пусть слезы жены станут для тебя ненастьем. И пусть никогда в вашей жизни не будет непогоды. Вы ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет – любовь, увенчанную браком; вам достался главный выигрыш, берегите же его, как зеницу ока, заприте его на ключ, не транжирьте его, обожайте друг друга и – пошлите к черту все остальное! Верьте моим словам. Это вещает сам здравый смысл. Здравый смысл не может лгать. Молитесь друг на друга. Каждый по-своему поклоняется богу. Разрази меня гром, если не лучший способ чтить бога – любить свою жену! Я люблю тебя – вот мой катехизис. Кто любит, тот благочестив. В своем любимом ругательстве Генрих Четвертый сочетает святость с обжорством и пьянством. «Свято-пьяное-брюхо!» Я не поклонник такой религии. Здесь забыта женщина. От кого угодно, а уж от Генриха Четвертого я этого не ожидал. Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик, если верить людям; но как это ни удивительно, я чувствую, что молодею. Я охотно гулял бы по лесам и слушал пастушью свирель. Красота и счастье этих детей опьяняют меня. Я и сам бы не прочь жениться, если бы

кто-нибудь пошел за меня. Немыслимо представить себе, что бог сотворил нас для чего-нибудь другого; обожать, ухаживать, ворковать голубком, петь петухом, целоваться и обниматься с утра до ночи, охорашиваться перед своей женкой, гордиться, ликовать, распускать хвост – вот цель жизни. Угодно вам или нет, а вот что мы думали в наше время, когда были молоды. Ух ты, сколько было восхитительных женщин в старину, сколько прелестниц, сколько чудесниц! Я немало произвел опустошений в их сердцах. Итак, любите друг друга. Если не любить друг друга, то я, право, не понимаю, зачем, собственно, наступала бы весна; тогда я просил бы всемогущего бога забрать назад и запереть в кладовую все прекрасные творения, которыми он нас дразнит: и цветы, и птичек, и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение старика.

Вечер прошел оживленно, весело, очаровательно. Превосходное настроение деда задавало тон всему пиршеству; каждый невольно заражался этим почти столетним благодушием. Немножко танцевали, много смеялись; это была благонравная свадьба. На нее смело можно было пригласить Доброе старое время. Впрочем, оно и так присутствовало здесь в лице Жильнормана.

После шума наступила тишина.

Новобрачные скрылись.

Вскоре после полуночи дом Жильнормана обратился в храм.

Здесь мы остановимся. У порога брачной ночи стоит ангел; он улыбается, приложив палец к губам.

Душа предается размышлениям перед святилищем, где совершается торжественное таинство любви.

Над этой обителью должно появляться сияние. Сокрытое в ней счастье должно проникать сквозь камни стен в виде слабых лучей и пронизывать ночной мрак. Не может быть, чтобы это священное, предопределенное судьбою празднество не излучало бы в бесконечность дивного света. Любовь – это божественный горн, где происходит слияние мужчины и женщины; единое, тройственное, совершенное существо, человеческое триединство выходит из этого горна. Рождение единой души из двух должно вызывать волнение в неведомом. Любовник – это жрец; непорочную деву объемлет сладостный страх. Какая-то доля этой радости воспаряет к богу. Где истинный брак, где любовь, там свет идеала. Брачное ложе во тьме – как луч зари. Если бы смертному взору было дано лицезреть чудесные и грозные видения горнего мира, мы увидели бы, как сонмы ночных духов, крылатых незнакомцев, голубых пришельцев из невидимых сфер склоняются над этим светлым чертогом, умиленные, благословляющие, с отблеском земного блаженства на божественных ликах, указывая один другому на робкую и смущенную девственную супругу. Если бы в этот несравненный час упоенные страстью новобрачные, уверенные, что они наедине, прислушались, они различили бы смутный шелест крыл в своей опочивальне. Истинному блаженству сопричастны ангелы. Вся ширь небес служит сводом этому маленькому темному алькову. Когда уста, освященные любовью, сливаются в животворящем лобзании, не может быть, чтобы этот неизъяснимый поцелуй не отозвался трепетом там, высоко, в таинственных звездных пространствах.

Только такое блаженство истинно. Нет других радостей, кроме этих. Любовь – вот единственное счастье на земле. Все остальное – юдоль слез.

Любить, испытать любовь – этого достаточно. Не требуйте большего. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь – это свершение.

Глава третья.
Неразлучный

Куда исчез Жан Вальжан?

Вскоре после того как он, по ласковому настоянию Козетты, заставил себя улыбнуться, Жан Вальжан поднялся с места и, пользуясь тем, что никто не обращал на него внимания, незаметно вышел в прихожую. Это была та самая комната, куда он вошел восемь месяцев тому назад, весь черный от грязи, крови и пороха, когда принес деду его внука. Старинные стенные панели были увешаны гирляндами листьев и цветов; на диване, куда в тот вечер положили Мариуса, сидели теперь музыканты. Разряженный Баск, во фраке, в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках, украшал каждое блюдо, перед тем как нести к столу, венками из роз, Жан Вальжан, показав ему на свою перевязанную руку, поручил объяснить причину своего ухода и покинул дом.

Несколько минут Жан Вальжан стоял неподвижно в темноте под ярко освещенными окнами столовой, выходившими на улицу. Он прислушивался. До него доносился приглушенный шум свадебного пира. Он различал громкую, уверенную речь деда, звуки скрипок, звон тарелок и бокалов, взрывы смеха и среди всего этого веселого гула – нежный радостный голосок Козетты.

Покинув улицу Сестер страстей господних, он вернулся к себе, на улицу Вооруженного человека.

Он шел туда окольным путем, через Сен-Луи, через Ниву св. Екатерины и Белых мантий; ему пришлось сделать довольно большой крюк, но этой самой дорогой ежедневно, вот уже три месяца, чтобы миновать грязную и многолюдную Старую Тампльскую улицу, он провожал Козетту с улицы Вооруженного человека на улицу Сестер страстей господних.

Этой дорогой ходила Козетта, другого пути он не хотел для себя.

Жан Вальжан возвратился домой. Он зажег свечу н поднялся к себе. Квартира опустела. Не было даже Тусен. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустых комнатах. Все шкафы были распахнуты настежь. Он прошел в спальню Козетты. На кровати не было простынь. Тиковая подушка, без наволочки и кружев, лежала на куче свернутых одеял в ногах ничем не накрытого тюфяка, на котором некому уже было спать. Все милые женские безделушки, которыми так дорожила Козетта, были унесены; оставалась лишь тяжелая мебель да голые стены. С кровати Тусен все было снято. Только одна кровать была застлана и, казалось, ждала кого-то: кровать Жана Вальжана.

Жан Вальжан окинул взглядом стены, затворил дверцы шкафов, обошел пустые комнаты.

Наконец он очутился в своей спальне и поставил свечу на стол.

Он давно уже сбросил повязку и свободно двигал правой рукой, как будто она не болела.

Он подошел к кровати, и глаза его, случайно или намеренно, остановились на «неразлучном», давно вызывавшем ревность Козетты, – на маленьком сундучке, который всюду ему сопутствовал. Четвертого июня, переехав на улицу Вооруженного человека, он поставил его на столик у изголовья кровати. Поспешно подойдя к нему, он нащупал в кармане ключ и отпер сундук.

Медленно стал он вынимать оттуда детские вещи Козетты, в которых десять лет назад она уходила из Монфермейля: сначала черное платьице, черную косынку, затем славные неуклюжие детские башмачки, которые, пожалуй, и теперь пришлись бы впору Козетте, так мала была ее ножка, потом лифчик из плотной бумазеи, вязаную юбку, фартук с кармашками и шерстяные чулки. Чулки, еще хранившие очертания стройной детской ножки, были ничуть не длиннее ладони Жана Вальжана. Все это было черного цвета. Он сам принес для нее в Монфермейль эти вещицы. Вынимая из сундучка, он их раскладывал одну за другой на постели. Он думал, он припоминал. Это происходило зимой, в декабре месяце, в жестокую стужу; Козетта озябла и вся дрожала, едва прикрытая лохмотьями, ее бедные ножки в деревянных башмаках посинели от холода. Жан Вальжан заставил малютку сбросить рубище и заменить его этим траурным платьем. Ее мать, должно быть, радовалась в могиле, что дочка носит по ней траур, а главное, что она одета, что ей тепло. Он вспомнил Монфермейльский лес; они

прошли по лесу вместе, Козетта и он; он вспомнил зимнюю непогоду, деревья без листьев, рощи без птиц, небеса без солнца, – все равно это было чудесно. Он разложил на кровати эти детские одежды: косынку около юбки, чулки возле башмачков, лифчик рядом с платьем и разглядывал их. Она была тогда вот такого роста, она прижимала к груди свою большую куклу, она спрятала дареную золотую монету в карман этого самого фартучка, она смеялась; они шли вдвоем, держась за руки; кроме него, у нее не было никого на свете.

И вдруг его седая голова склонилась на постель, старое мужественное сердце дрогнуло, он зарылся лицом в платьице Козетты, и если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он услышал бы безутешные рыдания.

Глава четвертая.
Immortale jecur[15]

Давнишняя жестокая борьба, которую мы уже наблюдали на разных этапах, возобновилась.

Иаков сражался с ангелом всего одну ночь. Увы! Сколько раз видели мы, как Жан Вальжан, во мраке, один на один против своей совести изнемогал в отчаянной борьбе!

Неслыханное единоборство! В иные минуты у него скользила нога, в иные под ним рушилась земля. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к добру совесть душила его и повергала наземь! Сколько раз безжалостная истина становилась ему коленом на грудь! Сколько раз, сраженный светом познания, он молил о пощаде! Сколько раз неумолимый свет, зажженный епископом в нем и вокруг него, озарял его против воли, когда он жаждал остаться слепым! Сколько раз в этом бою он выпрямлялся, удерживаясь за скалу, хватаясь за софизм, попирая ногами свою совесть, сколько раз влачился во прахе, сам поверженный ею наземь. Сколько раз, после какой-нибудь хитрой уловки, после вероломного и лицемерного довода, подсказанного эгоизмом, он слышал над ухом голос разгневанной совести: «Это нечестный прием, негодяй!» Сколько раз его непокорная мысль хрипела в судорогах под пятой непререкаемого долга! То было сопротивление богу! То был предсмертный пот! Как много тайных ран, известных ему одному, все еще кровоточило! Как много шрамов и рубцов в его страдальческой жизни! Как часто поднимался он, весь окровавленный, изнемогающий, разбитый и просветленный, с отчаянием в сердце, но с ясным духом. И, побежденный, он сознавал себя победителем. Свалив его с ног, растерзав и сломив, стоявшая над ним совесть, грозная, лучезарная, удовлетворенная, говорила: «Теперь иди с миром!»

Но увы! Какой унылый мир наступал после такой смертельной борьбы!

Жан Вальжан чувствовал, что этой ночью ему предстоит выдержать последний бой.

Перед ним вставал мучительный вопрос.

Превратности судьбы не всегда ведут человека прямой дорогой; они не простираются ровной, никуда не отклоняющейся стезей перед тем, кому предназначены; там встречаются тупики, закоулки, темные повороты, зловещие перекрестки, откуда разбегается много тропинок. Жан Вальжан стоял теперь на самом опасном из таких перекрестков.

Он стоял у последнего рубежа, у пересечения путей добра и зла. Его глазам открывалось роковое перепутье. И вновь, как уже бывало с ним при иных тягостных обстоятельствах, впереди расстилались две дороги: одна искушала его, другая пугала. Какую же избрать?

На ту, что пугала, посылал его таинственный указующий перст, который является нам всякий раз, когда мы устремляем глаза в неведомое.

Жану Вальжану снова предстоял выбор между страшной гаванью и манящей ловушкой.

Значит, это правда: исцелить душу можно, изменить судьбу – никогда. Как ужасна неотвратимость судьбы!

Вопрос, возникший перед ним, заключался в следующем:

Как отнесется он, Жан Вальжан, к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел для них этого счастья, он сам его добился; он сам добровольно пронзил себе сердце этим счастьем и теперь, созерцая дело рук своих, мог испытывать некое удовлетворение, подобно оружейнику, который узнал бы свое клеймо на кинжале, вынимая его, еще дымящимся кровью, из своей груди.

У Козетты был Мариус, Мариус обладал Козеттой. У них было все, даже богатство. И все это создано им одним.

Но что делать с этим счастьем ему, Жану Вальжану, теперь, когда оно достигнуто, когда оно осуществилось? Наложит ли он руку на это счастье? Распорядится ли им, как своею собственностью? Разумеется, Козетта принадлежала другому. Но удержит ли за собой он, Жан Вальжан, все, что мог бы удержать? Останется ли он чем-то вроде отца, посещаемого изредка, но чтимого, каким он был до сих пор? Или спокойно поселится в доме у Козетты? Сложит ли он молча свое прошлое к ногам их будущего? Войдет ли он туда как имеющий на это право и осмелится ли сесть, не снимая маски, у их светлого очага? Будет ли сжимать, улыбаясь, их невинные руки в своих руках обреченного? Поставит ли на решетку у огня мирной гостиной Жильнормана свои ноги, за которыми тянется позорная тень кандалов? Разделит ли он счастливую судьбу Мариуса и Козетты? Не сгустится ли мрак над его челом, не нависнет ли тень над их головами? Добавит ли он, как третью часть к их счастливой доле, свой горький удел? Станет ли молчать, как прежде? Словом, будет ли играть возле этих счастливцев зловещую, немую роль судьбы?

Надо привыкнуть к злому року, к его превратностям, чтобы не потупить глаза, когда иные вопросы являются нам в своей страшной наготе. Добро или зло скрывается за суровым вопросительным знаком: «Как ты поступишь?» – спрашивает сфинкс.

Такой привычкой к испытаниям Жан Вальжан обладал. Он смотрел сфинксу прямо в глаза.

Он изучал со всех сторон неразрешимую загадку.

Козетта, это прелестное существо, была спасательным кругом для потерпевшего крушение. Что делать? Ухватиться за него или выпустить из рук?

Ухватившись, он избежал бы гибели, он всплыл бы из пучины наверх, к солнцу, с его одежды и с волос стекла бы горькая морская вода. Он был бы спасен, он остался бы жить.

Выпустить из рук?

Тогда – бездна.

Так в страданиях и муках держал он совет со своей совестью. Вернее сказать, боролся с собой; он яростно ополчался то на свою волю к жизни, то на свои убеждения.

Для Жана Вальжана было счастьем, что он мог плакать. Это облегчало его душу. Однако начало было нечеловечески трудным. Буря, гораздо свирепее той, что когда-то гнала его к Аррасу, разразилась в нем. Рядом с настоящим вставало прошлое; он сравнивал и горько плакал. Дав волю слезам и отчаянию, он изнемогал от рыданий.

Он чувствовал, что дошел до предела.

Увы, в смертельной схватке между эгоизмом и долгом, когда мы отступаем шаг за шагом перед нашим нерушимым идеалом, растерянные, ожесточенные, в отчаянии сдавая позиции, отстаивая каждый клочок земли, надеясь на возможность бегства, ища выхода, – какой внезапной и зловещей преградой вырастает позади нас стена!

Мы чувствуем, что нам отрезала отступление священная тень!

Нечто невидимое, но неумолимое – какое наваждение!

Итак, совесть не усмирить. Решайся же, Брут! Решайся, Катон! Она бездонна, ибо она – божество. Мы бросаем в этот колодезь труды целой жизни, швыряем карьеру, богатство, славу, бросаем свободу, родину, бросаем здоровье, бросаем покой, бросаем счастье. Еще, еще, еще! Выливайте сосуд! Наклоняйте урну! В конце концов мы кидаем туда свое сердце.

Где-то во мгле древней преисподней существует такая же бездонная бочка.

Разве не простительно отказаться наконец от жертв? Разве неисчерпаемое может предъявлять права? Разве неизбывное бремя не превышает сил человеческих? Кто осмелится осудить Сизифа и Жана Вальжана, если они скажут «Довольно!»?

Податливость материи ограничена трением; неужели покорность души не имеет границ? Если невозможно вечное движение, разве можно требовать вечного самоотвержения?

Сделать первый шаг ничего не стоит; труден последний шаг. Что значило дело Шанматье в сравнении с замужеством Козетты и с тем, что оно влекло за собой? Что значила угроза идти на каторгу в сравнении с нынешней – уйти в небытие?

Первая ступень, ведущая вниз, – какая туманная мгла! Вторая ступень – какой черный мрак! Как не отпрянуть назад?

Мученичество возвышает душу, разъедая ее. Это пытка, это помазание на царство. Человек может согласиться на нее в первую минуту; он восходит на трон каленого железа, он надевает венец каленого железа, принимает державу каленого железа, берет в руки скипетр каленого железа, но ему предстоит еще облачиться в огненную мантию, – и неужели в этот миг не взбунтуется немощная плоть и он не отречется от мученического венца?

Наконец Жан Вальжан дошел до полного изнеможения.

Он обсудил, обдумал, он все взвесил на таинственных весах света и тени.

Возложить бремя каторжника на плечи этих двух цветущих детей или завершить самому свою неминуемую гибель? В одном случае он принесет в жертву Козетту, в другом – самого себя.

На каком решении он остановился? К какому выводу пришел? Каков был его внутренний окончательный ответ на беспристрастном допросе судьбы? Какую дверь он решился отворить? Какую половину своей жизни отвергнуть и запереть на ключ? На какой из обступавших его головокружительных круч он остановил свой выбор? Какую крайность избрал? Перед которой из бездн склонил голову?

Мучительное раздумье продолжалось всю ночь.

Он оставался до утра в том же положении, на коленях, уронив голову на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, – увы, раздавленный, быть может! – судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не подымая головы, не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это застывшее тело, можно было принять его за мертвого; по временам он судорожно вздрагивал и, припав к платьицам Козетты, начинал покрывать их поцелуями; тогда было видно, что он жив.

Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было?

Тот, кто не дремлет во мраке.

Книга седьмая
Последний глоток из чаши страдания
Глава первая.
Седьмой круг и восьмое небо

День после свадьбы овеян тишиной. Люди уважают покой упоенных друг другом счастливцев, так же как позднее их пробуждение. Шумные поздравления и визиты начинаются позже. Было уже за полдень, когда Баск, утром 17 февраля, с пыльной тряпкой и метелкой под мышкой, занятый тем, что «убирался в своей прихожей», вдруг услышал тихий стук в дверь. Звонком, видимо, воспользоваться не пожелали, и эта скромность была вполне уместной в подобный день. Баск отпер дверь и увидел г-на Фошлевана. Он проводил его в гостиную, где

еще царил беспорядок и все было вверх дном; она казалась полем битвы вчерашнего пиршества и веселья.

– Сами понимаете, сударь, мы нынче проснулись поздно, – заметил Баск.

– Ваш хозяин уже встал? – спросил Жан Вальжан.

– Как ваша рука, сударь? – вместо ответа спросил Баск.

– Лучше. Ваш хозяин встал?

– Который? Старый или молодой?

– Господин Понмерси.

– Господин барон? – переспросил Баск, приосанившись.

Титул барона имеет особенный вес в глазах слуг. От него словно что-то перепадает и им; философ сказал бы: «Лучи его славы», и это им лестно. Заметим мимоходом, что Мариус, воинствующий республиканец, как он это доказал на деле, теперь против своей воли стал бароном. Этот титул послужил причиной небольшой революции в доме. Именно Жильнорман настаивал теперь на титуле, и не кто иной, как Мариус, отказывался от него. Но полковник Понмерси написал: «Мой сын наследует мой титул». И Мариус повиновался. Кроме того, Козетта, в которой начала пробуждаться женщина, была в восторге от того, что стала баронессой.

– Господин барон? – повторил Баск – Я сейчас посмотрю. Я скажу, что господин Фошлеван желает видеть его.

– Нет, не говорите ему, что это я. Скажите, что кто-то хочет поговорить с ним с глазу на глаз, но не называйте имени.

– А! – протянул Баск.

– Я хочу сделать ему сюрприз.

– А! – повторил Баск, произнеся это второе «а!» так, словно объяснял самому себе первое.

Он вышел.

Жан Вальжан остался один.

В гостиной, как мы сказали, был страшный беспорядок. Казалось, если внимательно прислушаться, еще можно было уловить смутный шум свадебного празднества. На паркете валялось множество цветов, выпавших из гирлянд и дамских причесок. Догоревшие почти до конца свечи разукрасили сталактитами оплывшего воска подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. По углам, сдвинутые в кружок, три-четыре кресла словно продолжали непринужденную беседу. Все здесь дышало весельем. В отшумевшем празднике еще сохраняется какое-то очарование. Здесь гостило счастье. Стулья, разбросанные как попало, увядающие цветы, угасшие огни – все говорило о радости. Солнце заступило место люстры и заливало гостиную веселым светом.

Прошло несколько минут. Жан Вальжан стоял неподвижно на том же месте, где его оставил Баск. Он был очень бледен. Его потускневшие глаза так глубоко запали от бессонницы, что почти исчезали в орбитах. Складки измятого черного сюртука указывали на то, что его не снимали на ночь. Локти побелели от пушка, который оставляет на сукне прикосновение полотна. Жан Вальжан смотрел на лежавший у его ног переплет окна – на тень, отброшенную солнцем.

У дверей послышался шум; он поднял глаза.

Вошел гордый, улыбающийся Мариус, с радостным лицом, озаренным сиянием, с торжествующим взором. Он тоже не спал эту ночь.

– Ах, это вы, отец! – воскликнул он, увидев Жана Вальжана. – А дурачина Баск напустил на себя такой таинственный вид! Но вы пришли слишком рано. Сейчас только половина первого. Козетта спит.

Слово «отец», обращенное Мариусом к г-ну Фошлевану, обозначало высочайшее блаженство. Между ними, как известно, всегда стояла стеной какая-то холодность и принужденность; этот лед надо было или сломать, или растопить. Мариус был до такой степени опьянен счастьем, что стена между ними рухнула сама собой, лед растаял, и г-н Фошлеван стал ему таким же отцом, как Козетте.

Он снова заговорил; слова хлынули потоком из его уст, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости.

– Как я рад вас видеть! Если бы вы знали, как нам недоставало вас вчера! Добрый день, отец! Как ваша рука? Лучше, не правда ли?

Удовлетворившись своим благоприятным ответом на свой же вопрос, он продолжал:

– Как много мы с Козеттой о вас говорили! Козетта так любит вас! Не забудьте, что вам приготовлена комната. Мы больше знать не хотим об улице Вооруженного человека. Мы и слышать о ней не желаем. Как могли вы поселиться на этой улице? Она такая неприветливая, некрасивая, холодная, она вредна для здоровья, вся загорожена, туда и не пройдешь. Переезжайте к нам. Сегодня же! Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она намерена командовать всеми нами, предупреждаю вас. Вы уже видели вашу комнату, она почти рядом с нашей, и ее окна выходят в сад; дверной замок там починили, постель приготовили, вам остается только перебраться. Козетта поставила возле вашей кровати большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, и приказала этому креслу: «Раскрой ему объятия». В чащу акаций, против ваших окон, каждую весну прилетает соловей. Через два месяца вы его услышите. Его гнездышко будет налево от вас, а наше – направо. Ночью будет петь соловей, а днем будет щебетать Козетта. Ваша комната выходит прямо на юг. Козетта расставит в ней ваши книги, путешествия капитана Кука и путешествия Ванкувера, все ваши вещи. Есть у вас, кажется, сундучок, которым вы особенно дорожите, я наметил там для него почетное место. Вы покорили моего деда, вы очень ему подходите. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист? Если умеете, вы доставите деду огромное удовольствие. Вы будете гулять с Козеттой в дни моих судебных заседаний, будете водить ее под руку, как в былое время в Люксембургском саду, помните? Мы твердо решили быть очень счастливыми. И вы тоже, отец, будете счастливы нашим счастьем. Да ведь вы позавтракаете с нами сегодня?

– Сударь, – сказал Жан Вальжан. – Мне надо вам что-то сообщить. Я – бывший каторжник.

Для звуков существует предел резкости, за которым их не воспринимает не только слух, но и разум. Эти слова: «Я – бывший каторжник», слетевшие с губ г-на Фошлевана и коснувшиеся уха Мариуса, выходили за границы возможного. Мариус не расслышал их. Ему показалось, будто ему что-то сказали, но что именно – он не понял. Он был в сильнейшем недоумении.

Тут только он увидел, что говоривший с ним человек был страшен. Поглощенный своим счастьем, он до этой минуты не замечал его ужасающей бледности.

Жан Вальжан снял черную повязку с правого локтя, размотал полотняный лоскут, обернутый вокруг руки, высвободил большой палец и показал его Мариусу.

– С моей рукой ничего не случилось, – сказал он.

Мариус взглянул на его палец.

– И никогда не случалось, – добавил Жан Вальжан.

Действительно, на пальце не было ни малейшей царапины.

Жан Вальжан продолжал:

– Мне не следовало присутствовать на вашей свадьбе. Я постарался избежать этого. Я выдумал эту рану, чтобы не совершить подлог, чтобы не дать повода объявить недействительным свадебный контракт, чтобы его не подписывать.

– Что это значит? – запинаясь, спросил Мариус.

– Это значит, – ответил Жан Вальжан, – что я был на каторге.

– Я схожу с ума! – в испуге вскричал Мариус.

– Господин Понмерси! – сказал Жан Вальжан. – Я провел на каторге девятнадцать лет. За воровство. Затем я был приговорен к ней пожизненно. За повторное воровство. В настоящее время я скрываюсь от полиции.

Напрасно Мариус старался отступить перед действительностью, не поверить факту, воспротивиться очевидности, – он вынужден был сложить оружие. Он начал понимать, и, как всегда бывает в подобных случаях, он понял и то, чего сказано не было. Он вздрогнул от внезапно озарившей его страшной догадки; его мозг пронзила мысль, заставившая его содрогнуться. Он словно проник взором в будущее и узрел там свою безотрадную участь.

– Говорите все! Говорите правду1-крикнул он – Вы отец Козетты?

И, полный невыразимого ужаса, отшатнулся.

Жан Вальжан выпрямился с таким величественным видом, что, казалось, стал выше на голову.

– Вы должны мне поверить сударь. И хотя нашу клятву – клятву таких, как я, – правосудие не признает…

Он помолчал, потом заговорил медленно с какою-то властной мрачной силой подчеркивая каждый слог:

– …Вы мне поверите. Я не отец Козетты! Видит бог, нет! Господин Понмерси! Я крестьянин из Фавероля. Я зарабатывал на жизнь подрезкой деревьев. Меня зовут не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я для Козетты – никто. Успокойтесь.

– Кто мне это докажет? – пробормотал Мариус.

– Я. Мое слово.

Мариус взглянул на этого человека. Человек был мрачен и спокоен. Подобное спокойствие несовместимо с ложью. То, что обратилось в лед, – правдиво. В этом могильном холоде чувствовалась истина.

– Я вам верю, – сказал Мариус.

Жан Вальжан наклонил голову, как бы принимая это к сведению, и продолжал:

– Что я для Козетты? Случайный прохожий. Десять лет назад я не знал, что она живет на свете. Я люблю ее, это верно. Как не любить дитя, которое знал с малых его лет, в годы, когда сам уже был стариком? Когда стар, чувствуешь себя дедушкой всех малышей. Мне думается, вы можете допустить, что есть и у меня что-то похожее на сердце. Она была сироткой. Без отца, без матери. Она нуждалась во мне. Вот почему я полюбил ее. Маленькие дети так беспомощны, что первый встречный, даже такой человек, как я, может стать их покровителем. И я взял на себя эту обязанность по отношению к Козетте. Не думаю, чтобы такую малость можно было назвать добрым делом, но если это правда доброе дело, – ну что ж, считайте что я его совершил. Отметьте это как смягчающее обстоятельство. Сегодня Козетта уходит из моей жизни; наши пути разошлись. Отныне я бессилен что-либо для нее сделать. Она – баронесса Понмерси. У нее теперь другой ангел-хранитель. И Козетта выиграла от этой перемены. Все к лучшему. А эти шестьсот тысяч франков, – хоть вы не говорите о них, но я предвижу ваш вопрос, – были мне отданы только на хранение. Каким образом очутились они в моих руках, спросите вы? Не все ли равно! Я отдаю то, что было мне поручено сохранить. Больше вам не о чем меня спрашивать. Я выполнил свой долг до конца, открыв вам мое настоящее имя. Но это уже касается меня одного. Мне очень важно, чтобы вы знали, кто я такой.

И тут Жан Вальжан взглянул прямо в лицо Ма-риусу.

Чувства, испытываемые Мариусом, были смутны и беспорядочны. Удары судьбы, подобно порывам ветра, вздымающим водяные валы, вызывают в нашей душе бурю.

У каждого из нас бывают минуты глубокой тревоги, когда нами владеет полная растерянность; мы говорим первое, что приходит на ум, и часто совсем не то, что нужно сказать. Существуют внезапные откровения, невыносимые для человека, одурманивающие, словно отравленное вино. Мариус так был ошеломлен, что стал упрекать Жана Вальжана, точно был раздосадован его признанием.

– Не понимаю, – воскликнул он, – зачем вы мне говорите все это? Кто вас принуждает? Вы могли бы хранить вашу тайну. Вас никто не выдает, не преследует, не травит. Чтобы добровольно сделать такое признание, у вас должна быть причина. Говорите все до конца. Здесь что-то кроется. С какой целью вы разоблачаете себя? Для чего? Зачем?

– Зачем? – проговорил Жан Вальжан таким тихим и глухим голосом, словно обращался к самому себе, а не к Мариусу. – В самом деле, по какой причине каторжнику вздумалось вдруг сказать: «Я каторжник»? Так и быть, отвечу. Да, причина есть, и причина странная. Я сделал это из честности. Послушайте, вот в чем несчастье: я на прочном поводу у своей совести. Когда человек стар, эти узы особенно крепки. Все живое вокруг разрушается, а они не подаются. Если бы я мог разорвать их, уничтожить, развязать этот узел или разрезать его и уйти далеко-далеко, я был бы спасен, мне оставалось бы только уехать, – в любом дилижансе с улицы Блуа; вы счастливы, и я могу уйти. Но я пытался оборвать эти узы, я тянул изо всех сил; они держались крепко, они не подавались, вместе с ними я вырвал бы свое сердце. Тогда я сказал себе: «Я не могу жить в ином месте. Я должен остаться здесь». Вы правы, конечно. Да, я глупец. Почему бы мне не остаться просто так, без объяснений? Вы предлагаете мне комнату в вашем доме, госпожа Покмерси очень меня любит, она даже сказала креслу: «Раскрой ему объятия», ваш дед охотно примет меня, мое общество подходит ему, мы будем жить все вместе, обедать вместе, я буду водить под руку Козетту… госпожу Понмерси, – простите, я оговорился по привычке, – мы будем жить под одной кровлей, сидеть за одним столом, под одной лампой греться у камина зимой, гулять вместе летом. Это такая радость, такое счастье, выше этого ничего нет на земле. Мы жили бы семьей. Одной семьей!

При этих словах Жан Вальжан стал страшен. Скрестив на груди руки, он устремил глаза вниз с таким видом, словно желал вырыть у своих ног бездну; голос его стал вдруг громовым.

– Одной семьей! – вскричал он. – Нет! У меня нет семьи. Я не принадлежу и к вашей. Ни к одной человеческой семье. В домах, где живут люди, близкие меж собой, я лишний. На свете есть семьи, но не для меня. Я отверженный, я выброшен за борт. Были у меня отец и мать? Я начинаю в этом сомневаться. В тот день, когда я выдал замуж эту девочку, для меня все было кончено. Я видел, что она счастлива, что она с человеком, которого любит, что есть при них добрый дед, есть дом, полный радости, приют двух ангелов, что все хорошо. И я сказал себе: «Не смей входить туда». Я мог солгать, это верно, я мог обмануть всех вас и остаться господином Фошлеваном. Пока это нужно было для нее, я лгал; но сейчас, ради самого себя, я не имею права лгать. Правда, мне достаточно было лишь промолчать, и все шло бы по-прежнему. Вы спрашиваете, что же принуждает меня говорить? Сущая безделица – моя совесть. Ведь промолчать было бы так просто! Я всю ночь старался убедить себя в этом; вы требуете от меня исповеди, и вы имеете на это право, настолько необычно то, что я сказал вам сейчас; ну да, я всю ночь приводил себе всякие доводы, самые веские доводы; поистине я сделал все, что было в моих силах. Но вот чего я преодолеть не мог: я не сумел разорвать ту нить, которая держит мое сердце привязанным, прикованным, припаянным к Козетте, и я не мог заглушить голос того, кто тихо беседует со мною, когда я один. Вот почему сегодня утром я пришел к вам сознаться во всем. Во всем или почти во всем. О том, что касается только меня, говорить не стоит: это я оставлю про себя. Основное вы знаете. Так вот, я взял свою тайну и принес ее вам. Я вскрыл ее на ваших глазах. Нелегко было принять это решение. Я боролся всю ночь. Вы думаете, я не убеждал себя, что здесь положение другое, чем в деле Шанматье, что теперь, скрывая свое имя, я никому не приношу зла, что имя Фошлевана дано было мне самим Фошлеваном в благодарность за оказанную услугу и я вполне мог бы оставить

его за собой, что я буду счастлив в комнатке, которую вы мне предлагаете, что я никого не стесню, что буду жить в своем уголке и что хотя Козетта и принадлежит вам, мне все же будет утешением жить в одном доме с нею? У каждого из нас была бы своя доля счастья. По-прежнему называться господином Фошлеваном – и все было бы в порядке. Все, но не моя душа. Отовсюду на меня изливалась бы радость, а в глубине моей души царила бы черная ночь. Недостаточно быть счастливым, надо быть в мире с самим собой. Теперь вообразите, что я остался господином Фошлеваном, то есть скрыл истинное свое лицо; рядом с вашим расцветшим счастьем я хранил бы тайну, среди бела дня носил бы в себе тьму; не предупреждая вас, я просто-напросто привел бы каторгу к вашему очагу и уселся за ваш стол с мыслью, что, знай вы, кто я такой, вы прогнали бы меня прочь; я позволил бы прислуживать себе вашим людям, которые, знай они все, вскрикнули бы: «Какой ужас!» Мне случалось бы коснуться вас локтем, что по праву должно вызвать у вас брезгливость, я воровал бы ваши рукопожатия! В вашем доме пришлось бы делить уважение между почтенными сединами и сединами опозоренными; в часы, когда все сердца, казалось бы, открыты друг для друга, в часы сердечной близости, когда мы будем вместе все четверо, – ваш дед, вы, Козетта и я, – здесь бы присутствовал неизвестный! И единственной моей заботой в этой жизни бок о бок с вами было бы не открывать моей тайны, не давать сдвинуться крышке этого страшного колодца. Так я, мертвец, навязал бы себя вам, живым. А ее, Козетту, приковал бы к себе навеки. Вы, она и я представляли бы собою три головы под зеленым колпаком каторжника! И вы не содрогаетесь? Сейчас я только несчастнейший из людей, а тогда был бы самым гнусным из них. И это преступление я совершал бы каждый день! И эту ложь я повторял бы каждый день! И этой черной маской скрывал бы мое лицо каждый день! И я делал бы вас участниками моего позора каждый день! Непрестанно! Вас, моих любимых, вас, моих детей, моих невинных ангелов! Молчать легко? Таиться просто? Нет, не просто. Есть молчание, которое лжет. И мою ложь, мой обман, низость, трусость, вероломство, преступление я испил бы каплю за каплей, я выплюнул бы их и снова пил, кончал бы в полночь и вновь начинал в полдень, и я лгал бы, говоря: «С добрым утром», и говоря: «Спокойной ночи», и этой ложью я накрывался бы вместо одеяла, ложась спать, и ел бы с нею свой хлеб, и смотрел бы Козетте в лицо, и отвечал бы дьявольской улыбкой на улыбку ангела, – я был бы презренным негодяем! И ради чего? Чтобы быть счастливым. Мне быть счастливым! Разве я имею на это право? Я выброшен из жизни, сударь!

Жан Вальжан остановился. Мариус молчал. Подобные излияния, где мысли дышат сердечной мукой, прервать невозможно. Жан Вальжан снова понизил голос, но он звучал теперь уже не глухо, а зловеще:

– Вы спрашиваете, зачем я говорю? Меня никто не выдает, не преследует, не травит, сказали вы. Напротив! Меня выдают, меня преследуют, меня травят! Кто? Я сам. Я сам преграждаю себе дорогу, я сам тащу себя, толкаю, арестую, казню. А когда попадешь самому себе в руки, из них нелегко вырваться.

Тут Жан Вальжан схватил себя за воротник.

– Поглядите на этот кулак, – сказал он. – Не находите ли вы, что он держит за ворот так крепко, как будто впился в него навеки? Ну вот, у совести такая же мертвая хватка. Если желаете быть счастливым, сударь, никогда не пытайтесь уразуметь, что такое долг, ибо стоит лишь понять это, как он становится неумолимым. Он словно карает вас за то, что вы постигли его. Но нет, он же и вознаграждает вас, ибо в аду, куда он вас ввергает, вы чувствуете рядом с собою бога. Пока не истерзаешь всю свою душу, не будешь в мире с самим собой.

С мучительным, скорбным выражением он продолжал:

– Господин Понмерси! Хотя это и противоречит здравому смыслу, но я – честный человек. Именно потому, что я падаю в ваших глазах, я возвышаюсь в своих собственных. Это случилось уже со мною однажды, но тогда мне не было так больно; тогда это были пустяки. Да, я честный человек. Я не был бы им, если бы по моей вине вы продолжали меня уважать; теперь же, когда

вы презираете меня, я остаюсь честным. Надо мной тяготеет рок: я могу пользоваться лишь незаконно присвоенным уважением, которое меня внутренне унижает и тяготит, а для того, чтобы я мог уважать себя, надо, чтобы другие меня презирали. Тогда я держу голову высоко. Я – каторжник, но я повинуюсь своей совести. Я отлично знаю, что это кажется не очень правдоподобным. Но что поделать, если это так? Я заключил с собою договор, и я выполню его. Есть встречи, которые ко многому обязывают, есть случайности, которые призывают нас к исполнению долга. Видите ли, господин Понмерси, мне многое пришлось испытать в жизни.

Жан Вальжан помолчал и, с усилием проглотив слюну, словно в ней оставался горький привкус, заговорил снова:

– Если человек отмечен клеймом позора, он не вправе принуждать других делить его с ним без их ведома, он не вправе заражать их чумой, он не вправе незаметно увлекать их в пропасть, куда упал сам, накидывать на них свою арестантскую куртку, омрачать счастье ближнего своим несчастьем. Приблизиться к тем, кто цветет здоровьем, коснуться их во мраке тайной своей язвой – это гнусно. Пусть Фошлеван ссудил меня своим именем, я не имею права им воспользоваться; он мог мне его дать, но я не смею носить его. Имя – это человеческое «я». Видите ли, сударь, хоть я и крестьянин, я о многом размышлял, кое-что читал; как видите, я умею выражать свои мысли. Я отдаю себе отчет во всем. Я сам воспитал себя. Так вот, похитить имя и укрыться под ним – бесчестно. Ведь буквы алфавита могут быть присвоены таким же мошенническим способом, как кошелек или часы. Быть подложной подписью из плоти и крови, быть отмычкой к дверям честных людей, обманом войти в их жизнь, не смотреть прямо в лицо, вечно отводить глаза в сторону, чувствовать себя подлецом, нет, нет, нет, нет! Лучше страдать, истекать кровью, рыдать, раздирать лицо ногтями, по ночам не находить покоя, в смертельной тоске терзать свое тело и душу! Вот почему я рассказал вам все. Добровольно, как выразились вы. Он тяжело вздохнул.

– Когда-то, чтобы жить, я украл хлеб; теперь, чтобы жить, я не желаю красть имя.

– Чтобы жить? – прервал Мариус. – Вам не нужно это имя, чтобы жить.

– Ах, я знаю, что говорю! – сказал Жан Вальжан, медленно покачивая головой.

Наступила тишина. Оба молчали, погрузившись в глубокое, тяжкое раздумье. Мариус сидел у стола, подперев голову рукой и приложив согнутый палец к уголку рта. Жан Вальжан ходил по комнате. Он задержался перед зеркалом, потом, как бы отвечая на собственное безмолвное возражение, сказал, вперив в зеркало невидящий взгляд:

– Зато теперь я облегчил свое сердце!

Он опять стал ходить и направился в другой конец комнаты. В ту минуту, как он поворачивал обратно, он заметил, что Мариус провожает его взглядом.

– Я немного волочу ногу. Теперь вам понятно почему, – произнес он с каким-то особенным выражением и продолжал:

– А теперь, сударь, вообразите себе вот что: я ничего не сказал, я остался господином Фошлеваном, я занял место среди вас, стал своим, живу в моей комнате, выхожу к завтраку в домашних туфлях, вечером мы втроем идем в театр, я провожаю госпожу Понмерси в Тюильри или в сквер на Королевской площади, мы постоянно вместе, вы считаете меня человеком вашего круга. В один прекрасный день мы беседуем, мы смеемся, я здесь, вы – вон там, и вдруг вы слышите голос, громко произносящий «Жан Вальжан!» И вот тянется из мрака страшная рука, рука полиции, и внезапно срывает с меня маску.

Он замолчал Мариус, вздрогнув от ужаса, поднялся с места. Жан Вальжан спросил:

– Что вы на это скажете?

Ответом было молчание Мариуса.

Жан Вальжан продолжал:

– Как видите, я прав, что решил открыться. Послушайте, будьте счастливы, возноситесь в небеса, будьте ангелом-хранителем для другого ангела, купайтесь в лучах солнца и довольствуйтесь этим. Что вам до того, каким именно способом бедный грешник вскрывает себе грудь, чтобы выполнить свой долг? Перед вами несчастный человек, сударь.

Мариус медленно подошел к Жану Вальжану и протянул ему руку. Но Мариусу пришлось самому взять его руку, – она не поднялась ему навстречу. Жан Вальжан не противился, и Мариусу показалось, что он пожал каменную руку.

– У моего деда есть друзья, – сказал Мариус, – я добьюсь для вас помилования.

– Поздно, – возразил Жан Вальжан. – Меня считают умершим, этого достаточно. Мертвецы не подвластны полицейскому надзору. Им предоставляют мирно гнить в могиле. Смерть – это то же, что помилование.

Высвободив свою руку из пальцев Мариуса, он присовокупил с каким-то непоколебимым достоинством:

– К тому же и у меня есть друг, к чьей помощи я прибегаю, – это выполнение долга. И лишь в одном помиловании я нуждаюсь – в том, какое может даровать мне моя совесть.

Тут в другом конце гостиной тихонько приотворилась дверь, и между ее полуоткрытых створок показалась головка Козетты. Видно было только ее милое лицо; волосы ее рассыпались в очаровательном беспорядке, веки слегка припухли от сна. Словно птичка, высунувшая головку из гнезда, она окинула взглядом мужа, потом Жана Вальжана и крикнула, смеясь, – казалось, роза расцвела улыбкой:

– Держу пари, что вы говорите о политике. Как глупо этим заниматься, вместо того чтобы быть со мной!

Жан Вальжан вздрогнул.

– Козетта!… – пролепетал Мариус. И замолк.

Могло показаться, что оба они в чем-то виноваты.

Козетта, сияя от удовольствия, продолжала глядеть на обоих. В глазах ее словно играли отсветы рая.

– Я поймала вас на месте преступления, – заявила Козетта. – Я только что слышала за дверью, как мой отец Фошлеван говорил: «Совесть… Выполнить свой долг», – это о политике, ведь так? Я не хочу. Нельзя говорить о политике сразу, на другой же день. Это нехорошо.

– Ты ошибаешься, Козетта. – возразил Мариус. – У нас деловой разговор. Мы говорим о том, как выгоднее поместить твои шестьсот тысяч франков…

– Не в этом дело, – перебила его Козетта. – Я пришла. Хотят меня здесь видеть?

Решительно шагнув вперед, она вошла в гостиную. На ней был широкий белый пеньюар с длинными рукавами, спадавший множеством складок от шеи до пят. На золотых небесах старинных средневековых картин можно увидеть эти восхитительные хламиды, окутывающие ангелов.

Она оглядела себя с головы до ног в большом зеркале и воскликнула в порыве невыразимого восторга:

– Жили на свете король и королева! О, как я рада!

Она сделала реверанс Мариусу и Жану Вальжану.

– Ну вот, – сказала она, – теперь я пристроюсь возле вас в кресле, завтрак через полчаса, вы будете разговаривать, о чем хотите; я знаю, мужчинам надо поговорить, и я буду сидеть смирно.

Мариус взял ее за руку и сказал голосом влюбленного:

– У нас деловой разговор.

– Знаете, – снова заговорила Козетта, – я растворила окно, сейчас в наш сад налетела туча смешных крикунов. Не карнавальных, а просто воробьев. Сегодня покаянная среда, а у них все еще масленица.

– Малютка Козетта! Мы говорим о делах, оставь нас ненадолго. Мы говорим о цифрах. Тебе это наскучит.

– Ты сегодня надел прелестный галстук, Мариус. Вы большой франт, милостивый государь. Нет, мне не будет скучно.

– Уверяю тебя, что ты соскучишься.

– Нет Потому что это вы. Я не пойму вас, но я буду вас слушать. Когда слышишь любимые голоса, нет нужды понимать слова. Быть здесь, с вами, – мне больше ничего не надо. Я остаюсь, вот и все.

– Козетта, любимая моя, это невозможно.

– Невозможно?

– Да.

– Ну что ж, – сказала Козетта. – А я было хотела рассказать вам, что дедушка еще спит, что тетушка ушла к обедне, что в комнате отца моего Фошлевана дымит камин, что Николетта позвала трубочиста, что Тусен и Николетта уже успели повздорить, что Николетта насмехается над заиканьем Тусен. А теперь вы ничего не узнаете. Вот как, это невозможно? Ну погодите, придет и мой черед, вот увидите, сударь, я тоже скажу: «Это невозможно». Кто тогда останется с носом? Мариус, миленький, прошу тебя, позволь мне посидеть с вами!

– Клянусь тебе, нам надо поговорить без посторонних.

– А разве я посторонняя?

Жан Вальжан не произносил ни слова. Козетта обернулась к нему:

– А вы, отец? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня поцеловали. А потом, на что это похоже, – не говорить ни слова, вместо того чтобы вступиться за меня! За что бог наградил меня таким отцом! Вы отлично видите, как я несчастна в семейной жизни Мой муж меня бьет. Говорят вам, поцелуйте меня сию же минуту!

Жан Вальжан приблизился к ней.

Козетта обернулась к Мариусу:

– А вам гримаса, – вот, получайте.

Потом подставила лоб Жану Вальжану.

Он сделал шаг ей навстречу.

Козетта отшатнулась:

– Как вы бледны, отец! У вас так сильно болит рука?

– Она прошла, – ответил Жан Вальжан.

– Вы плохо спали?

– Нет.

– Вам грустно?

– Нет.

– Тогда поцелуйте меня. Если вы здоровы, если вы спали хорошо, если вы довольны, я не буду вас бранить.

И она снова подставила ему лоб.

Жан Вальжан запечатлел поцелуй на ее сиявшем небесной чистотой челе.

– Улыбнитесь!

Жан Вальжан повиновался. Это была улыбка призрака.

– А теперь защитите меня от моего мужа.

– Козетта!.. – начал Мариус.

– Выбраните его, отец. Скажите ему, что мне необходимо остаться. Можно отлично разговаривать и при мне. Вы, видно, считаете меня совсем дурочкой. Разве то, что вы говорите, так уж необыкновенно? Дела, поместить деньги в банке, – подумаешь какая важность! Мужчины вечно напускают на себя таинственность по пустякам. Я хочу остаться. Я сегодня очень хорошенькая. Посмотри на меня, Мариус.

Она повела плечами и, очаровательно надув губки, подняла глаза на Мариуса. Словно молния сверкнула между этими двумя существами. То, что здесь присутствовало третье лицо, не имело значения.

– Люблю тебя! – сказал Мариус.

– Обожаю тебя! – сказала Козетта.

Повинуясь неодолимой силе, они упали друг к другу в объятия.

– А теперь, – снова заговорила Козетта, с забавные, торжествующим видом оправляя складки своего пеньюара, – я остаюсь.

– Нет, нельзя, – сказал Мариус умоляющим тоном. – Нам надо кое-что закончить.

– Опять нет?

Мариус постарался придать голосу строгое выражение:

– Уверяю тебя, Козетта, что это невозможно.

– А, вы заговорили голосом властелина, сударь? Хорошо же. Мы уйдем. А вы, отец, так и не заступились за меня. Господин супруг, господин отец, вы – тираны. Сейчас я все расскажу дедушке. Если вы думаете, что я вернусь и стану просить, унижаться, вы ошибаетесь. Я горда. Теперь я подожду, пока вы сами придете. Вы увидите, как вам будет скучно без меня. Я ухожу, так вам и надо.

И она вышла из комнаты.

Через секунду дверь снова отворилась, снова меж двух створок показалось ее свежее, румяное личико, и она крикнула:

– Я очень сердита!

Дверь затворилась, и вновь наступил мрак.

Словно заблудившийся солнечный луч неожиданно прорезал тьму и скрылся.

Мариус проверил, плотно ли затворена дверь.

– Бедная Козетта! – прошептал он. – Когда она узнает…

При этих словах Жан Вальжан задрожал. Устремив на Мариуса растерянный взгляд, он заговорил:

– Козетта! Да, правда, вы все скажете Козетте. Это справедливо. Ах, я не подумал об этом! На одно у человека хватает сил, на другое нет. Сударь! Заклинаю вас, молю вас, сударь, поклянитесь мне всем святым, что не скажете ей ничего. Разве не достаточно того, что вы сами знаете все? Я мог бы никем не принуждаемый, по собственной воле сказать об этом кому угодно, целой вселенной, мне это безразлично. Но она, она не должна знать ничего. Это ужаснет ее. Каторжник, подумайте! Пришлось бы объяснить ей, сказать: «Это человек, который был на галерах». Она видела однажды, как проходила партия каторжников. Боже мой, боже!

Он тяжело опустился в кресло и спрятал лицо в ладонях. Не слышно было ни звука, но плечи его вздрагивали, и видно было, что он плакал. Безмолвные слезы – страшные слезы.

Сильные рыдания вызывают у человека удушье. По телу Жана Вальжана словно пробежала судорога, он откинулся на спинку кресла, как бы для того, чтобы перевести дыхание, руки его повисли, и Мариус увидел его залитое слезами лицо, услышал шепот, такой тихий, что казалось, он исходил из бездонной глубины:

– О, если б умереть!

– Успокойтесь, – сказал Мариус, – я буду свято хранить вашу тайну.

Мариус, возможно, был не так уж растроган. Ему трудно было за этот час свыкнуться с ужасной новостью, постепенно поверить в эту истину, видеть, как мало-помалу каторжник заслоняет от него г-на Фошлевана, и наконец прийти к сознанию пропасти, которая внезапно разверзлась между ним и этим человеком. Но он добавил:

– Я должен сказать хотя бы несколько слов по поводу вверенного вам имущества, которое вы так честно и в такой неприкосновенности возвратили. Это свидетельствует о вашей высокой порядочности. Было бы вполне справедливо, чтобы за это вы получили вознаграждение. Назначьте сами нужную сумму, она будет вам выплачена. Не бойтесь, что она покажется слишком высокой.

– Благодарю вас, сударь, – кротко промолвил Жан Вальжан.

Он задумался на мгновение, машинально поглаживая кончиком указательного пальца ноготь большого, затем, повысив голос, произнес:

– Все почти сказано. Остается последнее…

– Что именно?

Жаном Вальжаном, казалось, овладела величайшая нерешительность. Беззвучно, почти не дыша, он сказал, вернее пролепетал:

– Теперь, когда вам известно все, не считаете ли вы, сударь, – вы, муж Козетты – что я больше не должен ее видеть?

– Я считаю, что так было бы лучше, – холодно ответил Мариус.

– Я не увижу ее больше, – прошептал Жан Вальжан и направился к выходу.

Он тронул дверную ручку, она повернулась, дверь полуоткрылась. Жан Вальжан распахнул ее шире, чтобы пройти, постоял неподвижно с минуту, потом снова затворил дверь и обернулся к Мариусу.

Лицо его уже не было бледным, оно приняло свинцовый оттенок. Глаза были сухи, и в них пылал какой-то скорбный огонь. Голос его стал до странности спокоен.

– Если вы позволите, сударь, я буду навещать ее. Уверяю вас, мне это необходимо. Если бы для меня не было так важно видеть Козетту, я не сделал бы вам того признания, которое вы слышали, я просто уехал бы. Но я хотел остаться там, где Козетта, хотел ее видеть, вот почему я должен был честно вам все рассказать. Вы следите за моей мыслью? Это ведь так понятно! Видите ли, уже девять лет, как она со мною. Сначала мы жили в той лачуге на бульваре, потом в монастыре, потом возле Люксембургского сада. Там, где вы увидели ее впервые. Помните ее синюю бархатную шляпку? Затем мы переехали в квартал Инвалидов, на улицу Плюме, у нас был сад за решеткой. Я жил на заднем дворике, откуда мне слышно было ее фортепьяно. Вот и вся моя жизнь. Мы никогда не разлучались. Это длилось девять лет и несколько месяцев. Я заменял ей отца, она была мое дитя. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин Понмерси, но уйти сейчас, не видеть ее больше, не говорить с нею больше, лишиться всего – это было бы слишком тяжко. Если вы не найдете в том ничего дурного, я буду приходить иногда к Козетте. Я не приходил бы часто. Не оставался бы надолго. Вы распорядились бы, чтобы меня принимали в маленькой нижней зале. В первом этаже. Я входил бы, конечно, с черного крыльца, которым ходят ваши слуги, хотя боюсь, это вызвало бы толки. Лучше, пожалуй, проходить через парадное. Право же, сударь, мне очень хотелось бы время от времени видеться с Козеттой. Так редко, как только вы пожелаете. Вообразите себя на моем месте, – кроме нее, у меня ничего нет в жизни. А потом, надо быть осторожным. Если бы я перестал приходить совсем, это произвело бы дурное впечатление, это сочли бы странным. Вот что: я мог бы, например, приходить по вечерам, когда совсем стемнеет.

– Вы будете приходить каждый вечер, – сказал Мариус, и Козетта будет вас ждать.

– Вы очень добры, сударь, – проговорил Жан Вальжан.

Мариус поклонился Жану Вальжану, счастливец проводил несчастного до дверей, и эти два человека расстались.

Глава вторая.
Какие неясности могут таиться в разоблачении

Мариус был потрясен.

Странное чувство отчуждения, какое он всегда испытывал к человеку, возле которого он видел Козетту, отныне стало ему понятным. В этой личности было нечто загадочное, о чем давно предупреждал его инстинкт. Загадка эта была последней ступенью позора – каторгой. Господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном.

Открыть внезапно такую тайну в самом расцвете своего счастья – все равно, что обнаружить скорпиона в гнезде горлицы.

Было ли счастье Мариуса и Козетты обречено отныне на такое соседство? Считать ли это свершившимся фактом? Был ли обязан Мариус, вступив в брак, признать этого человека? Неужели тут ничего нельзя поделать?

Неужели он связал свою жизнь с каторжником?

Пусть венок, сплетенный из света и веселья, венчает голову счастливца, пусть наслаждается он великим, блаженнейшим часом своей жизни – разделенной любовью, такой удар заставил бы содрогнуться даже архангела, погруженного в экстаз, даже героя в ореоле его славы.

Как всегда бывает при подобных превращениях, Мариус стал раздумывать – не следует ли ему упрекнуть себя самого? Не изменило ли ему внутреннее чутье? Не проявил ли он невольного легкомыслия? До некоторой степени, пожалуй. Не пустился ли он слишком опрометчиво в это любовное приключение, закончившееся браком с Козеттой, даже не наведя справок о ее родных? Именно таким путем, заставляя нас последовательно уяснять наши поступки, жизнь мало-помалу умудряет нас. Он видел теперь склонную к мечтательности и фантазиям сторону своего характера, подобную скрытому от глаз облаку, которое у многих натур, при пароксизмах страсти и боли, меняет температуру души, сгущается и, заполняя человека целиком, помрачает его сознание. Мы не раз уже указывали на эту характерную особенность личности Мариуса. Он вспоминал, что на улице Плюме, в течение упоительных шести или семи недель, опьяненный любовью, он даже ни разу не говорил Козетте о драме в доме Горбо и о странном поведении потерпевшего, который упорно молчал во время борьбы и тотчас бежал по ее окончании. Как случилось, что он ничего не рассказал Козетте? Это ведь произошло так недавно и было так ужасно! Как случилось, что он даже не упомянул о семье Тенардье, в особенности в тот день, когда встретил Эпонину? Сейчас он с трудом мог объяснить себе свое тогдашнее молчание. Тем не менее он отдавал себе в этом отчет. Он вспоминал себя, свое безумие, свое опьянение Козеттой, всепоглощающую любовь – это вознесение влюбленных на высоты идеала; и, быть может, как неприметную крупицу рассудка в том бурном и восхитительном порыве души, он припоминал также смутную, затаенную мысль скрыть и изгладить из памяти опасное приключение, которого он боялся касаться, в котором не желал играть никакой роли, от которого бежал и в котором не мог стать ни рассказчиком, ни свидетелем, не будучи в то же время обвинителем. К тому же эти несколько недель промелькнули, словно молния; не хватало времени ни на что другое, как только любить друг друга. Наконец, если бы даже, все взвесив, все пересмотрев, все обсудив, он и рассказал Козетте о засаде в доме Горбо, если бы и назвал Тенардье, – какое это могло иметь значение? Даже если бы он открыл, что Жан Вальжан – каторжник, изменило бы это что-нибудь в нем, в Мариусе? Изменило бы это что-нибудь в Козетте? Разве он отступился бы от нее? Разве перестал бы обожать? Разве отказался бы взять ее в жены? Нет. Изменило бы это хоть сколько-нибудь то, что совершилось? Нет Значит, не о чем жалеть, не в чем упрекать себя. Все было

хорошо. Есть еще бог в небесах и для этих безумцев, которые зовутся влюбленными. Слепой Мариус следовал тем же путем, который избрал бы зрячим. Любовь завязала ему глаза, чтобы повести его – куда? В рай.

Но этот рай отныне омрачало соседство с адом.

Давнее нерасположение Мариуса к Фошлевану, превратившемуся в Жана Вальжана, сменилось теперь ужасом.

Заметим, однако, что в этом ужасе была доля жалости и даже некоторого восхищения.

Этот вор, закоренелый злодей, вернул отданную ему на хранение сумму. И какую! Шестьсот тысяч франков. Он один знал тайну этих денег. Он мог все оставить себе и, однако, все возвратил.

Кроме того, он сам выдал свое истинное общественное положение. Ничто его к тому не принуждало. Если и открылось, кто он такой, то лишь благодаря ему самому. Его признание означало нечто большее, чем готовность к унижению, – оно означало готовность к опасности. Для осужденного маска – это не маска, а прибежище. Он отказался от этого прибежища. Чужое имя для него – безопасность; он отверг это чужое имя. Он, каторжник, мог навсегда укрыться в достойной семье, и он устоял перед искушением. По какой же причине? Этого требовала его совесть. Он сам объяснил это с неотразимой убедительностью. Словом, каков бы ни был этот Жан Вальжан, неоспоримо одно – в нем пробуждалась совесть. В нем начиналось некое таинственное возрождение; по всей видимости, душевная тревога издавна владела этим человеком. Подобное стремление к добру и справедливости несвойственно натурам заурядным. Пробуждение совести – признак величия души.

Жан Вальжан говорил искренне. Судя хотя бы по той боли, какую причиняла ему эта искренность, видимая, осязаемая, неопровержимая, подлинная, она делала ненужными иные доказательства и придавала значительность словам этого человека. Отношение к нему Мариуса странным образом изменилось. Какое чувство внушал к себе господин Фошлеван? Недоверие. Что вызывал в нем Жан Вальжан? Доверие.

Мысленно оценивая поступки Жана Вальжаиа, Мариус устанавливал актив и пассив и старался свести баланс. Но вокруг него и в нем самом словно бушевала буря. Пытаясь составить себе ясное представление об этом человеке, вызывая образ Жана Вальжана из самых глубин своей памяти, он то терял, то вновь обретал его в каком-то роковом тумане.

Честно возвращенная сумма денег, которую доверили ему, правдивость признания – все это хорошо. Это напоминало просвет в туче, но потом тучи снова сгущались.

Как ни смутны были воспоминания Мариуса, но и они говорили о тайне.

Что же, собственно, происходило на чердаке Жондрета? Почему при появлении полиции этот человек, вместо того, чтобы обратиться к ней за помощью, исчез? Теперь ответ стал ясен для Мариуса. Потому, что человек этот бежал из места заключения и скрывался от полиции.

Другой вопрос: почему этот человек появился на баррикаде? Сейчас перед Мариусом, в его смятенной душе, вновь отчетливо всплыло это воспоминание, подобно симпатическим чернилам, которые выступают под действием огня. Этот человек был на баррикаде. Но он не сражался. Зачем же он туда пришел? Перед этим вопросом вставал призрак и отвечал на него: то был Жавер. Мариус теперь ясно вспоминал зловещее появление Жана Вальжана, увлекавшего за собой с баррикады связанного Жавера, и ему еще слышался страшный звук пистолетного выстрела, донесшийся из-за угла Мондетур. Между шпионом и каторжником, надо полагать, существовала давнишняя вражда. Они мешали друг другу. Жан Вальжан явился на баррикаду, чтобы отомстить. И пришел позднее других. По-видимому, он знал, что Жавер был захвачен в плен. Корсиканская вендетта, проникнув в низшие слоя общества, стала там законом; она так вошла в обычай, что не удивляет даже тех, кто наполовину обратился к добру; эти натуры таковы, что злодея, вступившего на путь раскаяния, может смутить мысль о

воровстве, но не мысль о мести. Жан Вальжан убил Жавера. По крайней мере это казалось Мариусу бесспорным.

Наконец, последний вопрос. Но на него ответа не было. И этот вопрос терзал Мариуса, словно раскаленные клещи. Как могло случиться, чтобы жизнь Жана Вальжана так долго шла бок о бок с жизнью Козетты? Что означала темная игра провидения, столкнувшего ребенка с этим человеком? Значит, и там, наверху, существуют оковы, значит, и богу бывает угодно сковать одной цепью ангела с демоном? Значит, грех и невинность могут оказаться товарищами по камере на таинственной каторге бедствий? И в этом шествии осужденных судьба человеческая может заставить идти рядом два существа: одно-ясное и чистое, другое – страшное; одно – озаренное сиянием утра, другое – навеки опаленное молнией божьего гнева. Кто мог предопределить столь необъяснимый союз? Каким образом, каким чудом могла слиться судьба небесного юного создания с судьбой закоренелого грешника? Кто мог соединить ягненка с волком и – что еще непостижимее – привязать волка к ягненку? Волк любил ягненка, свирепое существо боготворило существо слабое, целых девять лет исчадие ада служило поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее девственный расцвет – ее порыв навстречу жизни и познанию преданно охранялись этим чудовищем. Здесь вопросы как бы распадались на бесчисленные загадки, в глубине одной пропасти разверзалась другая, и Мариус, думая о Жане Вальжане, испытывал головокружение. Кто же был этот человек-бездна?

Древние символы Книги бытия вечны: человеческое общество, такое, как оно есть, пока оно не обратится к свету, всегда порождало и будет порождать два типа людей: человека возвышенного и человека низкого; того, кто исповедует добро, – Авеля, и того, кто исповедует зло, – Каина. Кто же был этот Каин с нежным сердцем? Этот разбойник, который, как перед святыней, преклонялся перед девственницей, охранял ее, растил, оберегал, укреплял в добродетели и, будучи сам порочен, окружал ее ореолом непорочности? Что же это за грешник, который благоговел перед невинностью и ничем ее не запятнал? Кто же был этот Жан Вальжан, воспитавший Козетту? Что представлял собою этот выходец из мрака, поглощенный одной-единственной заботой – предохранить от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды?

Это было тайной Жана Вальжана; это было и божьей тайной.

Мариус отступал перед этой двойной тайной. Одна из них до известной степени успокаивала его относительно другой. Во всем этом столь же явно, как и Жан Вальжан, присутствовал бог. Пути господни неисповедимы. Бог пользуется тем средством, каким пожелает. Он не обязан давать отчет человеку. Ведомо ли нам, как господь вершит свои деяния? Жану Вальжану стоило больших трудов воспитать Козетту. До некоторой степени он был создателем ее души. Это неоспоримо. Ну и что же? Работник был ужасающе безобразен, но работа оказалась восхитительной. Бог волен творить чудеса, как хочет. Он создал очаровательную Козетту, а воспитателем приставил к ней Жана Вальжана. Ему угодно было избрать себе странного помощника. Какой счет мы можем предъявить ему? Разве впервые навоз помогает весне взрастить розу?

Мариус сам отвечал на свои вопросы и убеждал себя, что ответы правильны. Допрашивать Жана Вальжана по поводу всех указанных нами сомнений он не осмеливался, сам себе в том не сознаваясь. Он обожал Козетту, он обладал Козеттой. Козетта сияла невинностью. Этого было ему довольно. В каких еще расследованиях он нуждался? Его возлюбленная была светом. Нуждается ли свет в разъяснении? У него было все; чего еще мог он желать? Все – разве этого недостаточно? Что ему до личных дел Жана Вальжана! Наклоняясь мысленно над роковой тенью, он цеплялся за торжественное заявление, сделанное этим отверженным: «Я – никто для Козетты. Десять лет назад я не знал о ее существовании».

Жан Вальжан был случайным прохожим. Он сам так сказал. Ну вот он и прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Отныне оставался Мариус, чтобы заступить место провидения

Козетты. В лазурной вышине Козетта разыскала существо себе подобное, возлюбленного, мужа, посланного небом супруга. Улетая ввысь, Козетта, окрыленная и преображенная, подобно бабочке, вышедшей из куколки, оставляла на земле свою пустую и отвратительную оболочку – Жана Вальжана.

Какие бы мысли ни кружились в голове Мариуса, он снова и снова испытывал ужас перед Жаном Вальжаном. Ужас священный, быть может, ибо, как мы только что отметили, он чувствовал quid divinum[16] в этом человеке. Но, какие бы усилия он над собой ни делал, какие бы смягчающие обстоятельства ни отыскивал, неизбежно приходилось возвращаться к одному: это был каторжник, иначе говоря, существо, которое даже не имело места на общественной лестнице, ибо оно опустилось ниже последней ее ступеньки. За самым последним из людей идет каторжник. Каторжник, в сущности, не принадлежит к числу живых. Закон лишил его всего человеческого – всего, что только он в силах отнять у человека. Хотя Мариус и был демократом, тем не менее в вопросах, касающихся судопроизводства, он все еще стоял за систему беспощадной кары и всех, кого карал закон, осуждал с точки зрения этого закона. Заметим, что духовное развитие Мариуса еще не было завершено. Он еще не умел отличить то, что начертано человеком, от того, что начертано богом, отличить закон от права. Он еще не обдумал н не взвесил присвоенного себе человеком права распоряжаться тем, что невозвратимо и непоправимо. Его не возмущало слово vindicta[17]. Он считал справедливым, чтобы посягательства на писаный закон имели следствием пожизненное наказание, и признавал проклятие общества как способ воздействия, найденный цивилизацией. Он еще стоял на этой ступени, но с тем, чтобы позже неминуемо подняться выше, так как по натуре был добр и бессознательно вступил уже на путь прогресса.

В свете таких идей Жан Вальжан казался ему существом уродливым и отталкивающим. Это был отверженный. Беглый каторжник. Последнее слово звучало в его ушах трубным гласом правосудия, и после долгого размышления над Жаном Вальжаном он кончил тем, что отвратился от него Vade retro.[18]

Следует отметить и даже подчеркнуть, что, расспрашивая Жана Вальжана, – а ведь тот даже сказал ему «Вы исповедуете меня», – Мариус, однако, не задал ему двух-трех вопросов, имевших решающее значение. И не потому, чтобы они не вставали перед ним, – он их боялся. Чердак Жондрета? Баррикада? Жавер? Кто знает, к чему привели бы эти разоблачения? Жан Вальжан был, по-видимому, не способен отступать, и, кто знает, не захотелось ли бы самому Мариусу. толкнувшему его на признание, остановить его? Не случалось ли нам всем, мучаясь страшными подозрениями, задать вопрос и тут же заткнуть уши, чтобы не слышать ответа? Тем, кто любит, особенно свойственно подобное малодушие. Неблагоразумно исследовать до дна обстоятельства, таящие угрозу против нас самих да еще связанные роковым образом с тем, что неотторжимо от нашей жизни. Кто знает, какой ужасный свет могли пролить на все безрассудные признания Жана Вальжана, кто знает, не может ли дотянуться этот омерзительный луч и до Козетты? Кто знает, не останется ли на челе ангела мерцающий отсвет адского пламени? Самая короткая вспышка молнии сопровождается громовым ударом. Воля рока такова, что даже сама невинность обречена нести па себе клеймо греха, став жертвой таинственного закона отражения. Случается, что на самых чистых созданиях навеки остается след отвратительного соседства. Прав был Мариус или не прав, но он этого боялся. Он и так узнал слишком много. Ему хотелось не столько все понять, сколько все забыть. Полный смятения, он словно спешил унести Козетту в своих объятиях, отвращая взгляд от Жана Вальжана.

Тот человек был сродни ночи, ночи одушевленной и страшной. Как отважиться углубиться в нее? Нет ничего ужаснее, чем допрашивать тьму. Кто знает, что она ответит? Заря могла стать омраченной навеки.

В таком душевном состоянии Мариус не мог не тревожиться о том, что этот человек и дальше будет иметь какое-то отношение к Козетте. Он почти упрекал себя за то, что отступил,

что не задал тех роковых вопросов, за которыми могло последовать неумолимое, бесповоротное решение. Он считал, что был слишком добр, слишком мягок и, скажем прямо, слишком слаб. Эта слабость толкнула его на неосторожную уступку. Он позволил себе растрогаться. И напрасно. Он должен был просто-напросто оттолкнуть Жана Вальжана. Жан Вальжан был искупительной жертвой; следовало принести эту жертву и избавить свой дом от этого человека. Мариус досадовал на себя, он роптал на внезапно налетевший вихрь, который оглушил, ослепил и увлек его. Он был недоволен собой.

Что теперь будет? Мысль о том, что Жан Вальжан станет навещать Козетту, вызывала в нем глубочайшее отвращение. Зачем ему этот человек? Что делать? Здесь он становился в тупик, он не хотел доискиваться, не хотел углубляться, не хотел разбираться в самом себе. Он обещал, – он позволил себе увлечься до такой степени, что дал обещание, и Жан Вальжан это обещание получил, а слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику, следует держать. Тем не менее он обязан был прежде всего подумать о Козетте. Словом, непобедимое отвращение вытесняло в нем все другие чувства.

Мариус перебирал в уме этот клубок путаных мыслей, бросаясь от одной к другой и терзаясь всеми вместе. Его охватила глубокая тревога. Скрыть эту тревогу от Козетты было нелегко, но любовь – великий талант, и Мариус справился с собой.

Не обнаруживая истинной своей цели, он задал несколько вопросов ни о чем не подозревавшей Козетте, невинной, как белая голубка; слушая рассказы о ее детстве и юности, он все больше убеждался, что отношение каторжника к Козетте было исполнено такой доброты, заботы и достоинства, на какие только способен человек. То, что Мариус чувствовал и предполагал, оказалось правдой. Зловещий чертополох любил и оберегал чистую лилию.

Книга восьмая

Сумерки сгущаются

Глава первая.

Комната в нижнем этаже

На другой день, с наступлением сумерек, Жан Вальжан постучался в ворота дома Жильнормана. Его встретил Баск. Баск находился во дворе в назначенное время, словно выполняя чье-то распоряжение. Бывает иногда, что слуге говорят: «Посторожи, когда придет господин такой-то».

Не дожидаясь, чтобы Жан Вальжан подошел ближе, Баск обратился к нему первый:

– Господин барон поручил мне спросить у вашей милости, угодно ли вам подняться наверх или остаться внизу.

– Я останусь внизу, – отвечал Жан Вальжан.

Баск, храня безукоризненно почтительный вид, растворил двери залы в нижнем этаже и сказал:

– Пойду доложить молодой хозяйке.

Комната, куда вошел Жан Вальжан, была сводчатая, сырая, с красным кафельным полом, служившая по мере надобности кладовой; она выходила на улицу и слабо освещалась единственным окном с железной решеткой.

Это помещение было не из тех, куда часто заглядывают метелка, веник и щетка. Пыль лежала здесь нетронутой. Борьбы с пауками тут давно не вели. Пышная, черная, украшенная мертвыми мухами паутина огромным веером раскинулась по одной из створок окна. Единственным убранством этой небольшой низкой комнаты служили пустые бутылки, наваленные грудой в углу. Окрашенная желтой охрой штукатурка облупилась со стен широкими пластами. В глубине был камин с узенькой каминной доской, крашенный под черное дерево. В камине горел огонь; это означало, что тут заранее рассчитывали на ответ Жана Вальжана: «Я останусь внизу».

У камина стояли два кресла. Между креслами был постелен вместо ковра потертый половик, в котором осталось больше веревок, чем шерсти.

Комната освещалась огнем камина и тусклым светом из окна.

Жан Вальжан был утомлен. Уже несколько дней он не ел и не спал. Он тяжело опустился в кресло.

Баск вернулся, поставил на камин зажженную свечу и вышел. Жан Вальжан забылся, склонив голову на грудь, и не заметил ни Баска, ни свечи.

Вдруг он выпрямился, как будто его внезапно разбудили. За его спиной стояла Козетта.

Он не видел, но почувствовал, как она вошла.

Он обернулся, посмотрел на нее. Она была обворожительна. Но его глубокий взгляд искал в ней не красоту ее, а душу.

– Ну, отец, – вскричала Козетта, – я знала, что вы странный человек, но такой причуды уж никак не ожидала! Что за дикая фантазия! Мариус сказал, будто вы сами захотели, чтобы я принимала вас здесь.

– Да, сам.

– Я так и знала. Ну, теперь держитесь! Предупреждаю, что сейчас устрою вам сцену. Начнем с самого начала. Поцелуйте меня, отец.

И она подставила ему щеку.

Жан Вальжан был неподвижен.

– Вы даже не шевельнулись. Запомним это. Вы ведете себя, как виноватый. Но все равно, я прощаю вам. Иисус Христос сказал: «Подставьте другую щеку». Вот она.

И она подставила другую.

Жан Вальжан не тронулся с места. Казалось, ноги его были пригвождены к полу.

– Дело становится серьезным, – сказала Козетта. – В чем я провинилась? Объявляю, что я с вами в ссоре. Вы должны заслужить прощение. Вы пообедаете с нами.

– Я уже обедал.

– Это неправда. Я попрошу господина Жильнормана пожурить вас хорошенько. Деды созданы для того, чтобы допекать отцов. Ну! Идемте со мной в гостиную. Сию же минуту.

– Это невозможно.

Тут Козетта слегка растерялась. Она перестала приказывать и перешла к расспросам.

– Но почему же? И зачем вы выбрали для нашей встречи самую ужасную комнату во всем доме? Здесь отвратительно.

– Ты ведь знаешь…

Жан Вальжан поправился:

– Вы ведь знаете, баронесса, что я чудак, у меня свои прихоти.

Козетта всплеснула ручками:

– Баронесса?.. Вы?.. Вот новости! Что все это значит?

Жан Вальжан посмотрел на нее с той душераздирающей, вымученной улыбкой, которая иногда появлялась у него на губах.

– Вы сами пожелали быть баронессой. И стали ею.

– Но не для вас же, отец.

– Не называйте меня больше отцом.

– Что?

– Зовите меня господин Жан. Просто Жан, если хотите.

– Вы мне больше не отец? Я больше не Козетта? Господин Жан? Да что же это такое? Но ведь это настоящий переворот! Что случилось? Посмотрите мне в лицо. И вы не хотите с нами жить! Вы отказываетесь от своей комнаты! Что я вам сделала? Что я вам сделала? Значит, что-нибудь произошло?

– Ничего.

– Тогда в чем же дело?

– Все осталось по-прежнему.

– Почему вы меняете имя?

– Вы ведь тоже переменили свое.

Он снова улыбнулся той же улыбкой и прибавил:

– Раз вы стали госпожой Понмерси, почему бы мне не стать господином Жаном?

– Решительно ничего не понимаю. Все это нелепо. Погодите, я еще спрошу у мужа разрешения называть вас господином Жаном. Надеюсь, он не согласится. Вы меня страшно огорчаете. Можно иметь причуды, но нельзя так обижать свою маленькую Козетту. Это очень нехорошо. Вы не смеете быть злым, ведь вы такой добрый.

Он не отвечал.

Она живо схватила его за обе руки и, подняв их к своему лицу, в неудержимом порыве прижала их к шее под подбородком, с выражением глубочайшей нежности.

– О, – проговорила она, – будьте добрым, как прежде!

И продолжала:

– Вот что я называю быть добрым: быть милым, переехать к нам – здесь тоже есть птички, как на улице Плюме, – жить с нами вместе, бросить эту ужасную дыру на улице Вооруженного человека; не загадывать нам головоломок, быть, как все, обедать с нами, завтракать с нами, словом, быть моим дорогим отцом.

Он высвободил свои руки.

– Вам не нужен отец, у вас теперь есть муж.

Козетта вспылила:

– Мне не нужен отец? Когда слышишь такую бессмыслицу, право, не знаешь, что и сказать.

– Если бы тут была Тусен, – продолжал Жан Вальжан, как человек, ищущий опоры в авторитетах и цепляющийся за любую веточку, – она первая подтвердила бы, что такой уж у меня нрав. В этом нет ничего нового. Я всегда любил свой темный угол.

– Но здесь же холодно. Здесь плохо видно. И что за гадкая выдумка называться господином Жаном! Я не желаю, чтобы вы говорили мне «вы»!

– Нынче, по дороге сюда, – перевел разговор Жан Вальжан, – я видел на улице Сен-Луи одну вещицу. У столяра-краснодеревщика. Будь я хорошенькой женщиной, я бы это приобрел. Очень милый туалет в современном вкусе. У вас это называется, кажется, розовым деревом. С инкрустацией. С довольно большим зеркалом. И с ящичками. Очень красивая вещица.

– У! Противный медведь! – проговорила Козетта и с очаровательной гримаской фыркнула на Жана Вальжана сквозь сжатые зубки. То была сама Грация, изображавшая сердитую кошечку.

– Я просто взбешена, – заявила она. – Со вчерашнего дня все вы меня изводите Я очень сердита. Я ничего не понимаю. Вы не защищаете меня от Мариуса. Мариус не хочет поддержать меня против вас. Я совсем одна. Я так славно убрала вашу комнату! Если бы я могла достать луну с неба, я бы там ее повесила. И что же? Что теперь прикажете делать с этой комнатой? Мой жилец оставляет меня с носом. Я заказываю Николетте превкусный обед. «Ваш обед никому не нужен, сударыня!» И мой отец Фошлеван требует ни с того ни с сего, чтобы я

называла его господином Жаном и принимала его в старом, дрянном, безобразном, затхлом погребе, где стены обросли бородой, где вместо хрусталя валяются пустые бутылки, а вместо занавесок – паутина! Вы человек с причудами, согласна, все это в вашем духе, но надо же дать передышку людям после свадьбы. Вы не имели права сразу же браться за прежние чудачества. Неужели вам так хорошо на этой отвратительной улице Вооруженного человека? А я была там очень несчастна. Что я вам сделала? Вы ужасно меня огорчаете! Фи!

Вдруг, пристально взглянув на Жана Вальжага, она уже серьезно спросила:

– Вы сердитесь на меня за то, что я счастлива?

Наивность, сама того не зная, бывает порою очень проницательна. Этот вопрос, такой простой для Козетты, имел для Жана Вальжана глубокий смысл. Козетта хотела царапнуть его, а ранила до крови.

Жан Вальжан побледнел. С минуту он ничего не отвечал, потом с неизъяснимым выражением, словно обращаясь к самому себе, прошептал:

– Ее счастье – вот что было целью моей жизни. Теперь господь может отпустить меня с миром. Козетта, ты счастлива; мое время истекло.

– Ах! Вы сказали мне «ты»! – воскликнула Козетта и кинулась ему на шею.

Жан Вальжан, забывшись, порывисто прижал ее к груди. Он почти поверил, что снова вернул ее себе.

– Спасибо, отец! – шепнула Козетта.

Поддавшись этому порыву, Жан Вальжан испытывал мучительное чувство. Он тихонько высвободился из объятий Козетты и взялся за шляпу.

– Что такое? – спросила Козетта.

– Я ухожу, сударыня, вас ждут, – ответил Жан Вальжан и, стоя уже в дверях, прибавил:

– Я назвал вас на «ты». Скажите вашему мужу, что больше этого не случится. Простите меня.

Жан Вальжан вышел, оставив Козетту ошеломленной этим загадочным прощанием.

Глава вторая.
Еще несколько шагов назад

Жан Вальжан пришел на следующий день. в тот же час.

Козетта уже не задавала ему вопросов, не удивлялась, не жаловалась на холод, не приглашала больше в гостиную; она избегала называть его и отцом и господином Жаном. Она позволяла говорить себе «вы». Позволяла называть себя сударыней. В ней только убавилось веселости. Ее можно было бы счесть грустной, если б она способна была грустить.

Должно быть, у нее с Мариусом произошел один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что вздумается, ничего не объясняет и все же умеет успокоить любимую женщину. Любопытство влюбленных не простирается за пределы их любви.

Нижнюю залу более или менее привели в порядок. Баск убрал бутылки, а Николетта смела паутину.

Во все последующие дни Жан Вальжан являлся неизменно в тот же час. Он приходил ежедневно, не имея сил принудить себя понять слова Мариуса иначе, как буквально. Мариус устраивался так, чтобы уходить из дому в те часы, когда приходил Жан Вальжан. Домашние скоро привыкли к новым порядкам, которые завел г-н Фошлеван. Тусен помогла этому. «Хозяин всегда был таким», – твердила она. Дед вынес следующий приговор: «Он просто оригинал». Этим все было сказано. По правде говоря, в девяносто лет уже тяжелы новые связи; все кажется лишним бременем, новый знакомец только стесняет, для него нет уже места в привычном укладе жизни. Звался ли он Фошлеваном или Кашлеваном – для старика Жильнормана было облегчением избавиться от «этого господина». Он пояснил: «Все эти

оригиналы одинаковы. Они способны на любые чудачества. Так просто, без всяких причин. Маркиз де Канапль был еще хуже. Он купил дворец, а жил на чердаке. Напускают же на себя люди этакую блажь!»

Никто не подозревал мрачной подоплеки этой «блажи». Кто же, впрочем, мог бы угадать причину? В Индии встречаются такие болота: вода в них кажется необычной, непонятной: вдруг она всколыхнется без ветра, вдруг забурлит там, где должна быть спокойной. Мы замечаем на поверхности странную зыбь и не видим змеи, которая ползет по дну.

Так и у многих людей есть тайное чудовище, скрытая мука, которую они вскармливают, дракон, который терзает их, отчаяние, которое не дает им покоя всю ночь. Такие люди на вид ничем не отличаются от других: они ходят, двигаются. Никто не знает, что страшный разрушительный недуг живет в этих несчастных и как червь гложет их, причиняя тяжкие муки. Никто не знает, что любой из них – омут. Стоячий, глубокий омут. Время от времени на поверхности начинается волнение, ни для кого не понятное. Пробегает загадочная рябь, исчезает, появляется снова: всплывает пузырь и лопается. Это почти ничего, и вместе с тем жутко. Это дыхание неведомого зверя.

Иные странные привычки – являться в часы, когда другие уходят, держаться в тени, когда другие выставляют себя напоказ, носить всегда плащ защитной окраски, избирать пустынные аллеи, предпочитать безлюдные улицы, не вмешиваться в разговор, избегать толпы и многолюдных праздников, казаться человеком с достатком и жить в бедности, носить, при всем своем богатстве, в кармане ключ от своего жилища и оставлять свечу у привратника, входить со двора, подниматься по черной лестнице, – все эти небольшие странности, эти волны, пузыри, мимолетная рябь на поверхности исходят нередко из глубин отчаяния.

Так прошло некоторое время. Козетту мало-помалу захватила новая жизнь: новые знакомства, визиты, домашние заботы, развлечения – все это были важные дела. Развлечения Козетты стоили недорого: они заключались в одном – быть с Мариусом. Выходить вместе с ним, сидеть с ним дома, – в этом состояло главное содержание ее жизни. Для них было вечно новой радостью гулять под руку, среди бела дня, по людной улице, не прячась, перед всем народом, вдвоем и наедине среди толпы. У Козетты бывали и огорчения: Тусен не поладила с Николеттой, и, так как обе старые девы не могли ужиться вместе, Тусен пришлось уйти. Дед чувствовал себя прекрасно. Мариус время от времени защищал какое-нибудь дело в суде; тетка Жильнорман продолжала мирно влачить свое унылое существование бок о бок с молодой четой, что ее вполне удовлетворяло. Жан Вальжан приходил каждый день.

Замена обращения на «ты» официальным «вы», «сударыня», «господин Жан» – все это изменило его отношения с Козеттой. Старания, приложенные им, чтобы отучить ее от себя, увенчались успехом. Она становилась все более веселой и все менее ласковой с ним. Однако она все еще очень любила его, и он это чувствовал. Как-то раз она вдруг сказала: «Вы были мне отцом, и вы уже больше не отец; были мне дядей, и больше уже не дядя, были господином Фошлеваном и стали просто Жаном. Кто же вы такой? Не нравится мне все это. Если бы я не знала, какой вы добрый, я боялась бы вас».

Он по-прежнему оставался на улице Вооруженного человека, не решаясь покинуть квартал, где когда-то жила Козетта.

На первых порах он проводил с Козеттой лишь несколько минут, потом уходил.

Но постепенно он затягивал свои визиты. Казалось, он находил себе оправдание в том, что дни становились длиннее; он являлся раньше и уходил позже.

Однажды Козетта, обмолвившись, сказала ему «отец». Луч радости озарил старое угрюмое лицо Жана Вальжана. Он поправил ее: «Говорите: Жан». – «Да, правда, – отвечала она, рассмеявшись, – господин Жан!» – «Вот так», – сказал он и отвернулся, чтобы незаметно вытереть слезы.

Глава третья.

Они вспоминают сад на улице Плюме

Больше это не повторялось. То был последний луч света; все угасло окончательно. Не было прежней близости, не было поцелуя при встрече, никогда уж не звучало полное нежности слово «отец!». По собственному настоянию и при собственном содействии Жан Вальжан постепенно лишился всех своих радостей; его постигло то несчастье, что он потерял Козетту в один день, а потом ему пришлось сызнова терять ее постепенно.

Глаза привыкают в конце концов к тусклому свету подземелья. Видеть Козетту хотя бы раз в день казалось ему уже достаточным. Вся его жизнь сосредоточилась на этих часах. Он садился возле нее, глядел на нее молча или же говорил с ней о былых годах, о ее детстве, о монастыре, о ее прежних подружках.

Однажды после полудня – это был один из первых апрельских дней, уже весенний, но еще прохладный, в час, когда солнце весело сияло, когда сады за окнами Мариуса и Козетты трепетали, пробуждаясь ото сна, когда вот-вот должен был распуститься боярышник, когда желтофиоли раскидывались нарядным узором по старым стенам, цветочки львиного зева розовели в расщелинах камней, в траве пробивались прелестные лютики и маргаритки, в небе начинали порхать первенцы весны – белые бабочки, а ветер, бессменный музыкант на свадебном торжестве природы, запевал в ветвях дерев первые ноты великой утренней симфонии, которую древние поэты называли возрождением весны, – Мариус сказал Козетте:

– Помнишь, мы условились, что сходим навестить наш сад на улице Плюме. Пойдем туда. Не надо быть неблагодарными.

И они умчались, точно две ласточки, навстречу весне. Сад на улице Плюме казался им утренней зарей. В их жизни уже было какое-то прошлое, нечто вроде ранней весны их любви. Дом на улице Плюме, взятый в аренду, все еще принадлежал Козетте. Они посетила этот сад и этот дом. Они отдались минувшему, они забыли о настоящем. Вечером в урочный час Жан Вальжан явился на улицу Сестер страстей господних.

– Госпожа баронесса вышли с господином бароном и еще не возвращались, – сказал ему Баск.

Жан Вальжан молча сел и прождал целый час. Козетта так и не вернулась. Он поник головой и ушел.

Козетта была в таком упоении от прогулки по «их саду» и так была рада «прожить целый день в минувшем», что на следующий вечер ни о чем другом не говорила. Она даже не вспомнила, что не видала накануне Жана Вальжана.

– Как вы добрались туда? – спросил ее Жан Вальжан.

– Пешком.

– А как вернулись?

– В наемной карете.

С некоторых пор Жан Вальжан замечал, что юная чета ведет очень скромный образ жизни. Это огорчало его. Мариус соблюдал строгую экономию, и Жан Вальжан видел в этом особый скрытый смысл. Он осмелился задать вопрос:

– Почему у вас нет собственного экипажа? Красивая двухместная карета стоила бы вам всего-навсего пятьсот франков в месяц. Ведь вы богаты.

– Не знаю, – отвечала Козетта.

– Вот и Тусен тоже, – продолжал Жан Вальжан. – Она ушла. А на ее место никого не наняли. Отчего?

– Нам достаточно Николетты.

– Но вам, баронесса, нужна камеристка.

– А разве у меня нет Мариуса?

– Вам бы следовало иметь собственный дом, завести отдельную прислугу, иметь карету, ложу в театре. Нет ничего такого, что было бы слишком хорошо для вас. Почему вы не пользуетесь своим богатством? Богатство много прибавляет к счастью.

Козетта ничего не ответила.

Посещения Жана Вальжана отнюдь не становились короче. Напротив. Когда сердце скользит вниз, трудно остановиться на склоне.

Если Жану Вальжану хотелось затянуть свидание и заставить Козетту забыть о времени, он принимался расточать похвалы Мариусу: он находил его красивым, благородным, смелым, умным, красноречивым, добрым. Козетта поддакивала ему. Жан Вальжан начинал сызнова. Оба они были неистощимы. Тема «Мариус» казалась неисчерпаемой; в шести буквах его имени заключались целые тома. Таким способом Жану Вальжану удавалось посидеть подольше. Видеть Козетту, забывать обо всем возле нее было так отрадно! Это словно врачевало его рану. Нередко случалось, что Баск раза по два являлся доложить:

– Господин Жильнорман велел напомнить баронессе, что кушать подано.

В такие дни Жан Вальжан возвращался домой в глубокой задумчивости.

Была ли доля правды в том сравнении с куколкой бабочки, которое пришло в голову Мариуса? Не был ли действительно Жан Вальжан коконом, который упрямо продолжал навещать вылетевшую из него бабочку?

Однажды он задержался еще дольше обыкновенного. На следующий день он заметил, что в камине не развели огня. «Вот как! – подумал он. – Огня нет». И успокоил себя таким объяснением: «Вполне понятно. Холода кончились».

– Бог ты мой, как здесь холодно! – воскликнула Козетта входя.

– Да нет, нисколько, – возразил Жан Вальжан.

– Значит, это вы запретили Баску развести огонь?

– Да. Ведь уже май на дворе.

– Но печи топят до июня! А этот погреб надо отапливать круглый год.

– Я подумал, что не к чему разжигать камин.

– Это опять одна из ваших выдумок! – возмутилась Козетта.

На другой день камин затопили. Но оба кресла были переставлены в другой конец залы, к самым дверям.

«Что это означает?» – подумал Жан Вальжан.

Он пошел за креслами и передвинул их на обычное место у камина.

Зажженный огонь успокоил его. Он затянул беседу еще дольше обыкновенного. Когда он поднялся, собираясь уходить, Козетта проговорила:

– Вчера мой муж сказал мне одну странную вещь.

– Что такое?

– Он сказал: «Козетта! У нас тридцать тысяч ренты. Двадцать семь принадлежит тебе и три я получаю от деда». Я ответила: «Это составляет тридцать». А он говорит: «Хватило бы у тебя мужества жить только на три тысячи?» «Конечно, – сказала я, – пускай и вовсе без ренты, лишь бы с тобой». И потом спросила: «Зачем ты мне это говоришь?» А он ответил: «На всякий случай».

Жан Вальжан не проронил ни слова. Козетта, вероятно, ждала от него каких-нибудь объяснений, но он выслушал ее в угрюмом молчании. Он возвратился на улицу Вооруженного человека в такой глубокой задумчивости, что ошибся дверью и, вместо того чтобы взойти к себе, попал в соседний дом. Только поднявшись почти до третьего этажа, он обнаружил свою ошибку и спустился вниз.

Его обуревали мучительные мысли. Было ясно, что Мариус сомневался в происхождении шестисот тысяч франков, опасаясь, не исходят ли они из какого-нибудь нечистого источника. Как знать, может быть он даже открыл, что деньги принадлежат Жану Вальжану, и колебался принять это подозрительное состояние, брезговал вступить во владение им, предпочитая жить с Козеттой в бедности, чем пользоваться этим темным наследством?

Жан Вальжан начинал смутно чувствовать, что его выживают из дому.

На следующий день, при входе в залу нижнего этажа, он вздрогнул от неожиданности. Кресла исчезли. В комнате не было даже стула.

– Вот как! – вскричала Козетта входя. – Кресел нет! Куда же девались кресла?

– Их больше нет, – отвечал Жан Вальжан.

– Ну это уж чересчур!

Жан Вальжан пробормотал:

– Это я велел Баску убрать их.

– Но почему же?

– Сегодня я останусь всего на несколько минут.

– Прийти ненадолго – не значит все время стоять.

– Баску как будто понадобились кресла для гостиной.

– Зачем?

– Вероятно, вы ждете вечером гостей.

– Мы никого не ждем.

Жан Вальжан не мог вымолвить ни слова.

Козетта пожала плечами.

– Велеть вынести кресла! Прошлый раз вы велели погасить огонь. До чего же вы странный!

– Прощайте! – прошептал Жан Вальжан.

Он не сказал: «Прощай, Козетта», но и не в силах был сказать: «Прощайте, сударыня».

Он вышел подавленный.

На этот раз он понял.

На другой день он не явился. Козетта вспомнила о нем только вечером.

– Что это? – сказала она. – Господин Жан не пришел сегодня?

Сердце у нее сжалось, но это было мимолетно, так как Мариус отвлек ее поцелуем.

Жан Вальжан не пришел и назавтра.

Козетта не обратила на это внимания, провела вечер как обычно, спала хорошо и подумала о нем, только проснувшись. Она была так счастлива! Она тотчас послала Николетту к г-ну Жану справиться, не заболел ли он и почему не приходил накануне. Николетта принесла ответ от г-на Жана. Он не болен. Он просто был занят. Он скоро придет. При первой возможности. Впрочем, он собирается совершить небольшое путешествие. Г-жа Понмерси, вероятно, помнит, что он уезжал ненадолго время от времени. Пусть о нем не беспокоятся. Пусть о нем не думают.

Явившись к г-ну Жану, Николетта в точности передала ему слова своей госпожи: «Барыня посылает узнать, почему господин Жан не пришел накануне». – «Я не приходил целых два дня», – кротко поправил ее Жан Вальжан.

Николетта пропустила мимо ушей это замечание и ничего не сказала Козетте.

Глава четвертая. Притяжение и отталкивание

В конце весны и в начале лета 1833 года редкие прохожие квартала Маре, лавочники и ротозеи, слонявшиеся у ворот, заметили какого-то старика в черном, чисто одетого, который каждый день в тот же час, с наступлением сумерек выходил с улицы Вооруженного человека со стороны Сент-Круа-де-ла-Бретонри, миновав улицу Белых мантий, пересекал Ниву св. Екатерины и, выйдя на улицу Эшарп, поворачивал налево, на улицу Сен-Луи.

Здесь он замедлял шаги и брел, вытянув голову, ничего не видя и не слыша, устремив взгляд в одну точку, которая казалась ему путеводной звездой и была не чем иным, как поворотом на улицу Сестер страстей господних. Чем ближе он подходил к этому углу, тем живее становился его взгляд; зрачки загорались радостью, будто озаренные внутренним светом, выражение лица становилось умиленным и растроганным, губы беззвучно шевелились, словно он говорил с кем-то невидимым; он улыбался жалкой, бледной улыбкой и двигался вперед так медленно, как только мог. Казалось, он стремился к некоей цели и вместе с тем боялся минуты, когда окажется слишком близко к ней. Когда до улицы, которая чем-то влекла его, оставалось всего несколько домов, он замедлял шаг до такой степени, что могло показаться, будто он стоит на месте. Качающаяся голова и пристальный взгляд вызывали представление о стрелке компаса, ищущей полюс. Как ни медлил он и как ни оттягивал своего приближения к цели, но волей-неволей все же достигал ее: он доходил до улицы Сестер страстей господних, здесь он останавливался, весь дрожа, с какой-то непонятной робостью высовывал голову из-за угла последнего дома и смотрел на улицу; и было в его трагическом взгляде что-то похожее на тоску по недостижимому, на отсвет потерянного рая. И тут крупные слезы, скопившиеся в уголках глаз, катились по его щекам, иногда задерживаясь у рта. Старик чувствовал их горький вкус. Он стоял несколько минут, словно окаменев; затем уходил домой тем же путем и тем же шагом, и, по мере того как он удалялся, взор его угасал.

Мало-помалу старик перестал доходить до угла улицы Сестер страстей господних; он останавливался на полдороге, на улице Сен-Луи: иногда немного дальше, иногда чуть-чуть ближе. Как-то раз он остался на углу Нивы св. Екатерины и посмотрел издали на перекресток улицы Сестер страстей господних. Потом, молча покачав головой, как бы отказываясь от чего-то, повернул обратно.

Вскоре он перестал доходить даже до улицы Сен-Луи. Он достигал поворота на Мощеную улицу, качал головой и возвращался; некоторое время спустя он не шел дальше улицы Трех флагов; потом не выходил уже и за пределы улицы Белых мантий. Он напоминал маятник давно заведенных часов, колебания которого делаются все короче перед тем, как остановиться.

Каждый день он выходил из дому в один и тот же час, шел тем же путем, но не доходил до конца и, может быть, сам того не сознавая, сокращал его все больше и больше. Лицо его выражало одну-единственную мысль: «К чему?» Зрачки потухли и уже не загорались. Слезы иссякли, глубоко запавшие глаза были сухи. Голова старика все еще тянулась вперед, подбородок по временам начинал дрожать; жалко было смотреть на его худую, морщинистую шею. Порою, в ненастную погоду, он держал под мышкой зонтик, но не раскрывал его. Кумушки говорили: «Он не в своем уме». Ребятишки бежали следом и смеялись над ним.

Книга девятая

Непроглядный мрак, ослепительная заря

Глава первая.

Будьте милосердны к несчастным, будьте снисходительны к счастливым!

Как страшно быть счастливым! Как охотно человек довольствуется этим! Как он уверен, что ему нечего больше желать! Как легко забывает он, достигнув счастья, – этой ложной жизненной цели, – о цели истинной – долге!

Заметим, однако, что было бы несправедливо осуждать Мариуса.

Мы уже говорили, что до своего брака Мариус не задавал вопросов г-ну Фошлевану, а после брака опасался расспрашивать Жана Вальжана. Он сожалел о своем обещании, которое позволил вырвать у себя так опрометчиво. Он не раз говорил себе, что напрасно сделал эту уступку. Однако он ограничился тем, что мало-помалу старался отдалить Жана Вальжана от дома и по возможности изгладить его образ из памяти Козетты. Он как бы становился всегда между Козеттой и Жаном Вальжаном, уверенный в том, что, перестав видеть старика, она отвыкнет и думать о нем. Это было уже больше чем исчезновение из памяти, – это было полное ее затмение.

Мариус поступал так, как считал необходимым и справедливым. Он полагал, что, без излишней жестокости, но и не проявляя слабости, надо удалить Жана Вальжана; на это у него были серьезные причины, о которых читатель уже знает, а кроме них, и другие, о которых он узнает позже. Ведя один судебный процесс, он случайно столкнулся со старым служащим дома Лафит и получил от него некие таинственные сведения, хотя и не искал их. В сущности, он не мог пополнить их уже из одного уважения к тайне, которую дал слово хранить, а также из сочувствия к опасному положению Жана Вальжана. В настоящее время он считал, что должен выполнить весьма важную обязанность, а именно: вернуть шестьсот тысяч франков неизвестному владельцу, которого разыскивал со всею возможной осторожностью. Трогать же эти деньги он пока воздерживался.

Козетта не подозревала ни об одной из этих тайн. Но и ее обвинять было бы жестоко.

Между нею и Мариусом существовал могучий магнетический ток, заставлявший ее невольно, почти бессознательно, поступать во всем согласно желанию Мариуса. В том, что относилось к «господину Жану», она чувствовала волю Мариуса и подчинялась ей. Муж ничего не должен был говорить Козетте: она испытывала смутное, но ощутимое воздействие его скрытых намерений и слепо им повиновалась. Не вспоминать о том, что вычеркивал из ее памяти Мариус, – в этом сейчас и выражалось ее повиновение. Это не стоило ей никаких усилий. Без ее ведома и без ее вины, душа ее слилась с душой мужа, и все то, на что Мариус набрасывал мысленно покров забвения, тускнело и в памяти Козетты.

Не будем все же преувеличивать: в отношении Жана Вальжана это равнодушие, это исчезновение из памяти было лишь кажущимся. Козетта скорее была легкомысленна, чем забывчива. В сущности, она горячо любила того, кого так долго называла отцом. Но еще нежнее любила она мужа. Вот что нарушало равновесие ее сердца, клонившегося в одну сторону.

Случалось иногда, что Козетта заговаривала о Жане Вальжане и удивлялась его отсутствию. «Я думаю, его нет в Париже, – успокаивал ее Мариус. – Ведь он сам сказал, что должен куда-то поехать». «Это правда, – думала Козетта. – У него всегда была привычка вдруг пропадать. Но не так надолго». Два-три раза она посылала Николетту на улицу Вооруженного человека узнать, не вернулся ли г-н Жан из поездки. Жан Вальжан просил отвечать, что еще не вернулся.

Козетта успокаивалась на этом, так как единственным человеком, без кого она в этом мире обойтись не могла, был Мариус.

Заметим к тому же, что Мариус и Козетта сами были в отсутствии некоторое время. Они ездили в Вернон, Мариус возил Козетту на могилу своего отца.

Мало-помалу он отвлек мысли Козетты от Жана Вальжана. И Козетта не противилась этому.

В конце концов то, что нередко слишком сурово именуется неблагодарностью детей, не всегда в такой степени достойно порицания, как полагают. Это неблагодарность природы. Природа, как говорили мы в другом месте, «смотрит вперед». Она делит живые существа на приходящие и уходящие. Уходящие обращены к мраку, вновь прибывающие – к свету. Отсюда отчуждение, роковое для стариков и естественное для молодых. Это отчуждение, вначале

неощутимое, медленно усиливается, как при всяком росте. Ветви, оставаясь на стволе, удаляются от него. И это не их вина. Молодость спешит туда, где радость, где праздник, к ярким огням, к любви Старость идет к концу жизни. Они не теряют друг друга из виду, но объятия их разомкнулись. Молодые проникаются равнодушием жизни, старики – равнодушием могилы. Не станем обвинять бедных детей.

Глава вторая.

Последние вспышки светильника, в котором иссякло масло

Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал несколько шагов по улице и, посидев недолго на той же самой тумбе, где в ночь с 5 на 6 июня его застал Гаврош погруженным в задумчивость, снова поднялся к себе. Это было последнее колебание маятника. Наутро он не вышел из комнаты. На следующий день он не встал с постели.

Привратница, которая готовила ему скудный его завтрак, – немного капусты или несколько картофелин, приправленных салом, – заглянула в его глиняную тарелку и воскликнула:

– Да вы не ели вчера, голубчик!

– Я поел, – возразил Жан Вальжан.

– Тарелка-то ведь полна!

– Взгляните на кружку с водой. Она пуста.

– Это значит, что вы пили, но не ели.

– Что же делать, если мне хотелось только воды? – сказал Жан Вальжан.

– Это называется жаждой, а если при этом не хочется есть, это называется лихорадкой.

– Я поем завтра.

– А может, в Троицын день? Почему же не сегодня? Разве говорят: «Я поем завтра»? Подумать только, оставить мою стряпню нетронутой! Такая вкусная лапша!

Жан Вальжан, взяв старуху за руку, сказал ей ласково:

– Обещаю вам попробовать.

– Я сердита на вас, – молвила привратница.

Кроме этой доброй женщины. Жан Вальжан не видел ни одной живой души. Есть улицы в Париже, где никто не проходит, и дома, где никто не бывает. На одной из таких улиц, в одном из таких домов жил Жан Вальжан.

В то время когда он еще выходил из дому, он купил за несколько су у торговца медными изделиями маленькое распятие и повесил его на гвозде против своей кровати. Вот крест, который всегда отрадно видеть перед собой!

Прошла неделя, а Жан Вальжан не сделал ни шагу по комнате. Он все еще не покидал постели.

– Старичок, что наверху, больше не встает, ничего не ест, он долго не протянет, – говорила привратница своему мужу. – Верно, у него кручина какая-нибудь. Никто у меня из головы не выбьет, что его дочка неудачно вышла замуж.

Привратник ответил с полным сознанием своего мужского превосходства:

– Коли он богат, пускай позовет врача. Коли беден, пусть так обойдется. Коли не позовет врача, то помрет.

– А если позовет?

– Тоже помрет, – изрек муж.

Привратница принялась ржавым ножом выскребать траву, проросшую между каменными плитами, которые она называла «мой тротуар».

– Экая жалость! Такой славный старичок! Беленький, как цыпленок, – бормотала она, выдергивая траву.

В конце улицы она вдруг заметила врача, пользовавшего жителей этого квартала, и решила сама попросить его подняться к больному.

– Это на третьем этаже, – сказала она. – Можете прямо войти к нему. Ключ всегда в двери, старичок не встает с постели.

Врач навестил Жана Вальжана и поговорил с ним. Когда он спустился вниз, привратница начала допрос:

– Ну как, доктор?

– Ваш больной очень плох.

– А что у него?

– Все и ничего. Этот человек тоскует. По всей видимости, он потерял дорогое существо. От этого умирают.

– Что ж он вам сказал?

– Он сказал, что чувствует себя хорошо.

– Вы еще придете, доктор?

– Приду, – сказал врач, – но надо, чтобы к нему пришел не я, а кто-то другой.

Глава третья.

Перо кажется слишком тяжелым тому, кто поднимал телегу Фошлевана

Как-то вечером Жан Вальжан почувствовал, что ему трудно приподняться на локте; он тронул свое запястье и не нащупал пульса; дыхание было неровное, прерывистое; он чувствовал себя слабее, чем когда-либо. Чем-то сильно обеспокоенный, он с трудом спустил ноги с кровати и оделся. Он натянул на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дому, он предпочитал ее всякой другой. Одеваясь, он много раз останавливался; продеть руки в рукава куртки ему стоило такого труда, что на лбу у него выступил пот.

С тех пор как Жан Вальжан остался один, он поставил свою кровать в прихожую, чтобы как можно реже бывать в опустевших комнатах.

Он открыл сундучок и вынул из него детское приданое Козетты.

Он разложил его на постели.

На камине, на обычном месте, стояли подсвечники епископа. Он достал из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. Потом, хотя было еще совсем светло, так как стояло лето, зажег их. Свечи, зажженные среди бела дня, можно иногда видеть в домах, где есть покойник.

Каждый шаг, который он делал, передвигаясь по комнате, отнимал у него все силы, и ему приходилось отдыхать. Это не была обычная усталость после затраты сил, которые затем восстанавливаются; то были последние, еще доступные ему движения; то угасала жизнь, иссякая капля за каплей, в последних тяжких усилиях.

Стул, на который он тяжело опустился, стоял перед зеркалом, роковым для него и таким спасительным для – Мариуса, – здесь он прочел перевернутый отпечаток письма на бюваре Козетты. Он увидел себя в зеркале и не узнал. На вид ему было восемьдесят лет; до женитьбы Мариуса ему давали не больше пятидесяти; один год состарил его на тридцать лет. Морщины на его лбу не были уже приметой старости, но таинственной печатью смерти. В этих бороздах чувствовались следы ее неумолимых когтей. Его щеки отвисли, кожа на лице приобрела землистый оттенок, углы рта опустились, как на масках, высекавшихся в древности на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с немым укором. Его можно было принять за героя трагедии – жертву несправедливого рока.

Он дошел до такого состояния, до той последней степени изнеможения, когда скорбь уже не ищет выхода, она словно застывает; в душе как бы образуется сгусток отчаяния.

Настала ночь. С трудом он передвинул к камину стол и старое кресло. Поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу.

И тут он потерял сознание. Придя в себя, он ощутил жажду. Слишком ослабевший, чтобы поднять кувшин с водой, он с усилием наклонил его ко рту и отпил глоток.

Потом, не покидая кресла, так как подняться уже не мог, он повернулся к постели и стал глядеть на черное платьице, на все свои бесценные сокровища.

Он мог любоваться так часами, которые казались ему минутами. Вдруг он вздрогнул, почувствовав, как его охватывает холод; облокотившись на стол, где горели светильники епископа, он взялся за перо.

Пером и чернилами давно никто не пользовался, кончик пера погнулся, а чернила высохли; он вынужден был встать, чтобы налить в чернильницу несколько капель воды; при этом он несколько раз останавливался и присаживался, писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он отирал со лба пот.

Рука его дрожала. Медленно написал он несколько строк. Вот они:

«Козетта! Благословляю тебя. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, когда дал мне понять, что я должен уйти; хотя он немного ошибся в своих предположениях, но все равно он прав. Он превосходный человек. Люби его крепко и после моей смерти. Господин Понмерси! Всегда любите мое возлюбленное дитя. Козетта! Здесь найдут это письмо, и вот что я хочу тебе сказать, ты узнаешь все цифры, если у меня хватит сил их вспомнить; слушай внимательно, эти деньги действительно твои. Вот в чем дело: белый гагат привозят из Норвегии, черный гагат привозят из Англии, черный стеклярус ввозят из Германии. Гагат легче, ценнее, дороже. Во Франции можно так же легко изготовлять искусственный гагат, как и в Германии. Для этого нужна маленькая, в два квадратных дюйма, наковальня и спиртовая лампа, чтобы плавить воск. Когда-то воск делался из смолы и сажи и стоил четыре франка фунт. Я изобрел состав из камеди и скипидара. Это намного лучше и стоит только тридцать су. Серьги делаются из фиолетового стекла, которое прикрепляют этим воском к тонкой черной металлической оправе. Стекло должно быть фиолетовым для металлических украшений и черным – для золотых. Испания их покупает очень охотно. Там любят гагат…»

Здесь он остановился, перо выпало у него из рук, короткое, полное отчаяния рыдание вырвалось из самых глубин его существа. Несчастный обхватил голову руками и задумался.

«О! – вскричал он мысленно (это была жалоба, услышанная только богом). – Все кончено! Я больше не увижу ее. Это улыбка, на мгновение озарившая мою жизнь. Я уйду в вечную ночь, даже не поглядев на Козетту в последний раз. О, только бы на минуту, на миг услышать ее голос, коснуться ее платья, поглядеть на нее, на моего ангела, и потом умереть! Умереть легко, но как ужасно умереть, не повидав ее! Она улыбнулась бы мне, сказала бы словечко. Разве это может причинить кому-нибудь вред? Но нет, все кончено, навсегда. Я совсем один. Боже мой, боже мой, я не увижу ее больше!»

В эту минуту в дверь постучались.

Глава четвертая.
Ушат грязи, который мог лишь обелить

В этот самый день, точнее в этот самый вечер, когда Мариус, встав из-за стола, направился к себе в кабинет, чтобы заняться изучением какого-то судебного дела. Баск вручил ему письмо и сказал:

– Господин, который принес это письмо, ожидает в передней.

Козетта в это время под руку с дедом прогуливалась по саду.

Письмо, как и человек, может иметь непривлекательный вид. При одном только взгляде на грубую бумагу, на неуклюже сложенные страницы некоторых посланий, сразу чувствуешь неприязнь. Письмо, принесенное Баском, было именно такого рода.

Мариус взял его в руки. Оно пахло табаком. Ничто так не оживляет память, как запах. И Мариус вспомнил этот запах. Он взглянул на адрес, написанный на конверте, и прочел. «Господину барону Понмерси. Собственный дом». Вспомнив запах табака, он вспомнил и почерк. Можно было бы сказать, что удивлению присуща догадка, подобная вспышке молнии. И одна из таких догадок осенила Мариуса.

Обоняние, этот таинственный помощник памяти, оживило в нем целый мир. Конечно, это была та же бумага, та же манера складывать письмо, синеватый цвет чернил, знакомый почерк, но, главное – это был тот же табак. Перед ним внезапно предстало логово Жондрета.

Итак – странный каприз судьбы! – один след из двух, так долго разыскиваемых, именно тот безнадежно потерянный след, ради которого еще недавно он потратил столько усилий, сам давался ему в руки.

Нетерпеливо распечатав конверт, он прочел:

«Господин барон,

Если бы Всевышний Бог одарил меня талантами, я мог бы стать бароном Тенар, членом академии, но я не барон. Я только его однофамилец, и я буду щаслив, если воспоминание о нем обратит на меня высокое ваше расположение. Услуга, коей вы меня удостоите, будет взаимной. Я владею тайной, касающейся одной особы. Эта особа имеет отношение к вам. Эту тайну я придоставляю в ваше распоряжение, ибо желаю иметь честь быть полезным вашей милости. Я дам вам простое средство прагнать из вашего уважаемого симейства эту личность, которая втерлась к вам без всякого права, потому как сама госпожа баронесса высокого происхождения. Святая святых добродетели не может дольше сожительствовать с приступлением, иначе она падет.

Я ажидаю в пнредней приказаний господина барона.

С почтением».

Письмо было подписано «Тенар».

Подпись была не вымышленной. Только несколько укороченной.

Помимо всего, беспорядочная болтливость и самая орфография помогали разоблачению. Авторство устанавливалось неоспоримо. Сомнений быть не могло.

Мариус был глубоко взволнован. Его изумление сменилось радостью. Только бы найти ему теперь второго из разыскиваемых им лиц, – того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего больше не оставалось желать.

Он выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда несколько банковых билетов, положил их в карман, запер стол и позвонил. Баск приотворил дверь.

– Попросите войти, – сказал Мариус.

Баск доложил:

– Господин Тенар.

В комнату вошел человек.

Новая неожиданность для Мариуса: вошедший был ему совершенно незнаком.

У этого человека, впрочем тоже пожилого, был толстый нос, утонувший в галстуке подбородок, зеленые очки под двойным козырьком из зеленой тафты, прямые, приглаженные, с проседью волосы, закрывавшие лоб до самых бровей, подобно парику кучера из аристократического английского дома. Он был в черном, сильно поношенном, но опрятном костюме; целая связка брелоков, свисавшая из жилетного кармана, указывала, что там лежали часы. В руках он держал старую шляпу. Он горбился, и чем ниже был его поклон, тем круглее становилась спина.

Но особенно бросалось в глаза, что костюм этого человека, слишком просторный, хотя и тщательно застегнутый, был явно с чужого плеча. Здесь необходимо краткое отступление.

В те времена в Париже, в старом, мрачном доме на улице Ботрельи, возле Арсенала, проживал один оборотистый еврей, промышлявший тем, что придавал любому прохвосту вид порядочного человека; ненадолго, само собою разумеется, – в противном случае это оказалось бы стеснительным для негодяя. Превращение производилось тут же, на день или на два, за тридцать су в день, при помощи костюма, который соответствовал, насколько возможно, благопристойности, предписываемой обществом. Человек, дававший напрокат одежду, звался «Менялой»; этим именем окрестили его парижские жулики – его настоящего имени никто не знал. В его распоряжении была обширная гардеробная. Старье, в которое он обряжал людей, было подобрано на все вкусы. Оно отражало разные профессии и социальные категории; на каждом гвозде его кладовой висело, поношенное и измятое, чье-нибудь общественное положение. Здесь мантия судьи, там ряса священника, тут сюртук банкира, в уголке – мундир отставного военного, дальше – костюм писателя или крупного государственного деятеля. Этот старьевщик был костюмером бесконечной драмы, разыгрываемой в Париже силами воровской братии. Его конура служила кулисами, откуда выходило на сцену воровство и куда скрывалось мошенничество. Оборванный плут, зайдя в эту гардеробную, выкладывал тридцать су, выбирал себе для роли, какую намеревался в тот день сыграть, подходящий костюм и спускался с лестницы уже не громилой, а мирным буржуа. Наутро эти обноски честно приносились обратно; Меняла оказывал полное доверие ворам и никогда не бывал обворован. Эти одеяния имели одно только неудобство: они «плохо сидели», так как были сшиты не на тех, кто их носил. Они оказывались тесными для одних, болтались на других и никому не приходились впору. Любой мазурик, ростом выше или ниже среднего, чувствовал себя неудобно в костюмах Менялы. Они не годились ни для слишком толстых, ни для слишком тощих. Меняла имел в виду лишь среднего роста и объема людей. Он снял мерку с первого забредшего к нему оборванца, ни тучного, ни худого, ни высокого, ни маленького. Отсюда необходимость приспосабливаться, временами трудная, с которой клиенты Менялы справлялись, как умели. Тем хуже для исключений из нормы! Одеяние государственного деятеля, например, – черное снизу доверху, и следовательно, вполне пристойное, – было бы чересчур широко для Питта и чересчур узко для Кастельсикала. Костюм «государственного деятеля» описывался в каталоге Менялы следующим образом; приводим это место: «Черный суконный сюртук, черные шерстяные панталоны, шелковый жилет, сапоги и белье». Сбоку, на полях каталога, надпись: «Бывший посол» и заметка, которую мы также приводим: «В отдельной картонке аккуратно расчесанный парик, зеленые очки, брелоки и две трубочки из птичьего пера длиною в дюйм, обернутые ватой». Все это предназначалось для государственного мужа, бывшего посланника. Костюм этот, можно сказать, держался на честном слове; швы побелели, на одном локте виднелось что-то вроде прорехи; вдобавок спереди на сюртуке не хватало пуговицы. Впрочем, последнее обстоятельство не имело особого значения, так как рука государственного мужа, которой полагается быть заложенной за борт сюртука, могла служить прикрытием недостающей пуговице.

Если бы Мариус был знаком с тайными заведениями Парижа, он тотчас бы узнал на посетителе, которого впустил к нему Баск, платье «государственного деятеля», позаимствованное в притоне Менялы.

Разочарование Мариса при виде человека, обманувшего его ожидания, перешло в неприязнь к нему. Внимательно оглядев с головы до ног посетителя, пока тот отвешивал ему преувеличенно низкий поклон, Мариус сухо спросил:

– Что вам угодно?

Человек отвечал с любезной гримасой, о которой могла бы дать кое-какое представление лишь ласковая улыбка крокодила:

– Мне кажется просто невероятным, что я до сих пор не имел чести видеть господина барона в свете. Я уверен, что встречал вас несколько лет тому назад в доме княгини Багратион и в салоне виконта Дамбре, пэра Франции.

Притвориться, что узнаешь человека, которого вовсе не знаешь, – излюбленный прием мошенников.

Мариус внимательно прислушивался к речи этого человека, следил за его произношением, за мимикой. Разочарование возрастало: у посетителя был гнусавый голос, нисколько не похожий на тот резкий, жесткий голос, который он ожидал услышать. Он был совершенно сбит с толку.

– Я не знаком ни с госпожой Багратион, ни с господином Дамбре, – сказал он. – Ни разу в жизни я не бывал ни в одном из этих домов.

Ответ был груб, однако незнакомец продолжал тем же вкрадчивым тоном:

– В таком случае, сударь, я, должно быть, видел вас у Шатобриана. Я с ним близко знаком. Он очень мил и частенько говорит мне: «Тенар, дружище… не пропустить ли нам по стаканчику?»

Выражение лица Мариуса становилось все более суровым.

– Никогда не имел чести быть принятым у господина Шатобриана. Ближе к делу. Что вам угодно?

На строгий тон Мариуса незнакомец ответил еще более низким поклоном.

– Господин барон! Соблаговолите меня выслушать. В Америке, неподалеку от Панамы, есть селение Жуайя. Это селение состоит из одного-единственного дома. Большого квадратного трехэтажного дома из обожженных солнцем кирпичей. Каждая сторона квадрата равна в длину пятистам футам, каждый этаж отступает от нижнего на двенадцать футов в глубину, образуя перед собой площадку, которая идет вокруг всего здания; в центре его – внутренний двор, где хранятся продовольствие и боевые припасы. Окон нет – только бойницы, дверей нет – только лестницы; для подъема на первую площадку – приставная лестница, то же и с первой на вторую и со второй на третью; чтобы спуститься во внутренний двор – лестницы; вместо дверей в комнатах – люки, вместо обыкновенных лестниц – приставные. Ночью люки запирают, лестницы убирают, в бойницах прилаживают пищали и мушкеты. Войти внутрь никакой возможности; днем это дом, ночью – крепость; а всего там восемьсот жителей; вот каково это селение. А зачем столько предосторожностей? Потому, что это опасное место: там полно людоедов. А зачем в таком случае ехать туда? Потому что это чудесный край: там много золота.

– К чему вы клоните? – прервал его Мариус, разочарование которого сменилось нетерпением.

– Вот к чему, господин барон. Я бывший дипломат, я устал от жизни. Старая цивилизация набила мне оскомину. Я хочу пожить среди дикарей.

– Дальше что?

– Господин барон! Миром управляет эгоизм. Батрачка, работающая на чужом поле, обернется поглазеть на проезжий дилижанс, а крестьянка, работающая на своем поле, не обернется. Собака бедняка лает на богача, собака богача лает на бедняка. Всяк за себя. Выгода – вот конечная цель людей. Золото – вот магнит.

– Дальше что? Договаривайте.

– Я хотел бы обосноваться в Жуайе. Нас трое. При мне моя супруга и моя дочь, весьма красивая девица. Это путешествие долгое и дорого стоит. Мне нужно немного денег.

– Какое мне до этого дело? – спросил Мариус.

Незнакомец вытянул шею над галстуком, точно ястреб, и возразил с удвоенной любезностью:

– Разве господин барон не прочел моего письма?

Это предположение было недалеко от истины. Действительно, смысл письма лишь слегка коснулся сознания Мариуса. Он не столько читал его, сколько разглядывал почерк. Он почти не помнил, о чем там шла речь. Минуту назад у него родилась новая догадка. В словах посетителя он отметил следующую подробность: «моя супруга и моя дочь». Он устремил на незнакомца проницательный взгляд, которому позавидовал бы любой судебный следователь. Он словно прощупывал этого человека.

– Говорите яснее, – сказал он.

Незнакомец, заложив пальцы в жилетные карманы, поднял голову, не разгибая, однако, спины и тоже сверля Мариуса взглядом сквозь зеленые очки.

– Хорошо, господин барон. Я выражусь яснее. Я хочу продать вам одну тайну.

– Тайну?

– Да.

– Она касается меня?

– Да, отчасти.

– Что это за тайна?

Слушая этого человека, Мариус все внимательнее к нему приглядывался.

– Вступление я сделаю бесплатно, – сказал неизвестный. – Оно вас заинтересует, вот увидите.

– Говорите.

– Господин барон! У вас в доме живет вор и убийца.

Мариус вздрогнул.

– В моем доме? Нет, – сказал он.

Незнакомец, слегка почистив локтем свою шляпу, продолжал невозмутимо:

– Убийца и вор. Прошу заметить, господин барон, я не говорю здесь про старые, минувшие, забытые грехи, искупленные перед законом давностью лет, а перед богом – раскаянием. Я говорю о преступлениях совсем недавних, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию. Продолжаю. Этот человек вкрался в ваше доверие, почти втерся в вашу семью под чужим именем. Сейчас я скажу вам его настоящее имя. И скажу совершенно бесплатно.

– Я слушаю.

– Его зовут Жан Вальжан.

– Я это знаю.

– Я скажу вам, и тоже бесплатно, кто он такой.

– Говорите.

– Он беглый каторжник.

– Я это знаю.

– Вы это знаете лишь с той минуты, как я имел честь вам это сообщить.

– Нет. Я знал об этом раньше.

Холодный тон Мариуса, дважды произнесенное «я это знаю», суровый лаконизм его ответов всколыхнули в незнакомце глухой гнев. Он украдкой метнул в Мариуса бешеный взгляд, но тут же притушил его. Как ни молниеносен был этот взгляд, он не ускользнул от Мариуса; такой взгляд, однажды увидев, невозможно забыть. Подобное пламя может разгореться лишь в низких душах; им вспыхивают зрачки – эти оконца мысли; даже очки ничего не скроют, – попробуйте загородить стеклом преисподнюю.

Неизвестный возразил, улыбаясь:

– Не смею противоречить, господин барон. Во всяком случае, вам должно быть ясно, что я хорошо осведомлен. А то, что я хочу сообщить вам теперь, известно лишь мне одному. Это касается состояния госпожи баронессы. Это жуткая тайна. Она продается. Я ее предлагаю вам первому. Очень дешево. За двадцать тысяч франков.

– Мне известна эта тайна так же, как и другие, – сказал Мариус.

Незнакомец почувствовал, что должен немного сбавить цену.

– Господин барон! Выложите десять тысяч франков, и я ее открою.

– Повторяю, вам нечего мне сообщить. Я знаю, что вы хотите сказать.

В глазах человека снова загорелся огонь. Он вскричал:

– Но надо же мне пообедать нынче! Это жуткая тайна, уверяю вас. Господин барон! Я скажу. Я уже говорю. Дайте мне двадцать франков.

Мариус пристально посмотрел на него.

– Я знаю вашу «жуткую» тайну так же, как знал имя Жана Вальжана, как знаю и ваше имя.

– Мое имя?

– Да.

– Это нетрудно, господин барон. Я имел честь подписать свою фамилию и назвать ее. Я Тенар.

– …дье.

– Как?

– Тенардье.

– Это кто такой?

В минуту опасности дикобраз топорщит свои иглы, жук-скарабей притворяется мертвым, старая гвардия строится в каре, а этот человек разразился смехом.

Вслед за тем он счистил щелчком пылинку с рукава своего сюртука.

Мариус продолжал:

– Вы также рабочий Жондрет, комический актер Фабанту, поэт Жанфло, испанец дон Альварес и, наконец, тетушка Бализар.

– Тетушка? Что такое?

– И у вас была харчевня в Монфермейле.

– Харчевня? Никогда.

– Я говорю вам, что вы Тенардье.

– Я это отрицаю.

– И что вы негодяй. Берите! Вынув из кармана банковый билет, Мариус швырнул его в лицо незнакомцу.

– Благодарю! Извините! Пятьсот франков! Господин барон!

Пораженный, продолжая кланяться, незнакомец подхватил билет и осмотрел его.

– Пятьсот франков! – повторил он, не веря своим глазам, и, заикаясь, пробормотал: – Солидный куш!

– Ладно, была не была! – воскликнул он внезапно. – Ну-ка, вздохнем посвободней.

С проворством обезьяны откинув волосы со лба, сорвав очки, вытащив из носа и тут же упрятав куда-то две трубочки из перьев, о которых мы упоминали, – читатель уже ознакомился с ними на другой странице нашей книги, – этот человек снял с себя личину так же просто, как снимают шляпу.

Глаза его заблестели, шишковатый, изрытый отвратительными морщинами лоб разгладился, нос вытянулся и стал острым, как клюв; снова выступил свирепый, хитрый профиль хищника.

– Господин барон весьма проницателен. – Я Тенардье, – сказал он резким, без малейшего следа гнусавости голосом и выпрямил свою сгорбленную спину.

Тенардье, – ибо, конечно, это был он, – не мог оправиться от изумления; он даже смутился бы, если был бы способен на это. Он пришел удивить, а был удивлен сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, нисколько не уменьшило его растерянности.

Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси, а барон Понмерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Тенардье, но, казалось, и в курсе дел Жана Вальжана. Кто же этот человек, такой молодой, почти юнец, такой суровый и такой великодушный, который, зная имена людей, – даже все их клички, – вместе с тем щедро открывает им свой кошелек, изобличает мошенников, как судья, и платит им, как простофиля?

Читатель помнит, что хотя Тенардье и был одно время соседом Мариуса, однако никогда его не видел, что нередко случается в Париже; он только слышал краем уха, что дочери упоминали об очень бедном молодом человеке, по имени Мариус, жившем в их доме. Он написал ему известное читателю письмо, не зная его в лицо. В мыслях Тенардье не могло возникнуть никакой связи между Мариусом и г-ном бароном Понмерси.

Что же до имени Понмерси, то на поле битвы под Ватерлоо он расслышал лишь два его последних слога – «мерси», к которым всегда испытывал законное презрение, как к ничего не стоящей благодарности.

Впрочем, при помощи своей дочери Азельмы, следившей по его приказу за новобрачными со дня свадьбы, и путем расследований, произведенных им самим, ему удалось кое-что разузнать; оставаясь в тени, он добился того, что распутал немало таинственных нитей. Благодаря своей ловкости он открыл, или попросту, идя от заключения к заключению, догадался, кто был человек, встреченный им однажды в Главном водостоке. От человека он без труда добрался до имени. Он узнал, что баронесса Понмерси и есть Козетта. Но здесь он решил действовать осмотрительно. Кто такая Козетта? В точности он и сам не знал. Он предполагал, конечно, что она незаконнорожденная, – история Фантины всегда казалась ему подозрительной. Но какая ему корысть говорить об этом? Чтобы ему уплатили за молчание? Он полагал, что мог продать кое-что получше. Вдобавок, судя по всему, явиться к барону Понмерси, не имея доказательств, с разоблачением, вроде: «Ваша жена незаконнорожденная», значило бы лишь нарваться на удар сапогом в зад.

С точки зрения Тенардье, разговор его с Мариусом еще и не начинался. Правда, ему приходилось отступать, менять стратегию, оставлять позиции, перемещать фронт, однако ничто существенное еще не было выдано, а пятьсот франков уже лежали в кармане. Кроме того, он собирался сообщить нечто совершенно бесспорное и чувствовал свою силу даже перед этим бароном Понмерси, так хорошо осведомленным и так хорошо вооруженным. Для натур, подобных Тенардье, всякий разговор – сражение. Какую выбрать позицию в том бою, который он решился завязать? Он не знал, с кем говорит, но знал, о чем говорит. Молниеносно произвел он этот внутренний смотр своим силам и после слов «Я Тенардье» выжидающе замолчал.

Мариус стоял в раздумье. Итак, он нашел наконец Тенардье. Человек, которого он так страстно желал отыскать, был здесь. Он может, следовательно, выполнить наказ полковника Понмерси. Его унижало сознание, что герой был чем-то обязан бандиту и что вексель, переданный отцом ему, Мариусу, из глубины могилы, до сих пор еще не погашен. При его сложном и противоречивом отношении к Тенардье ему представлялось также, что тем самым он отплатит за отца, имевшего несчастье быть спасенным таким мерзавцем. Как бы там ни

было, он чувствовал удовлетворение. Наконец-то он мог освободить тень полковника от столь недостойного кредитора; ему казалось, будто он выводит из долговой тюрьмы память о своем отце.

Кроме этой обязанности, на нем лежала и другая: пролить свет, если удастся, на источник богатства Козетты. Такой случай как будто представлялся. Возможно, Тенардье было что-нибудь известно об этом. Узнать, что именно он разведал, могло оказаться полезным. С этого и начал Мариус.

Тенардье упрятал «солидный куш» в свой жилетный карман и вперил в Мариуса ласковый, почти нежный взгляд.

– Тенардье! Я сказал вам ваше имя. Теперь насчет тайны, которую вы собирались мне сообщить. Хотите, я скажу вам ее? У меня тоже есть сведения. Вы сейчас убедитесь, что я знаю больше вашего. Жан Вальжан, как вы сказали, убийца и вор. Вор потому, что ограбил богатого фабриканта, господина Мадлена, совершенно его разорив. Убийца потому, что убил полицейского агента Жавера.

– Что-то не пойму, господин барон, – сказал Тенардье.

– Сейчас поймете. Слушайте. В округе Па-де-Кале около тысяча восемьсот двадцать второго года жил человек, который в прошлом был не в ладах с правосудием и который, под именем господина Мадлена, исправился и восстановил свое доброе имя. Человек этот стал в полном смысле слова праведником. Основав промышленное заведение, фабрику мелких изделий из черного стекла, он поднял благосостояние целого города. Он и сам приобрел состояние, но уже потом и, так сказать, случайно. Он был благодетелем и кормильцем бедноты. Он основывал больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданое девушкам, оказывал помощь вдовам, усыновлял сирот; он стал как бы опекуном этого города. Он отказался от ордена Почетного легиона; его избрали мэром. Один отбывший срок каторжник знал о совершенном некогда преступлении этого человека. Он донес на него и, добившись его ареста, воспользовался этим, чтобы самому отправиться в Париж и получить в банкирском доме Лафита – я знаю это со слов кассира – по чеку с подложной подписью сумму, превышающую полмиллиона франков, которая принадлежала господину Мадлену. Каторжник, обокравший господина Мадлена, и есть Жан Вальжан. Теперь насчет второго дела. О нем вы тоже не сообщите мне ничего нового. Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера; убил его выстрелом из пистолета. Я сам при этом присутствовал.

Тенардье бросил на Мариуса торжествующий взгляд; он был уверен, что вновь держит в руках исход битвы и в один миг может отвоевать утраченные позиции. Однако тут же угодливо улыбнулся: низшему надлежит сохранять смирение даже одержав победу, и Тенардье ограничился тем, что сказал Мариусу:

– Вы на ложном пути, господин барон.

Он подчеркнул эту фразу, выразительно побренчав связкой брелоков.

– Как? – возразил Мариус. – Вы станете это оспаривать? Но это факты.

– Это чистая фантазия. Доверие, которым почтил меня господин барон, обязывает меня сказать ему это. Истина и справедливость прежде всего. Я не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Господин барон! Жан Вальжан вовсе не обкрадывал господина Мадлена, и Жан бальжан вовсе не убивал Жавера.

– Вот это, я понимаю, открытие! Как же так?

– Я могу привести два довода.

– Какие же? Говорите!

– Вот вам первый: он не обокрал господина Мадлена, потому что сам Жан Вальжан и есть господин Мадлен.

– Что за вздор вы мелете?

– А вот и второй: он не убивал Жавера, потому что убил Жавера сам Жавер.

– Что вы хотите сказать?

– Что Жавер покончил самоубийством.

– Докажите! Докажите! – сне себя вскричал Мариус.

Тенардье, скандируя фразу на манер античного александрийского стиха, продолжал:

– Жавер – агент – полиции – найден – утонувшим – под – баркой – у – моста – Менял.

– Докажите же!

Тенардье вынул из бокового кармана широкий конверт из серой бумаги, где лежали сложенные листки самого разного формата.

– Вот мои документы, – сказал он гордо и продолжал: – Господин барон! В ваших интересах я постарался разузнать о Жане Вальжане все досконально. Я утверждаю, что Жан Вальжан и Мадлен – одно и то же лицо, и я утверждаю, что Жавера никто не убивал, кроме самого Жавера. А раз утверждаю, значит имею доказательства. И доказательства не рукописные, так как письмо не внушает доверия, его можно легко подделать – мои доказательства напечатаны.

С этими словами Тенардье извлек из конверта два пожелтевших номера газеты, выцветших и пропахших табаком.

Одна из этих газет, протертая на сгибах и распавшаяся на квадратные обрывки, казалась более старой, чем другая.

– Два дела, два доказательства, – заметил Тенардье и протянул Мариусу обе развернутые газеты.

Читателю знакомы эти газеты. Одна, более давняя, номер Белого знамени от 25 июля 1823 года, выдержки из которой можно прочесть во второй части этого романа, устанавливала тождество господина Мадлена и Жана Вальжана. Другая, Монитер от 15 июня 1832 года, удостоверяла самоубийство Жавера, присовокупляя, что, как явствует из устного доклада, сделанного Жавером префекту, он, будучи захвачен в плен на баррикаде, на улице Шанврери, был обязан своим спасением великодушию одного из мятежников, который, взяв его на прицел, выстрелил в воздух, вместо того чтобы пустить ему пулю в лоб.

Мариус прочел. Перед ним были точные даты, неоспоримые, неопровержимые доказательства. Не могли же два номера газеты быть напечатаны нарочно, для подтверждения россказней Тенардье! Заметка, опубликованная в Монитере, являлась официальным сообщением полицейской префектуры. У Мариуса не осталось сомнений. Сведения кассира оказались неверными, а сам он был введен в заблуждение. Образ Жана Вальжана, внезапно выросший, словно выступил из мрака. Мариус не мог сдержать радостный крик:

– Но, значит, этот несчастный – превосходный человек! Значит, все это богатство действительно принадлежит ему! Это Мадлен – провидение целого края! Это Жан Вальжан – спаситель Жавера! Это герой! Это святой!

– Он не святой и не герой. Он убийца и вор, – сказал Тенардье и тоном человека, который начинает чувствовать свой вес, прибавил: – Спокойствие!

Мариус снова услыхал эти слова: «вор, убийца», с которыми, казалось, было уже покончено: его как будто окатили ледяной водой.

– Опять! – воскликнул он.

– Да, опять, – сказал Тенардье. – Жан Вальжан не обокрал Мадлена, но он вор, не убил Жавера, но он убийца.

– Вы говорите о той ничтожной краже, совершенной сорок лет назад, которая искуплена, как явствует из ваших же газет, целой жизнью, полной раскаяния, самоотвержения и добродетели?

– Я говорю об убийстве и воровстве, господин барон. И, повторяю, говорю о совсем недавних событиях. То, что я хочу вам открыть, никому еще не известно. Это нигде не напечатано. Быть может, здесь-то вы и найдете источник богатств, которые Жан Вальжан ловко подсунул госпоже баронессе. Я говорю «ловко», потому что втереться при помощи такого подношения в почтенное семейство, делить с ним довольство, утаить тем самым свое преступление, пользоваться плодами кражи, скрыть свое имя и приобрести себе родню, – это, что ни говори, ловкая штука.

– Я мог бы прервать вас здесь, – заметил Мариус, – однако продолжайте.

– Господин барон! Я выложу все и предоставлю вам вознаградить меня, как подскажет ваше великодушие. Эту тайну надо ценить на вес золота. «Почему же ты не обратился к Жану Вальжану?» – спросите вы. Да по самой простой причине: я знаю, что он отказался от всего и отказался в вашу пользу. Я нахожу, что это хитро придумано. Но больше у него нет ни гроша, он мне вывернет пустые карманы. А так как мне нужны деньги для поездки в Жуайю, я предпочитаю обратиться к вам: у вас есть все, у него ничего нет. Я немного устал, разрешите мне сесть.

Мариус сел сам и подал ему знак сесть.

Тенардье, опустившись на мягкий стул, взял обе газеты, вложил их снова в конверт и пробормотал, постукивая пальцем по Белому знамени:

– Не так-то легко было заполучить эту бумажонку.

Потом, заложив нога за ногу и откинувшись на спинку стула, – поза, свойственная людям, уверенным в себе, – он с важностью начал, подчеркивая отдельные слова:

– Господин барон! Шестого июня тысяча восемьсот тридцать второго года, примерно год назад, в самый день мятежа, один человек находился в Главном водостоке парижской клоаки, с той стороны, где водосток выходит на Сену, между мостом Инвалидов и Иенским мостом.

Мариус внезапно придвинул свой стул ближе к Тенардье. Тот заметил это движение и продолжал с медлительностью оратора, который овладел вниманием слушателя и чувствует, как трепещет сердце противника под ударами его слов:

– Человек этот, вынужденный скрываться по причинам, впрочем, совершенно чуждым политике, избрал клоаку своим жилищем и имел от нее ключ. Повторяю: это случилось шестого июня, вероятно, около восьми часов вечера. Человек услышал шум в водостоке. Очень удивленный, он прижался к стене и стал прислушиваться. Это были шаги; кто-то пробирался в темноте, кто-то шел в его сторону. Странное дело! В водостоке, кроме него, оказался еще один человек. Решетка выходного отверстия находилась неподалеку. Слабый свет, проникавший через нее, позволил ему узнать этого человека и увидеть, что он что-то нес на спине и шел согнувшись. Тот, кто шел согнувшись, был беглый каторжник, а то, что он тащил на плечах, был труп. Убийца, захваченный с поличным, если здесь имело место убийство. Ну, а насчет ограбления, то это само собой разумеется. Задаром человека не убивают. Каторжник собирался бросить труп в реку. И вот что стоит отметить: чтобы добраться до выходной решетки, каторжник, пройдя через всю клоаку, не мог миновать ужасную трясину, куда, казалось бы, мог сбросить труп. Чистильщики клоаки на другой же день нашли бы убитого, а это не входило в расчет убийцы. Он предпочел перейти через топь со своей тяжелой ношей, хотя это стоило ему, должно быть, страшных усилий; большего риска для жизни невозможно себе представить. Не могу понять, как он выбрался оттуда живым.

Мариус придвинул стул еще ближе, Тенардье воспользовался этим, чтобы перевести дух. Затем продолжал:

– Господин барон! Клоака – не Марсово поле. Там всего в обрез, даже места. Если двое попадают туда, они неизбежно должны встретиться. Так оно и произошло. Старожил этих мест и прохожий, к крайнему своему неудовольствию, должны были столкнуться. Прохожий сказал старожилу: «Ты видишь, что у меня на спине, мне надо отсюда выйти; у тебя есть ключ, дай

его мне». Этот каторжник – человек непомерной силы. Отказывать ему нечего было и думать. Тем не менее обладатель ключа вступил с ним в переговоры, единственно затем, чтобы выиграть время. Он оглядел мертвеца, но мог определить только, что тот молод, хорошо одет, с виду богат и весь залит кровью. Во время разговора он ухитрился незаметно для убийцы оторвать сзади лоскут от платья убитого. Вещественное доказательство, знаете ли, – средство напасть на след и заставить преступника сознаться в преступлении. Это вещественное доказательство человек спрятал в карман. Затем он отпер решетку, выпустил прохожего с его ношей за спиной, снова запер решетку и скрылся, вовсе не желая быть замешанным в это происшествие и в особенности не желая оказаться свидетелем того, как убийца будет бросать убитого в реку. Понятно вам теперь? Тот, кто нес труп, был Жан Вальжан; хозяин ключа беседует с вами в эту минуту; а лоскут от платья…

Не закончив фразу, Тенардье достал из кармана и поднял до уровня глаз зажатый между большими и указательными пальцами изорванный, весь в темных пятнах, обрывок черного сукна.

Устремив глаза на этот лоскут, с трудом переводя дыхание, бледный как смерть, Мариус поднялся и, не произнося ни слова, не спуская глаз с этой тряпки, отступил к стене; протянув назад правую руку, он стал шарить по стене возле камина, нащупывая ключ в замочной скважине стенного шкафа. Он нашел ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку; его растерянный взгляд не отрывался от лоскута в руках Тенардье.

Между тем Тенардье продолжал:

– Господин барон! У меня есть веское основание думать, что убитый молодой человек был богатым иностранцем, который имел при себе громадную сумму денег, и что Жан Вальжан заманил его в ловушку.

– Этот молодой человек был я, а вот и сюртук! – вскричал Мариус, бросив на пол старый окровавленный черный сюртук.

Выхватив из рук Тенардье лоскут, он нагнулся и приложил к оборванной поле сюртука кусок сукна. Тот кусок пришелся к месту, и теперь пола казалась целой.

Тенардье остолбенел от неожиданности. Он успел только подумать: «Эх, сорвалось!»

Мариус выпрямился, весь дрожа, охваченный и отчаяньем и радостью.

Он порылся у себя в кармане, в бешенстве шагнул к Тенардье и поднес к самому его лицу кулак с зажатыми в нем пятисотфранковыми и тысячефранковыми билетами.

– Вы подлец! Вы лгун, клеветник, злодей! Вы хотели обвинить этого человека, но вы его оправдали; хотели его погубить, но добились только того, что его возвеличили. Это вы вор! И это вы убийца! Я вас видел, Тенардье-Жондрет, в том самом логове на Госпитальном бульваре. Я знаю достаточно, чтобы упечь вас на каторгу, а если бы пожелал, то и дальше. Нате, вот вам тысяча, мерзавец вы этакий!

Он швырнул Тенардье тысячефранковый билет.

– А, Жондрет-Тенардье, подлый плут! Пусть это послужит вам уроком, продавец чужих секретов, торговец тайнами, гробокопатель, презренный негодяй? Берите еще пятьсот франков и убирайтесь вон! Вас спасает Ватерлоо.

– Ватерлоо? – проворчал пораженный Тенардье, распихивая по карманам билеты в пятьсот и тысячу франков.

– Да, бандит! Вы спасли там жизнь полковнику…

– Генералу, – поправил Теиардье, вздернув голову.

– Полковнику! – запальчиво крикнул Мариус. – За генерала я не дал бы вам ни гроша. И вы еще посмели прийти сюда бесчестить других? Нет преступления, какого бы вы не совершили. Уходите прочь! Скройтесь с моих глаз! И будьте счастливы – вот все, чего я вам желаю. А, изверг! Вот вам еще три тысячи франков. Держите. Завтра же вы уедете в Америку,

вдвоем с вашей дочерью, так как жена ваша умерла, бессовестный враль! Я прослежу за вашим отъездом, разбойник, и перед тем, как вы уедете, отсчитаю вам еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь, пусть вас повесят где-нибудь в другом месте!

– Господин барон! – сказал Жондрет, поклонившись до земли. – Я век буду вам благодарен.

Он вышел, ничего не соображая, изумленный и восхищенный, раздавленный отрадным грузом свалившегося на него богатства и этой нежданно разразившейся грозой, осыпавшей его банковыми билетами.

Правда, он был повержен, но вместе с тем ликовал; было бы досадно, если бы при нем оказался громоотвод против подобных гроз.

Покончим тут же с этим человеком. Через два дня после описанных здесь событий он, с помощью Мариуса, выехал под чужим именем в Америку вместе с дочерью Азельмой, увозя в кармане переводной вексель на двадцать тысяч франков, адресованный банкирскому дому в Нью-Йорке. Подлость этого неудавшегося буржуа Тенардье была неизлечимой; в Америке, как и в Европе, он остался верен себе. Дурному человеку достаточно иметь касательство к доброму делу, чтобы все погубить, обратив добро во зло. На деньги Мариуса Тенардье стал работорговцем.

Не успел Тенардье выйти из дому, как Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Козетта.

– Козетта! Козетта! – закричал он. – Идем, идем скорее! Едем. Баск, фиакр! Идем, Козетта. Ах, боже мой! Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Накинь свою шаль.

Козетта подумала, что он сошел с ума, но повиновалась.

Он задыхался, он прижимал руки к сердцу, чтобы сдержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами, он обнимал Козетту.

– Ах, Козетта! Какой я негодяй! – твердил он.

Мариус потерял голову. Он начинал прозревать в Жане Вальжане человека возвышенной души. Перед ним предстал образ беспримерной добродетели, образ высокий и кроткий, смиренный при всем его величии. Каторжник преобразился в святого. Мариус был ослеплен этим чудесным превращением. Он не давал себе полного отчета в своих чувствах – он знал только, что увидел нечто великое.

Спустя минуту фиакр был у дверей. Мариус помог сесть Козетте и быстро сел сам.

– Живей! – сказал он кучеру. – Улица Вооруженного человека, дом семь.

Фиакр покатился.

– Ах, какое счастье! – воскликнула Козетта. – Улица Вооруженного человека. Я не смела тебе о ней говорить. Мы едем к господину Жану.

– К твоему отцу! Он теперь больше чем когда-либо твой отец, Козетта! Козетта, я догадываюсь. Ты говорила, что так и не получила моего письма, посланного с Гаврошем. Должно быть, оно попало ему в руки, Козетта, и он пошел на баррикаду, чтобы меня спасти. Его призвание – быть ангелом-хранителем, поэтому он спасал и других; он спас Жавера. Он извлек меня из пропасти, чтобы отдать тебе. Он нес меня на спине по этому ужасному водостоку. Ах, я неблагодарное чудовище! Козетта! Он был твоим провидением, а потом стал моим. Вообрази только, что там, в клоаке, была страшная трясина, где можно было сто раз утонуть. Слышишь, Козетта? Утонуть в грязи! И он перенес меня через нее. Я был в обмороке, я ничего не видел, не слышал, ничего не знал о том, что приключилось со мною. Мы его сейчас увезем, заберем с собой, и, хочет не хочет, больше он с нами не разлучится. Только бы он был дома! Только бы нам застать его! Я буду молиться на него до конца моих дней. Да, Козетта, видишь ли, все именно так и было. Это ему передал Гаврош мое письмо. Теперь все объяснилось. Понимаешь?

Козетта ничего не понимала.

– Ты прав, – сказала она.

Экипаж катился вперед.

Глава пятая.
Ночь, за которой брезжит день

Услышав стук в дверь, Жан Вальжан обернулся.

– Войдите, – сказал он слабым голосом.

Дверь распахнулась. На пороге появились Козетта и Мариус.

Козетта бросилась в комнату.

Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери.

– Козетта! – произнес Жан Вальжан и, протянув ей навстречу дрожащие руки, выпрямился в кресле, взволнованный, мертвенно-бледный, с выражением беспредельной радости во взоре.

Задыхаясь от волнения, Козетта припала к груди Жана Вальжана.

– Отец! – сказала она.

Жан Вальжан, потрясенный, невнятно повторял:

– Козетта! Она! Вы, сударыня! Это ты! О господи! – И, ощутив объятия Козетты, вскричал: – Это ты! Ты здесь! Значит, ты меня прощаешь!

Мариус, полузакрыв глаза, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и прошептал, подавляя рыдания:

– Отец мой!

– И вы, и вы тоже прощаете меня! – сказал Жан Вальжан.

Мариус не мог вымолвить ни слова.

– Благодарю вас, – добавил Жан Вальжан.

Козетта сорвала с себя шаль и бросила на кровать шляпку.

– Мне это мешает, – сказала она.

Усевшись на колени к старику, она осторожно откинула его седые волосы и поцеловала в лоб.

Жан Вальжан, совершенно растерянный, не противился.

Понимая лишь очень смутно, что происходит, Козетта усилила свои ласки, как бы желая уплатить долг Мариуса.

Жан Вальжан шептал:

– Как человек глуп! Ведь я воображал, что не увижу ее больше. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе: «Все кончено. Вот ее детское платьице, а я, несчастный, никогда уже не увижу Козетту». Я говорил это в ту самую минуту, когда вы поднимались по лестнице. Ну не глупец ли я был? Вот как слепы люди! Они не принимают в расчет милосердия божьего. А милосердный господь говорит: «Ты думаешь, что все тебя покинули, бедняга? Да не будет так! Я знаю, что тут есть бедный старик, которому нужен ангел-утешитель». И ангел приходит, и человек узнает свою Козетту. Он снова видит свою маленькую Козетту! Ах, как я был несчастен!

Он замолк на мгновение, потом продолжал:

– Мне, право же, необходимо было видеть Козетту время от времени, хотя бы на миг. Видите ли, сердцу тоже надо поглодать косточку. И вместе с тем я чувствовал, что я лишний. Я убеждал себя: «Ты им не нужен, оставайся в своем углу, ты не имеешь права надоедать им вечно». Слава богу, я снова вижу ее! Знаешь, Козетта, у тебя очень красивый муж. Что за славный вышитый воротничок на тебе, носи его на здоровье! Мне нравится этот рисунок. Это твой муж выбирал, правда? Но тебе нужны кашемировые шали. Господин Понмерси! Позвольте мне говорить ей «ты». Это ненадолго.

А Козетта журила его:

– Как дурно с вашей стороны, что вы нас покинули! Куда же вы уезжали? Почему так надолго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех-четырех дней. Я посылала Николетту, а ей всегда отвечали: «Его нет». Когда вы вернулись? Почему не известили нас? А знаете, вы ведь очень изменились. Как вам не стыдно, отец! Вы были больны, а мы и не знали! Посмотри, Мариус, тронь его руку, какая она холодная!

– Итак, вы пришли! Значит, вы меня прощаете, господин Понмерси? – повторил Жан Вальжан.

При этих словах, сказанных Жаном Вальжаном уже во второй раз, все, что переполняло сердце Мариуса, вырвалось наружу, и он вскричал:

– Слышишь, Козетта? Он опять о том же, он все просит у меня прощения! А знаешь, чем он виноват передо мной, Козетта? Он спас мне жизнь. Он сделал больше: дал мне тебя. А после того как он спас меня и дал мне тебя, знаешь, что он сделал с самим собой? Он принес себя в жертву. Вот что это за человек. И мне, неблагодарному, мне, забывчивому, мне, бессердечному, мне, виноватому, он говорит: «Благодарю вас». Козетта! Провести всю мою жизнь у ног этого человека, и то было бы мало. Все, и баррикаду, и водосток, эту огненную печь, эту клоаку, – через все он прошел ради меня, ради тебя, Козетта! Он пронес меня сквозь тысячу смертей, оберегая меня от них и подставляя им свою грудь. Все, что есть на свете мужественного, добродетельного, героического, святого, – все в нем! Козетта, он ангел!

– Тише, тише! – прошептал Жан Вальжан. – К чему говорить об этом?

– Ну, а вы! – вскричал Мариус гневно и вместе с тем почтительно. – Почему вы ничего не говорили? В этом и ваша вина. Вы спасаете людям жизнь и скрываете это от них. Более того, под предлогом разоблачения вы клевещете сами на себя. Это ужасно!

– Я сказал правду, – заметил Жан Вальжан.

– Нет, – возразил Мариус, – правда – это правда до конца, а вы всего не сказали. Вы были господином Мадленом, почему вы не сказали этого? Вы спасли Жавера, почему вы не сказали этого? Я вам обязан жизнью, почему вы не сказали этого?

– Потому что я думал, как и вы. Я находил, что вы правы. Я должен был уйти. Если бы вы знали насчет клоаки, вы заставили бы меня остаться с вами. Значит, я должен был молчать. Если бы я сказал, это стеснило бы всех.

– Чем стеснило? Кого стеснило? – возмутился Мариус. – Не воображаете ли вы, что останетесь здесь? Мы вас увозим. О боже! Подумать только, что обо всем я узнал случайно! Мы вас увозим. Вы и мы – одно целое, неразделимое. Вы ее отец, и мой также. Ни единого дня вы не останетесь больше в этом ужасном доме. И не думайте, будто завтра вы еще будете здесь.

– Завтра, – сказал Жан Вальжан, – меня не будет здесь, но не будет и у вас.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Мариус. – Ну нет, мы не разрешим вам уехать. Вы не расстанетесь с нами больше. Вы принадлежите нам. Мы вас не отпустим.

– На этот раз уж мы не шутим, – добавила Козетта. – У нас внизу экипаж. Я вас похищаю. И если понадобится, применю силу.

Смеясь, она сделала вид, будто поднимает старика.

– Ваша комната все еще ожидает вас, – продолжала она. – Если бы вы знали, как красиво сейчас в саду! Азалии так чудесно цветут! Все аллеи посыпаны речным песком, и в нем попадаются лиловые ракушки. Вы отведаете моей клубники. Я сама ее поливаю. И чтобы не было больше ни «сударыни», ни «господина Жана»! Мы живем в Республике, все говорят друг другу «ты», правда, Мариус? Политическая программа изменилась. Какое горе у меня стряслось, отец, если бы вы знали! В трещине, на стене, свил себе гнездышко реполов, а противная кошка съела его. Бедная моя хорошенькая птичка! Она высовывала головку из

гнезда и глядела на меня. Я так плакала о ней! Я просто убила бы эту кошку! Но сейчас никто больше не плачет. Все смеются, все счастливы. Вы поедете с нами. Как будет доволен дедушка! Мы отведем вам особую грядку в саду, вы возделаете ее, и тогда посмотрим, будет ли ваша клубника вкуснее моей. Я обещаю делать все, что вы хотите, только и вы должны меня слушаться.

Жан Вальжан слушал ее и не слышал. Он слушал музыку ее голоса, но не понимал смысла ее слов; крупные слезы – таинственные жемчужины души – медленно навертывались на его глаза. Он прошептал:

– Вот доказательство, что господь милосерд: она здесь.

– Отец! – сказала Козетта.

Жан Вальжан продолжал:

– Правда, как было бы прекрасно жить вместе! На деревьях там полно птиц. Я гулял бы с Козеттой. Так радостно быть среди живых, здороваться друг с другом, перекликаться в саду. Быть вместе с самого утра. Каждый бы возделывал свой уголок в саду. Она угощала бы меня клубникой, я давал бы ей срывать розы. Это было бы восхитительно. Только…

Он остановился и тихо сказал:

– Как жаль!

Жан Вальжан удержал слезу и улыбнулся.

Козетта сжала руки старика в своих руках.

– Боже мой! – воскликнула она. – Ваши руки стали еще холоднее! Вы нездоровы? Вам больно?

– Я? Нет, – ответил Жан Вальжан, – мне очень хорошо. Только…

Он замолчал.

– Только что?

– Я сейчас умру.

Козетта и Мариус содрогнулись.

– Умрете? – вскричал Мариус.

– Да, но это ничего не значит, – сказал Жан Вальжан.

Он вздохнул, улыбнулся и заговорил снова:

– Козетта! Ты мне рассказывала, продолжай, говори еще. Стало быть, маленькая птичка умерла. Говори, я хочу слышать твой голос!

Мариус глядел на старика, словно окаменев.

Козетта испустила душераздирающий вопль:

– Отец! Отец мой! Вы будете жить! Вы должны жить! Я хочу, чтобы вы жили, слышите?

Жан Вальжан, подняв голову, с обожанием глядел на Козетту.

– О да, запрети мне умирать! Кто знает? Быть может, я послушаюсь тебя. Я уже умирал, когда вы пришли. Это меня остановило, мне показалось, что я оживаю.

– Вы полны жизни и сил! – воскликнул Мариус. – Неужели вы думаете, что люди умирают вот так, сразу? У вас было горе, оно прошло, все миновало. Это я должен просить у вас прощенья, и я прошу его на коленях! Вы будете жить, жить с нами, жить долго. Мы вас берем с собой. У нас обоих будет отныне одна мысль – о вашем счастье!

– Ну вот, видите, – сказала Козетта вся в слезах, – Мариус тоже говорит, что вы не умрете.

Жан Вальжан улыбался.

– Если вы и возьмете меня к себе, господин Понмерси, разве я перестану быть тем, что я есть? Нет. Господь рассудил так же, как я и вы, а он не меняет решений; надо, чтобы я ушел. Смерть – прекрасный выход из положения. Бог лучше нас знает, что нам надобно. Пусть

господин Понмерси будет счастлив с Козеттой, пусть молодость соединится с ясным утром, пусть радуют вас, дети мои, сирень и соловьи, пусть жизнь ваша будет залита солнцем, как цветущий луг, пусть все блаженство небес снизойдет в ваши души. а я ни на что больше не нужен, я умру; так надо, и это хорошо. Поймите, будем благоразумны, ничего нельзя поделать, я чувствую, что все кончено. Час назад у меня был обморок. А сегодня ночью я выпил весь этот кувшин воды. Какой добрый у тебя муж, Козетта! Тебе с ним гораздо лучше, чем со мной.

У дверей послышались шаги. Вошел доктор.

– Здравствуйте и прощайте, доктор! – сказал Жан Вальжан. – Вот мои бедные дети.

Мариус подошел к врачу. Он обратился к нему с одним словом: «Сударь…», но в тоне, каким оно было произнесено, заключался безмолвный вопрос.

На этот вопрос доктор ответил выразительным взглядом.

– Если нам что-либо не по душе, – молвил Жан Вальжан, – это еще не дает права роптать на бога.

Наступило молчание. У всех сжалось сердце.

Жан Вальжан обернулся к Козетте. Он вглядывался в нее так напряженно, словно хотел унести ее образ в вечность. В темной глубине, куда он уже спустился, ему все еще доступно было чувство восхищения Козеттой. На бледном его челе словно лежало светлое отражение ее нежного личика. И у могилы есть свои радости.

Доктор пощупал ему пульс.

– А, так это по вас он тосковал! – проговорил он, глядя на Козетту и Мариуса. И, наклонившись к уху Мариуса, тихо добавил: – Слишком поздно.

Жан Вальжан, на миг оторвавшись от Козетты, окинул ясным взглядом Мариуса и доктора. Из уст его чуть слышно излетели слова:

– Умереть – это ничего; ужасно – не жить.

Вдруг он встал. Такой прилив сил нередко бывает признаком начавшейся агонии. Уверенным шагом ой подошел к стене, отстранив Мариуса и врача, желавших ему помочь, снял со стены маленькое медное распятие и, легко передвигаясь, точно здоровый человек, снова сел в кресло, положил распятие на стол и внятно произнес:

– Вот великий страдалец!

Потом плечи его опустились, голова склонилась, словно в забытьи, а сложенные на коленях руки стали царапать ногтями материю.

Козетта, поддерживая его за плечи, плакала, пыталась говорить с ним, но не могла. Среди скорбных рыданий можно было уловить лишь отдельные слова:

– Отец! Не покидайте нас! Неужели мы нашли вас только для того, чтобы снова потерять?

Агония как бы ведет умирающего извилистой тропой: вперед, назад, то ближе к могиле, то обратно к жизни. Он движется навстречу смерти точно ощупью.

Жан Вальжан оправился после этого полузабытья, встряхнул головой, точно сбрасывая нависшие над ним тени, к нему почти вернулось ясное сознание. Приподняв край рукава Козетты, он поцеловал его.

– Он оживает! Доктор, он оживает! – вскричал Мариус.

– Вы оба так добры! – сказал Жан Вальжан. – Я скажу вам, что меня огорчало. Меня огорчало то, господин Понмерси, что вы не захотели трогать эти деньги. Они правда принадлежат вашей жене. Я сейчас объясню вам все, дети мои, именно потому я так рад вас видеть. Черный гагат привозят из Англии, белый гагат – из Норвегии. Об этом сказано в той вон бумаге, вы ее прочтете. Я придумал заменить на браслетах кованые застежки литыми. Это красивее, лучше и дешевле. Вы понимаете, как много денег можно на этом заработать? Стало

быть, богатство Козетты принадлежит ей по праву. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны.

В приоткрытую дверь заглянула привратница. Хотя врач и велел ей уйти, но не мог помешать заботливой старухе крикнуть умирающему перед уходом:

– Не позвать ли священника?

– У меня он есть, – ответил Жан Вальжан и поднял палец, словно указывая на кого-то над своей головой, видимого только ему одному.

Быть может, и в самом деле епископ присутствовал при этом расставании с жизнью.

Козетта осторожно подложила ему за спину подушку.

Жан Вальжан заговорил снова:

– Господин Понмерси! Заклинаю вас, не тревожьтесь. Эти шестьсот тысяч франков действительно принадлежат Козетте. Если бы вы отказались от них, вся моя жизнь пропала бы даром! Мы достигли большого совершенства в этих стеклянных изделиях. Они могли соперничать с так называемыми «берлинскими драгоценностями». Ну можно ли равнять их с черным немецким стеклярусом? Целый гросс нашего, содержащий двенадцать дюжин отличных граненых бусин, стоит всего три франка.

Когда умирает дорогое нам существо, мы пристально смотрим на него, стараясь как бы приковать, как бы удержать его взглядом. Козетта и Мариус, взявшись за руки, стояли перед Жаном Вальжаном, онемев от горя, дрожащие, охваченные отчаянием.

Жан Вальжан слабел с каждой минутой. Он угасал, он клонился все ниже к закату. Дыхание стало неровным и прерывалось хрипом. Ему было трудно пошевелить рукой, ноги оцепенели. Но по мере того как росли слабость и бессилие, все яснее и отчетливее проступало на его челе величие души. Отблеск нездешнего мира уже мерцал в его глазах.

Улыбающееся лицо бледнело все больше. В нем замерла жизнь, но засветился некий свет. Дыхание слабело, взгляд становился глубже. Это был мертвец, за спиной которого угадывались крылья.

Он знаком подозвал Козетту, потом Мариуса. Наступали, видимо, последние минуты его жизни, и он заговорил слабым голосом, словно доносящимся издалека, – казалось, между ними воздвиглась стена.

– Подойди, подойдите оба. Я очень вас люблю. Хорошо так умирать! Ты тоже любишь меня, моя Козетта. Я знал, что ты всегда была привязана к твоему старику. Какая ты милая, положила мне за спину подушку! Ведь ты поплачешь обо мне немножко? Только не слишком долго. Я не хочу, чтобы ты горевала по-настоящему. Вам надо побольше развлекаться, дети мои. Я позабыл вам сказать, что на пряжках без шпеньков можно было больше заработать, чем на всем остальном. Гросс, двенадцать дюжин пряжек, обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Право же, это было выгодное дело. Поэтому вас не должны удивлять эти шестьсот тысяч франков, господин Понмерси. Это честно нажитые деньги. Вы можете со спокойной совестью пользоваться богатством. Вам надо завести карету, брать иногда ложу в театр, тебе нужны красивые бальные наряды, моя Козетта, вы должны угощать вкусными обедами ваших друзей и жить счастливо. Я сейчас писал об этом Козетте. Она найдет мое письмо. Ей я завещаю и два подсвечника, что на камине. Они серебряные, но для меня они из чистого золота, из брильянтов; простые свечи, вставленные в них, превращаются в алтарные. Не знаю, доволен ли мною там, наверху, тот, кто подарил мне их. Я сделал все, что мог. Дети мои! Не забудьте, что я бедняк, похороните меня где-нибудь в сторонке и положите на могилу камень, чтобы обозначить место. Такова моя последняя воля. Не надо никакого имени на камне. Если Козетте захочется иногда навестить меня, мне будет приятно. Это и к вам относится, господин Понмерси. Должен признаться, что я не всегда вас любил; простите меня за это. Теперь же она и вы для меня – одно. Я очень благодарен вам. Я чувствую, что вы

дадите счастье Козетте. Если бы вы знали, господин Понмерси, как радовали меня ее милые румяные щечки! Я огорчался, когда она становилась хоть чуточку бледнее. В ящике комода лежит пятисотфранковый билет. Я его не трогал. Это для бедных. Козетта! Видишь свое платьице вон там, на постели? Ты узнаешь его? А с тех пор прошло только десять лет. Как быстро летит время! Мы были так счастливы! Все кончено. Не плачьте, дети, я ухожу не так уж далеко, я вас увижу оттуда. А ночью, вы только вглядитесь в темноту – и вы увидите, как я вам улыбаюсь. Козетта! А ты помнишь Монфермейль? Тебя послали в лес, и ты очень боялась; помнишь, как я поднял за дужку ведро с водой? Тогда я в первый раз дотронулся до бедной твоей ручонки. Она была такая холодная! Ах, барышня, какие красные ручки были у вас тогда и какие беленькие теперь! А большая кукла! Помнишь ее? Ты назвала ее Катериной. Ты так жалела, что не могла взять ее с собой в монастырь! Как часто ты смешила меня, милый мой ангел! После дождя ты пускала по воде соломинки и смотрела, как они уплывают. Однажды я подарил тебе ракетку из ивовых прутьев и волан с желтыми, синими и зелеными перышками. Ты, верно, позабыла это. Маленькой ты была такая резвушка! Ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. И все это кануло в прошлое. И лес, где я проходил со своей девочкой, и деревья, под которыми мы гуляли, и монастырь, где мы скрывались, и игры, и веселый детский смех – все стало тенью. А я воображал, что все это принадлежит мне. Вот в чем моя глупость. Тенардье были злые люди. Надо им простить, Козетта! Пришло время сказать тебе имя твоей матери. Ее звали Фантина. Запомни это имя: Фантина. Становись на колени всякий раз, как будешь произносить его. Она много страдала. Она горячо любила тебя. Она была настолько же несчастна, насколько ты счастлива. Так положил господь бог. Он там, в вышине, среди светил, он всех нас видит и знает, что творит. Так вот, дети мои, я ухожу. Любите друг друга всегда. Любить друг друга – нет ничего на свете выше этого. Думайте иногда о бедном старике, который умер здесь. Козетта! Полно! Я не виноват, что все это время не видел тебя, это разбивало мне сердце; я доходил только до угла улицы, люди, должно быть, считали меня чудаком, я был похож на помешанного, один раз я даже вышел из дому без шапки. Дети мои! У меня темнеет в глазах, мне надо было еще многое сказать вам, но все равно. Вспоминайте обо мне иногда. Да будет на вас благословение божие! Не знаю, что со мной, я вижу свет. Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дорогие, любимые, дайте возложить руки на ваши головы.

Козетта и Мариус, полные отчаяния, задыхаясь от слез, опустились на колени и припали к его рукам. Но эти святые руки уже похолодели.

Он откинулся, его озарял свет двух подсвечников; бледное лицо глядело в небо, он не мешал Козетте и Мариусу покрывать его руки поцелуями; он был мертв.

Беззвездной, непроницаемо темной была ночь. Наверное, рядом, во мраке, стоял ангел с широко распростертыми крыльями, готовый принять отлетевшую душу.

Глава шестая.

Трава скрывает, дождь смывает

На кладбище Пер-Лашез, неподалеку от общей могилы, в стороне от нарядного квартала этого города усыпальниц, вдалеке от причудливых надгробных памятников, выставляющих перед лицом вечности отвратительные моды смерти, в уединенном уголке, у подножия старой стены, под высоким тисом, обвитым вьюнком, среди сорных трав и мхов лежит камень. Камень этот не меньше других поражен проказой времени: он покрыт плесенью, лишаями и птичьим пометом. Он позеленел от дождя и почернел от воздуха. Возле него нет ни одной тропинки; в эту сторону заходить не любят, – трава здесь высока и можно промочить ноги. Лишь только проглянет солнце, сюда сползаются ящерицы. Кругом шелестят стебли дикого овса. Весной на дереве распевают малиновки.

Это совсем голый камень. Его высекли таким, какой нужен для могилы, и позаботились лишь о том, чтобы он был достаточной длины и ширины и мог покрыть человека.

На камне не вырезано имени.

Только много лет назад чья-то рука написала на нем четыре строчки, которые с каждым днем становилось все труднее разобрать из-за дождя и пыли и которые теперь, вероятно, уже стерлись:

Он спит. Хоть был судьбой жестокою гоним,
Он жил. Но, ангелом покинутый своим,
Он умер. Смерть пришла так просто в свой черед,
Как наступает ночь, едва лишь день уйдет.

1862 г.

Примечания

1

Скверна Рима – закон мира *(лат.)*

2

По-царски и почти тиранически *(лат.)*

3

Чего то божественного *(лат.)*

4

Родина *(лат.)*

5

Младенца, завернутого в пеленки *(лат.)*

6

Кто осмелиться назвать солнце лживым? *(лат.)* – Вергилий. «Георгики».

7

Ярко *(итал.)*

8

Умерший отец ждет идущего на смерть сына *(лат.)*

9

Передают светильники жизни *(лат.)*. – Лукреций, кн. II.

10

Жулье *(исп.)*

11

Ловушки *(лат.)*

12

Башня слоновой кости *(лат.)*

13

Люблю тебя *(англ.)*

14

Игра слов: centsix (сан си) – сто шесть.

15

Бессмертная печень *(лат.)* – печень скованного Прометея, которую терзал орел и которая вновь срасталась.

16

Нечто божественное *(лат.)*

17

Кара *(лат.)*

18

Изыди (Сатана) *(лат.)*
